ЗАПИСКИ
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

VII

Издательство Академии Наук СССР
Москва · 1939 · Ленинград

ЗАПИСКИ
ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

VII

Издательство Академии Наук СССР
Москва · 1939 · Ленинград

Ответственный редактор: директор Института востоковедения проф. А. П. Баранников

Редактор издательства А. Н. Бернштам

Технический редактор К. А. Гранстрем. — Корректор Н. П. Лебедева

Сдано в набор 17 февраля 1938 г. — Подписано к печати 11 мая 1939 г.

319 стр. + 2 табл.

Формат бум. 72 × 110 см. — 20 печ. л. — 24 авт. л. — 44160 тип. зн. в печ. л. — Тираж 1000.
Ленгорлит № 5123. — РИСО № 388. — АНИ № 121. — Заказ № 900.

Типо-литография Издательства Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИСТОРИЯ

II. ЛИТЕРАТУРА

III. ЛИНГВИСТИКА

SOMMAIRE

I. HISTOIRE

II. LITTÉRATURE

III. LINGUISTIQUE

П. П. ИВАНОВ

Архив хивинских ханов

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ XIX в.[1]

Для историка народов Средней Азии Хивинское ханство представляет значительный интерес, не только в связи с своеобразием хозяйственно-бытового уклада его населения,[2] но и тем исключительным влиянием, какое Хива оказала на окружающую ее кочевую периферию. В первую очередь следует отметить огромное влияние Хивинского ханства на политическую и социально-экономическую историю туркмен, прошлое которых вообще не может быть понято вне связи с историей хивинского феодализма, так же, впрочем, как и последний не может изучаться без учета роли туркмен в истории Хивинского ханства.[3]

Влияние Хивы в значительной степени отразилось также на казахах и каракалпаках, из которых последние, как известно, начиная уже с первой половины XVIII в., постепенно подпадали под экономическую и политическую зависимость от Хивинского ханства, а с начала XIX в. в большинстве своем уже входили в его состав.[4] Необходимо отметить также, что систематические набеги хивинских феодалов на бухарскую территорию не могли не отразиться на ослаблении экономической и военно-политической мощи Бухары и способствовали усилению за ее счет Кокандского ханства в XIX в.[5]

К сказанному следует еще добавить, что, имея в своем распоряжении прекрасную туркменскую конницу, хивинские феодалы держали под своим

[1] Доклад, прочитанный в Институте востоковедения Академии Наук 10 октября 1936 г.

[2] Некоторые данные по этому вопросу см. П. П. Иванов, «Удельные земли» Сейид Мухаммед-хана Хивинского. ЗИВ АН, т. VI, Л., 1937, стр. 30 и сл.

[3] Подробные данные об этом для периода XVI—XIX вв. приводятся в томе II «Материалов по истории туркмен и Туркмении», изд. Инст. востоков. Акад. Наук, Л. 1938.

[4] См. П. П. Иванов, Очерк истории каракалпаков, Труды Инст. востоков. АН, т. VII, Л., 1935, стр. 70 и сл.

[5] О хивинско-бухарских отношениях в первой четверти XIX в. см. П. П. Иванов, Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве, Л., 1937, стр. 25 и сл.

контролем важнейшие торговые пути из Бухары в Россию и Иран, благодаря чему от Хивы в значительной мере зависела и внешняя торговля Бухарского ханства.[1]

Уровень наших знаний о прошлом Хивинского ханства, однако, далеко не соответствует той важной роли, какую оно играло в истории среднеазиатских народов.

Единственным сочинением, из которого до сих пор в большинстве черпаются сведения о Хиве позднейшего времени, является известный труд проф. Н. И. Веселовского, составленный в 1877 г. и притом почти исключительно на основании рассказов европейских путешественников.[2] Основной и вместе с тем единственный источник по истории Хивинского ханства XVIII—XIX вв. — труд хивинских придворных историков XIX в. Муниса и Агехи — до сих пор остается неиспользованным, хотя он «по подробности изложения и количеству фактического материала далеко оставляет за собой все дошедшие до нас труды по истории ханств Бухарского и Кокандского».[3]

Вполне понятно поэтому, что книга проф. Н. И. Веселовского не может ни в какой степени отражать действительное состояние разработки источников по истории Хивинского ханства, даже во второй половине XIX в.

В справедливости приведенного выше отзыва акад. В. В. Бартольда о значении хивинских хроник можно лишний раз убедиться, просматривая, напр., рассказы их авторов о туркменах и их взаимоотношениях с Хивинским ханством в XVIII—XIX вв. Сравнивая богатство материала хивинской официальной историографии с другими источниками, мы убеждаемся в том, что труды хивинских авторов далеко превосходят все, что дается по вопросу о туркменах иранскими и другими источниками XVIII и XIX вв.

В литературе была отмечена также и другая чрезвычайно характерная для хивинских придворных историков черта — именно отсутствие в их

[1] О влиянии Хивы на состояние торговых сношений между Средней Азией и Россией см. А. Ф. Рязанов, Сорок лет борьбы за национальную независимость казакского народа. Изд. Общ. изуч. Казакстана, Кзыл-орда, 1926, стр. 93, 142 и сл. Значительный материал по этому вопросу встречается также в хивинских хрониках Муниса-Агехи. Ср., напр., рассказ об ограблении бухарского каравана хивинцами в 1240/1825 г. Рукопись Института востоковедения Академии Наук E6, лл. 255*a* и 256*a*. В том же сочинении приводится ряд сообщений о разграблении хивинцами бухарских караванов, направлявшихся через Мерв и Серахс в Иран.

[2] Н. И. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве, СПб., 1877. В качестве позднейшей работы по этому же вопросу следует отметить статью В. В. Бартольда в «Enzyclopaedie des Islam», t. II, стр. 976 и сл.

[3] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Изд. Акад. Наук, Л., 1927 стр. 113.

сочинениях элементарной объективности, в особенности в освещении событий и фактов, так или иначе связанных с особой хана или его ближайших помощников. Эта мысль, высказанная в свое время на основании данных о хивинско-каракалпакских взаимоотношениях,[1] с еще большей убедительностью может быть подтверждена рассказами хивинских авторов о туркменах, изображаемых обычно хивинскими историографами в самых отрицательных чертах, особенно в тех случаях, когда действия или намерения туркмен не совпадают с интересами хана и его приближенных.

Пристрастное отношение хивинских авторов к некоторым из описываемых ими событий иногда достигает такой степени, что наводит на предположение об одностороннем подборе фактов и замалчивании ряда моментов, хотя и известных авторам, но находящихся в противоречии с излагаемой ими точкой зрения. Подобного рода предположения возникают особенно в тех случаях, когда авторы говорят о причинах восстаний и вообще всякого рода проявлениях недовольства со стороны населения против ханского правительства.

Недоучет этого обстоятельства будущими историками Хивинского ханства или отдельных населявших его народностей может повлечь за собой ряд неправильных выводов, если, разумеется, при этом не будет приниматься во внимание свидетельство других более объективных источников. Необходимо также иметь в виду, что, несмотря на исключительное богатство сведений, касающихся многих сторон политической и отчасти общественной жизни ханства, хивинские хроники все же носят характер одностороннего повествования о политических событиях и почти совсем не затрагивают важнейших вопросов внутренней социально-экономической истории ханства. К числу источников, способных в той или иной степени компенсировать отмеченные выше недостатки официальной хивинской историографии, отчасти принадлежат сообщения европейцев, посещавших в разное время Хивинское ханство и оставивших тот или иной след в литературе.[2] Ценность этого, в общем небогатого, материала во многих случаях весьма относительна, так как обстоятельного знакомства с страной за короткий промежуток пребывания путешественника на территории ханства обыкновенно не достигалось, вследствие чего некоторые из европейцев довольствовались расспросными сведениями, не имея возможности проверить их путем личного наблюдения. Часто отмечается лишь внешняя сторона событий и почти не

[1] П. П. Иванов. Очерк истории каракалпаков, стр. 44—45.

[2] Сведения об этих путешественниках собраны в упомянутом выше сочинении Н. И. Веселовского.

затрагиваются наиболее существенные, но мало заметные, моменты, в частности, все то, что носит характер повседневности.

Вопросы обычной хозяйственной жизни населения путешественниками часто не затрагиваются вовсе, так же, впрочем, как и авторами официальной хивинской истории.

В этой именно связи и представляет интерес недавно открытый мною в Ленинграде архив хивинских ханов, конфискованный ген. Кауфманом при завоевании Хивы в 1873 г. Архив еще на месте был бегло осмотрен участвовавшим в хивинском походе ориенталистом А. Л. Куном, который и сообщил о его содержании некоторые общие сведения в одной из своих газетных статей.[1]

Говоря о том, что ханский архив содержит в себе важные материалы для изучения хозяйственно-политического устройства ханства и, в частности, местной системы налогового обложения, А. Л. Кун не дает, однако, ни перечня находившихся в архиве дел, ни характеристики их конкретного содержания.

Дальнейшие сведения о судьбе архива хивинского хана в литературе отсутствуют. О месте его нахождения высказывались лишь догадки и предположения. Иногда высказывались предположения, что архив находится в Ленинграде, куда направлены были будто бы все дела и бумаги ген. Кауфмана. В 1929 г. мне пришлось, между прочим, обратиться по этому поводу с вопросом к покойному В. В. Бартольду, который сообщил, что о местонахождении архивов хивинского и кокандского ханов ему ничего неизвестно, и возможно, что они находятся в Ташкенте. За время одной из поездок своих в Ташкент в конце 1935 г. мне удалось побывать несколько раз в Центральном архиве Узбекистана, где, между прочим, пришлось ознакомиться с некоторыми еще неописанными бумагами и делами, исходящими из канцелярии хивинских ханов. Наряду с официальной перепиской между ханским правительством и начальником Амударьинского отдела за период между 1874 и 1914 гг., в просматривавшихся мною делах оказалось также несколько тетрадей с интересными записями на узбекском языке по вопросам взимания налогов, учета земель, аренды вакуфных земель мечетей и некоторые др. Самая ранняя из такого рода хивинских тетрадей относится к 1304 г. хиджры — 1886 г. н. э., самая поздняя — к 1332 г. хиджры — 1913 г. н. э., т. е. во всяком случае к периоду после русского завоевания. Таким образом вопрос о нахожде-

[1] Туркестанские ведомости, 1873, № 50.

нии старого ханского архива, вывезенного из Хивы в 1873 г., оставался попрежнему открытым.

Работая летом 1936 г. над некоторыми рукописями в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, я обратился с запросом к заведующему отделом И. А. Бычкову относительно возможности нахождения в отделе каких-либо неописанных документов из Средней Азии на восточных языках.

И. А. Бычков на следующий же день любезно показал мне большую кипу необработанных бумаг, тетрадей и свитков среднеазиатского происхождения, разложенных на двух полках большого шкафа. Приступив к рассмотрению материалов, я вскоре же обнаружил среди них некоторые записи на старом хивинско-узбекском языке, судя по почерку, хивинские. В дальнейшем, однако, оказалось, что в одних и тех же связках, наряду с хивинскими материалами, находится значительное число документов, написанных на таджикском языке, повидимому, ферганского происхождения, насколько об этом можно судить по названиям встречающихся в бумагах населенных пунктов и некоторым отдельным терминам.[1]

Выделив, в конце концов, хивинские дела и документы и бегло с ними ознакомившись, я пришел к заключению, что мы имеем дело с архивом хивинского хана, вывезенным из Хивы ген. Кауфманом в 1873 г., что при дальнейшем изучении материалов вполне подтвердилось.[2]

Всего в архиве оказалось около 120 тетрадей различной величины и формата. Значительное число тетрадей заключено в переплеты, частью кожаные. Часть тетрадей находится в неисправном виде: испорчены переплеты, разорваны или вырваны листы, часть тетрадей расшилась и т. д.

Кроме переплетенных или просто сшитых тетрадей в состав хивинского фонда входит также некоторое число записей на отдельных листах, а также отдельных документов. Впрочем, такого рода документов пока удалось обнаружить не более 10. Возможно, что некоторые из отдельных документов остались мною незамеченными, находясь внутри тех или иных книг и тетрадей. Бумага, на которой производились записи, в огромном большинстве русская, частью кокандская.

[1] Весьма возможно, что эти документы, при ближайшем их рассмотрении, окажутся частью (остатками) архива кокандского хана (о нем см. Туркестанские ведомости, 1876, № 12).

[2] В отчете Публичной библиотеки за 1876 г. (СПб., 1878, стр. 168) в числе новых поступлений за указанный год помечено также «принесенное в дар почетным членом библиотеки, генерал-адъютантом К. П. Кауфманом, собрание документов и переписка владетелей среднеазиатских стран, собранных во время экспедиций искандер-кульской, шахрисябзской и хивинской».

Знакомство с записями и документами показало, что большинство их датировано и относится к периоду между 1237 г. хиджры — 1822 н. э. и 1289 г. хиджры — 1872 гг. н. э., охватывая, таким образом, промежуток времени в пятьдесят лет. Некоторое число тетрадей датировано лишь по годам двенадцатилетнего животного цикла. Язык всех хивинских записей и документов — исключительно хивинско-узбекский. На персидском языке встречаются лишь отдельные, повидимому, случайные записи и пометки. По отдельным десятилетиям датированные записи распределяются неравномерно, а именно: к 20-м гг. XIX в. относится 8 записей, к 30-м — 2, к 40-м — 15, к 50-м — 28, к 60-м — 12 и к 1870—1872 гг. — 15. По отдельным царствованиям хивинских ханов датированные документы и записи распределяются следующим образом: царствование Мухаммед Рахим-хана (1806—1825) — 4 записи, Алла-кули-хана (1825—1842) — 5, Рахим-кули-хана (1842—1845) — 2, Мухаммед Эмин-хана (1845—1855) — 18, Сейид Мухаммед-хана (1856—1865) — 31 и Сейид Мухаммед Рахим-хана (с 1865 г.) — 18.[1]

Переходя к вопросу о характеристике и классификации бумаг нашего архива, необходимо заметить, что достаточно обоснованная классификация их была бы возможна лишь при том условии, если бы нам были достаточно хорошо известны система делопроизводства и специальная терминология, употреблявшаяся в Хивинском ханстве для обозначения различного рода деловых бумаг, называвшихся вообще здесь дефтерами (букв. тетрадь). Однако ни того, ни другого мы пока не знаем в достаточной степени, так как ни системами делопроизводства, ни формами официальных записей или финансовой отчетности в среднеазиатских ханствах никто специально не занимался. Впрочем, и возможностей для такого рода исследований пока не существовало, так как ханские архивы до сих пор являлись недоступными для исследователей.

Несколько общих замечаний, не характеризующих, впрочем, достаточно конкретно интересующего нас вопроса о характере делопроизводства в среднеазиатских ханствах, встречаем мы у акад. В. В. Бартольда в его интересной статье: «Хранение документов в государствах мусульманского Востока».[2] Статья содержит весьма ценные данные для истории архивного

[1] В 1855—1856 гг. в Хиве короткое время правили еще ханы Абдулла и Кутлуг Мурад. В числе отдельных документов архива имеется один из ярлыков Кутлуг-Мурада.

[2] Архивные курсы. История архивного дела классической древности, в Западной Европе и на мусульманском Востоке. Лекции, читанные в 1918 г. Пгр., 1920, стр. 871—387.

дела в странах мусульманского Востока в средние века, но в отношении более поздних столетий материал ее значительно беднее.

Говоря о том, что в среднеазиатских ханствах XVIII—XIX вв. постепенно «расширялось и письменное делопроизводство и улучшался порядок хранения документов», В. В. Бартольд отмечает при этом, что «наши сведения об этой стороне исторической жизни Туркестана до сих пор крайне скудны».[1] Говоря далее о российском завоевании Средней Азии, автор выражает сожаление, что «при этом не было принято мер для сохранности ханских библиотек и архивов».[2]

Дальше В. В. Бартольд замечает, что «до сих пор предметом исследования была только одна категория документов, так называемые вакуфные грамоты, притом только для одной Самаркандской области и только с точки зрения заключающегося в них историко-географического материала».[3]

Приведенные здесь замечания В. В. Бартольда с полной убедительностью показывают, насколько недостаточен был тот фактический материал, каким располагала до самого последнего времени историческая наука по интересующему нас вопросу о категориях исторических документов и характере официальных записей в среднеазиатских ханствах.

Правда, через несколько лет после того, как вышла в свет цитируемая работа В. В. Бартольда, стали циркулировать слухи о находках большого количества документов, а также так наз. «архива кушбеги» в Бухаре, однако в печати каких-либо сведений по этому вопросу до сих пор не появилось. Что касается специально занимающего нас вопроса о характере делопроизводства и системе хранения документов в Хивинском ханстве, то одно из общих замечаний на этот счет встречается в сочинении Агехи, посвященном описанию царствования Сейид Мухаммед-хана (1856—1865). Описывая военные действия между ханскими войсками и восставшими туркменами-йомутами в 1274 г. хиджры — 1858 г. н. э., Агехи сообщает, что в результате наступившего общего разорения враждующие стороны решили закончить дело миром. С участием представителей всех главнейших народностей ханства был выработан и подписан мирный договор (ахд-намэ),

1 Архивные курсы, ук. соч., стр. 381.

2 Там же.

3 Автор ссылается при этом на работу В. Л. Вяткина «Материалы к исторической географии Самаркандского вилайета» (Справочная книга Самаркандской области, вып. VII, 1900). В настоящее время можно указать на другую работу В. Л. Вяткина о Каршинском вилайете (Изв. Средне-аз. отд. Гос. Русск. геогр. общ., т. XVIII, Ташкент, 1928), а также на статью о документах по аграрному вопросу в Средней Азии (Зап. Инст. востоков. Акад. Наук, т. II, вып. 2, Л., 1933). В последних двух небольших работах наряду с вакуфными документами использована отчасти и деловая переписка среднеазиатских ханов

скрепленный печатями всех участвовавших сторон. Рассказ об этом событии у автора заканчивается сообщением о том, что окончательно оформленный и утвержденный ханом документ был передан затем «хранителям государственной (ханской) казны» «خزانۀ عامره خازنلاریغه تاپشوردیلار».[1]

Из последнего сообщения автора вытекает (во всяком случае в идее), что в казне хивинского хана помимо денежных фондов сосредоточивались также все важные государственные акты, имевшие достаточно серьезное значение,[2] и что передача подобного рода актов в казну доставляла гарантию их сохранности и, так сказать, действенности с официальной государственной точки зрения.

В какой мере этот принцип осуществлялся в правительственной практике и не являются ли вообще приведенные слова Агехи о заключении торжественного договора довольно обычным для хивинских историков литературным приемом, скрывающим за собой более прозаические факты, — остается неизвестным.

Во всяком случае, хорошо известно, что так подробно описываемое автором «мирное соглашение» никаких практических последствий не имело, так как война вскоре возобновилась с прежней силой.

Следует отметить также, что в числе обнаруженных в настоящее время в архиве бумаг, относящихся ко времени царствования Сейид Мухаммед-хана, упоминаемого Агехи акта не оказалось. Однако, независимо от данного частного случая, следует все же заметить, что приведенные выше слова хивинского историка указывают на наличие в ханстве централизованного делопроизводства, сосредоточивавшегося при дворце хана и носившего в Хиве традиционное название «высочайшего дивана» (диван-и-али). Обслуживался диван штатом секретарей, носивших традиционный же титул мунши.[3] Включалось ли в понятие ханского дивана делопроизводство канцелярий важнейших сановников ханства — мехтера, кушбеги — и главного сборщика закята — диванбеги, упоминания о котором встречаются в хивинской истории,[4] остается пока невыясненным, хотя разрешение этого вопроса

[1] Гульшен-и-девлет, соч. Агехи, рукоп. Инст. востоков. Акад. Наук В 1891, л. 153б Более подробные данные об этом событии см. мой перевод в Трудах Инст. востоков. Акад. Наук, т. VII, стр. 141.

[2] По словам В. В. Бартольда, и в средние века в восточных странах «для обозначения архивов и библиотек употреблялся тот же термин — казна (собственно хазина или хазана), — как для обозначения государственного денежного фонда». Ук. соч., стр. 377. Подобное же положение наблюдаем мы и в Хивинском ханстве в XIX в.

[3] Гульшен-и-девлет, цит. рук., л. 151а.

[4] Автор сочинения Гульшен-и-девлет (л. 109б) говорит о нем как о

عامل زکوة و کارخانۀ سلطنت‌نینک مهمات و خراجات‌غه وکیل و دیوان‌بیکی.

в значительной мере могло бы облегчить стоящую перед нами практическую задачу — истолкование и классификацию архивных записей.

Переходя, наконец, к характеристике рассматриваемого нами хивинского архивного фонда, следует заметить, что содержание его записей и бумаг чрезвычайно разнообразно, охватывая собой, повидимому, все важнейшие вопросы государственного устройства и управления.

Первое по численности место занимают, разумеется, записи по вопросам взимания налогов и налогового учета населения. Сюда относятся многочисленные списки налогоплательщиков, распределяемых по «мечетям»,[1] с указанием категории «высшей», «средней» и «низшей», принимавшейся во внимание при взимании налогов.[2] В некоторых из такого рода «дефтеров» против имен плательщиков указывается также размер принадлежавших им земельных участков (в т а н а п а х), а иногда и количество скота. По каждой «мечети» отдельно указывается цифра установленного для данной единицы налога в т и л л я х. С этой же группой записей следует, повидимому, объединить специальные тетради с записями собранного с отдельных «мечетей» с а л г ы т а (денежный земельный налог-рента). Записи ведутся по отдельным дням недели. Текст одной из записей показывает, что подобного рода книги назывались «салгытными дефтерами» (салгыт дефтери). Из других таких же записей видно, что «салгытные тетради» выдавались мехтером определенному лицу, на обязанности которого и лежали запись поступавших сумм и составление соответствующей отчетности.

Несмотря на отсутствие каких-либо подробных текстовых пояснений, указанного рода записи представляют все же значительный интерес, так как содержат в себе богатый цифровой материал, характеризующий не только формы и размеры обложения, но и имущественное состояние и численность налогоплательщиков по отдельным административным районам.

К категории финансовых же документов относятся записи поступлений закята с торговых караванов как приходящих из России (к а л'а ч и), так и из Бухары (б у х а р ч и).

В том и другом случае сообщаются именные списки купцов, с указанием города, из которого они происходят (хивали́, ургенчи́, и т. д.), с указанием вида и количества привезенных ими товаров и сумм причитающегося с каждого товара в отдельности закята.

[1] Первичная административная единица, сохранившая в Хиве свое значение до самого последнего времени.

[2] Это же подразделение на категории сохранялось в Хиве и в позднейшее время. См. О. Шкапский, Амударьинские очерки, Ташкент, 1900, стр. 108.

Для истории внешней торговли Хивы данные записи могут иметь существенное значение.

С этой же точки зрения представляет интерес одна из записей о выдаче ханом 2450 тиллей на торговые операции одному из руководителей торгового каравана (караван-баши). Запись эта с несомненностью подтверждает участие хивинских ханов в караванной торговле с Россией.[1]

Для изучения характера внутренней торговли имеют значение встречающиеся в архиве записи сбора закята с базарных торговцев. Отдельное место занимают две небольшие тетради с записями сумм закята, собиравшегося с ремесленников. Одна из этих тетрадей содержит подробный список ремесленников города Хивы, по отдельным профессиям и с указанием суммы сбора закята с каждой профессии (т. е., очевидно, цеха) в отдельности.

Одна из тетрадей содержит записи закята, собранного с посевщиков табака. Указываются размеры засеянной каждым посевщиком площади и сумма взысканного с него закята. Речь идет о посевщиках только в окрестностях г. Хивы.[2]

Видное место в архиве занимают списки арендаторов вакуфных земель медресе и мечетей (карандэ). Списки также велись по «мечетям», с указанием количества арендуемой каждым земледельцем земли и обозначением категорий его по фискальному признаку.

Над именами некоторых арендаторов проставлены годы, обозначающие, повидимому, момент сдачи земли в аренду данному лицу. Характерно отметить, что фамилии многих прежде числившихся в списках арендаторов перечеркнуты и заменены другими, которые иногда также перечеркнуты и заменены новыми. Это обстоятельство, на мой взгляд, свидетельствует о той текучести в составе арендаторов вакуфных земель, — ввиду невыгодности такого рода аренды, — которая отмечалась и в других районах Средней Азии, и, как показывает один из принадлежащих мне документов из Хивы, была свойственна и Хивинскому ханству.

Количество поступавшего от арендаторов вакуфных земель зерна и способ его распределения также указывается в одной из тетрадей. Запись показывает, например, что из общего количества 1880 батманов, поступивших от арендаторов вакуфных земель медресе Кутлуг Мурад-инака, 180 батманов было получено мутеваллием, по 162 батмана было выдано

[1] Более общие данные по этому вопросу приведены в моей работе «Казахи и Кокандское ханство», помещаемой в настоящем томе Записок.

[2] Из прочих документов видно, что собственного табака в Хиве было недостаточно, вследствие чего этот товар составлял одну из важнейших статей ввоза из Бухарского ханства.

ахундам (т. е. мударрисам), 130 батманов было выдано имаму вместе с муэззином, по 50 батманов феррашу и цырюльнику и остальное — учащимся по приведенному в книге списку. Наибольшим количеством вакуфных земель располагала, повидимому, мечеть, выстроенная Шир-гази-ханом (1715—1728).

Названная мечеть получила в 1275 г. х. — 1858 г. н. э. со своих земель 4700 батманов (около 5500 пудов) хлеба, что составляло, повидимому, только около $^1/_8$ валового урожая, обычно отчислявшегося, в среднем, арендаторами.

Из прочих хозяйственных записей представляют значительный интерес сведения о поступлении зерна из личных поместий хана в Рафенеке, Гендумкане и других местностях ханства.[1]

Одна из таких записей, относящаяся к 1262 г. х. — 1845 г. н. э., показывает, что поступление зерна из имения в Рафенеке выразилось в количестве 4360 батманов, т. е. свыше 4500 пудов. Другая подобная же запись, относящаяся к 1266 г. х. — 1849 г. н. э., говорит о необычайно большой цифре поступления зерна с каких-то земель специального назначения (خاصه‌بری) в районе Шурахана.[2] Общий сбор всех культур в указанном году выразился здесь в количестве 20 100 батманов, что также должно было, повидимому, составлять только около $^1/_8$ валового урожая. Имеется также ряд записей, указывающих и расход поступившего таким образом зерна (продажу его и разные выдачи, в том числе духовенству). Одна из записей 1247 г. х. — 1831 г. н. э. говорит об отпуске пшеницы для продовольствия рабам (догмэ).

В одном случае на продовольствие 64 рабов на 4 месяца отпущено 738 батманов, в другом на 46 человек, также на 4 месяца, выдано 544 батмана и т. д.

Для детальной характеристики структуры местного государственного аппарата большое значение имеют несколько довольно объемистых тетрадей, заключающих в себе списки сановников и различного рода должностных лиц, пользовавшихся правительственным содержанием (вазифе). Наиболее ранняя из записей (датированных) относится к 1265 г. х. — 1848 г. н. э., позднейшая — к 1276 г. х. — 1859 г. н. э. На первом месте во всех списках стоит накыб, получающий в различные годы и, повидимому,

[1] О личных «удельных» землях хивинских ханов XIX в. см. мою цитированную выше работу в ЗИВ, т. VI, стр. 26 и сл.

[2] О земельных владениях лиц ханского рода в этом районе в период царствования Сейид Мухаммеда см. там же, стр. 41.

в зависимости от разных условий, от 100 до 150 тиллей, затем один из тöре, занимавший должность эмир-уль-умара («главнокомандующего»), с содержанием в 500 тиллей, после него аталык-ака — 150 тиллей или (иногда) инак-бек — 300 тиллей, дальше бий-ака — 100 тиллей, затем беглербеги — 200 тиллей, после него следуют беки, получающие около 40 тиллей, затем мехремы и юзбаши окрестностей столицы — от 15 до 100 тиллей. После этого в списке помещены: юзбаши прочих районов, юзбаши отдельных сановников (инак-бека, беглербеги и др.), затем знать различных племен узбеков, а также туркмен, казахов и каракалпаков. В конце списков перечислены различного рода низшие должности, до поваров и музыкантов (повидимому, придворных) включительно.

Таким образом списки дают исчерпывающие материалы не только о штатах хивинского двора и удельном весе отдельных придворных должностей, но и характеризуют правительственный аппарат в целом. Сопоставление данных за ряд лет поможет будущему исследователю установить характер происходивших здесь изменений и поставить это в связь с происходившими политическими событиями, подробное описание которых встречается в хивинских хрониках. Для более детальной характеристики военно-административного устройства ханства имеют значение довольно многочисленные списки нукеров — военных слуг хана и отдельных его сановников. Число этих тетрадей довольно значительно (не менее 10). В одной из записей, наряду со списками нукеров мехтера, кушбеги и других сановников, приводится также список нукеров одного из высших духовных сановников — ходжи, занимавшего должность шейх-уль-ислама, из чего можно заключить, что в Хиве, как и в средневековой Европе, высшее духовенство опиралось также на собственную вооруженную силу.

Нередко списки нукеров приводятся по «мечетям» или племенам, причем иногда отмечается имущественное положение нукера или указываются размеры производившихся денежных выдач.

Статистическая и иная обработка списков нукеров даст со временем довольно точный и вполне надежный материал по вопросу об организации военных сил ханства, их численности в отдельные моменты и пр.

Одна из больших тетрадей-книг архива содержит в себе список домохозяев Хивы и прилегающих к ней районов. Из имеющейся на обложке пометки на русском языке[1] видно, что в данной записи представлены результаты своего рода всеобщей переписи населения, производившейся

[1] Кажется, почерк А. Л. Куна (заметка датирована 2 августа 1873 г.).

в центральных районах ханства в начале царствования Сейид Мухаммеда, т. е. во второй половине 50-х гг. XIX в. Списки составлены, как обычно, по «мечетям», с указанием имени домохозяина и числа его сыновей (с отметкой كبير или صغير). Женское население не учитывалось. Против некоторых из помещенных в списках лиц стоит пометка بيوطن, т. е. неимеющий своей собственной земли.[1] Число безземельных указывается также в итогах по отдельным «мечетям». Иногда число это оказывается довольно значительным.

Тетрадь содержит около 500 страниц. Если принять во внимание, что на каждой странице помещено в среднем около 20—24 имен домохозяев, то общее число охваченных переписью хозяйств должно составить не менее 10—12 тысяч, что является достаточно солидным материалом для различного рода статистико-экономических изысканий. В связи с множеством заключающихся в тетради названий «мечетей» и различного рода географических пунктов, данные переписи имеют значение также для выяснения многих вопросов исторической топографии Хивы и прилегающих к ней районов.

Из прочих имеющихся в архиве материалов представляют интерес также данные об отдельных народностях, населявших ханство в рассматриваемый период, в частности о туркменах, каракалпаках и др. Относящиеся к туркменам довольно многочисленные записи касаются самых разнообразных сторон жизни этого народа и взаимоотношений его с хивинским правительством. Ряд тетрадей содержит данные о распределении земли среди разных туркменских племен (г ö к л е н о в, а л и э л и и др.) и другие данные об экономическом их положении в отдельные периоды. Имеются подробные записи о размерах к о н у к'а (قونوق), выдававшегося туркменам за их военную службу, о чем в хивинских хрониках встречаются лишь отдельные глухие упоминания; сообщается количество а т л ы (всадников), выставлявшихся отдельными племенами, приводятся списки взятых заложников, имеются записи о сборе у ш р а с туркмен племени м е ш р и к и ряд других сведений, не встречающихся в других до сих пор известных источниках. Имеется также одно донесение какого-то хивинского чиновника о политических настроениях среди гöкленов в период обострения их взаимоотношений с ханским правительством.

Довольно подробны сведения о каракалпаках. Записи касаются главным образом сбора закята и отчасти салгыта. При составлении списков платель-

[1] О значении этого термина («биватенли») см. Шкапский, ук. соч., стр. 104.

щиков и перечислении сумм сбора приводятся данные о количестве земли или скота у каракалпаков, указывается расселение их по отдельным районам, приводятся имена каракалпакских биев отдельных племен и т. д. Соответствующая обработка указанных записей в значительной мере будет полезна для выяснения экономического положения каракалпаков в один из малоисследованных периодов их истории.[1]

Одна из тетрадей архива целиком посвящена записи наградных сумм, выданных в шаввале 1272 г. х. (июне 1856 г.) каракалпакским и казахским биям. Запись представляет особый интерес в связи с тем обстоятельством, что время выдачи наград совпадает с моментом подавления известного восстания среди каракалпаков под предводительством Джарлык-тӧре.[2] Учет данной записи поможет в дальнейшем более подробному выяснению истории восстания и, в частности, выяснению вопроса о племенном и социальном составе противников восстания из числа самих каракалпаков.

Последняя значительная группа записей относится к военным делам. В связи с упоминанием об отдельных походах, записи затрагивают вопросы распределения захваченных пленных (догмэ) между отдельными предводителями, списки лиц, награжденных деньгами за удачное совершение набегов, размеры пособий на приобретение погибших во время сражений лошадей, количество верблюдов, погибших во время похода на Мешхед в 1243 г. х. — 1827 г. н. э., количество продовольствия, фуража и военных припасов, отпущенных разным лицам во время мервского похода 1263 г. х. — 1846 г. н. э., и т. д.

Прочие дела и бумаги архива, насколько удалось это установить при беглом предварительном просмотре, представляют собой записи по частным вопросам. Таковы, например, записи о выдаче денежных сумм хану. В одном случае (1275 г. х. — 1858 г. н. э.) отмечается, что «его величеству послано пять тысяч тиллей», затем «еще 1 тысяча тиллей», «во вторник еще тысяча тиллей» и т. д. Сюда же относится вшитый в одну из тетрадей наряд на рабочих по очистке оросительных каналов (казу). Список составлен по отдельным «мечетям». В одной из тетрадей оказалась ведомость, представляющая собой нечто вроде водного кадастра, с исчислением количества «су» воды в отдельных районах ханства.

[1] Более подробные данные о каракалпаках в данный период, с использованием также документов хивинского архива, приводятся в моем докладе на исторической сессии Акад. Наук СССР в июне 1937 г. (в печати).

[2] О нем см. цитированную выше работу автора в Трудах Инст. востоков. Акад. Наук, т. VII, стр. 86 и сл., также перевод текста, стр. 139.

Ввиду незначительного объема «ведомости» приведем ее полностью в тексте и переводе.

Текст	Перевод
سُو حسابی	Исчисление воды
۲۹۰۷	2907
خیغانیکنینک قبلەسی ایکی مینک توقوز یوز یتی سُو	К югу от Хэйганека[1] две тысячи девятьсот семь «су».[2]
۹۳۰	930
یانکغی اریق توقوز یوز اوتوز سُو	Янги-арык девятьсот тридцать «су».
۲۲۲	222
یمرایلی ایکی یوز یکرمه ایکی سُو	Имрели двести двадцать два «су».
۴۰۵۹	4059
جمعی تورت مینک ایلیک توقوز سُو	Всего четыре тысячи пятьдесят девять «су».
۳۸۹۰	3890
ارقەسی اوچ مینک سکیز یوز توقسان سُو	В северной части[3] три тысячи восемьсот девяносто «су».
۴۱۲	412
یانکغی زه تورت یوز اون ایکی سُو	Янги Зей (Новый Зей[4]) четыреста двенадцать «су».
۲۸۹	289
کهنه زه ایکی یوز سکسن توقوز یاریم سُو	Куня Зей (Старый Зей) двести восемьдесят девять с половиной «су».

[1] На картах не показан.

[2] Мера воды. Наиболее обстоятельное определение величины «су» см. В. В. Русинов, Водоземельные отношения и община у туркмен, Ташкент, 1918, стр. 27 и сл.

[3] В тексте арка. Переводится нами как «север», «северная сторона» на основании текста хивинского ярлыка, текст и перевод которого см. в приложении.

[4] На карте, приложенной к книге Каульбарса «Низовья Аму-дарьи» (СПб., 1881), показаны к северо-западу от г. Хивы два озера, носившие название Зей-куль. Там же нанесен приток Зей-кеш. К какому из этих обозначений относятся определения «новый» и «старый» — неизвестно.

۴۵۹۱

جمعی تورت مینک بیش یوز توقسان بر یاریم سو

4591

Всего четыре тысячи пятьсот девяносто одна с половиной «су».

۸۶۵۰

ایکی بوین نینک جمعی سکیز مینک آلتی یوز ایلیک یاریم سو

8650

По обеим сторонам всего восемь тысяч шестьсот пятьдесят один с половиной «су».

قبلهسی نینک ساناغی

Счет южной стороны.[1]

Насколько полно таблица отражает действительные водные ресурсы страны и их распределение по отдельным районам — могут судить лица, специально занимающиеся гидрологией низовьев Аму-дарьи и близко знакомые с географией данного района.

Представляет значительный интерес также следующая ведомость учета культурных «измеренных» земель ханства, с распределением их по отдельным родо-племенным подразделениям.

Текст

خطای خلقی نینک توقوز طایفهسی[2]
اورتاسیداغی مشترک یری توقوز مینک
سکز یوز قرق بیش طناب قویون خلقی
نینک یری یکرمه ایکی مینک یوز یکرمه
طناب ارالبای خلقی نینک یری آلتی
مینک قرق بیش طناب بیش ساری
خلقی نینک یری اون مینک یتی یوز
التمیش سکز طناب قرق خلقی نینک
و توقلی خطای و منجولی خلقی نینک
یری مینک توقوز یوز یکرمه اوچ طناب
انه خلقی بیله آی تکه و چروچی خلقی
نینک یری یکرمه تورت مینک یتی یوز

Перевод

В совместном владении девяти родов племени хытай находятся земли 9845 танапов. У племени коюн земли 22120 танапов. У племени аралбай земли 6045 танапов. У племени беш-сары земли 10768 танапов. У племен кырк, туяклы (?) хытай и манджули земли 7923 танапа. У племени анэ, совместно сай-теке и череучи, земли 24720 танапов. У племени каз-аяклы земли 7461½ танапа.

[1] Ведомость не закончена.

[2] В тексте نغهسی.

یکرمه طناب قازاپاقلی خلقی‌نینک
یری مینک تورت یوز التمیش برپاریم
طناب قاپچی لی خلقی‌نینک یری آلتی
مینک سکز یوز یکرمه طناب یکی شیخ
خلقی‌نینک یری یتی مینک ایلیک
طناب

مجموعی سی بر لک ایلی مینک
تورت یوز سکسان ایکی طناب

قبچاق خلقی نینک یری ایلیک
مینک اوچ یوز التمش سکز طناب
قانکلی خلقی‌نینک یری یتی مینک
آلتی یوز اون آلتی طناب

مجموعی ایلیک سکز مینک سکسان
تورت طناب بو مذکور یر کیکایلی‌نینک
ابخوری تورور

تازقراداغی خطای و قبچاق و قانکلی
خلقی‌نینک مشترک یری اون تورت
مینک سکز یوز یکرمه طناب یالفاق
اوزاک بیله گوک اوزاک داغی خطای
و قبچاق و قانکلی خلقی‌نینک مشترک
یرلاری اوتوز یتی مینک توقوز یوز
ایلیک طناب

مجموعی اولچاکان یرلار ایکی لک
اون اوچ مینک ایکی یوز اوتوز تورت
طناب

У племени кайчили земли 6820 танапов. У племени ики шейх земли 7050 танапов. Всего 1 ляк[1] 2482 танапа. У племени кипчак 50 368 танапов. У племени канглы 7616 танапов. Всего 58 084 танапа.

Эта упомянутая земля снабжается водой из Кегайли.[2]

У племени хытай, кипчак и канглы (в урочище) Тазкара находится в совместном владении 14 820 танапов, у племен хытай, кипчак и канглы (в урочище) Ялпак-узяк и Кок-узяк находится в совместном владении 37 950 танапов.

Всего измеренных земель 2 ляка 13 234 танапа (т. е. 213 234 танапов).

1 Ляк = 100 000.

2 Кегайли или Кегейли — один из протоков в устьях Аму-дарьи, вытекающий из Кувањыш-джармы (Кок-узяка).

На основании упоминавшегося выше документа о раздаче наград каракалпакским биям в 1272 г. х. и ряда других можно установить, что большинство упоминаемых здесь родо-племенных наименований относится к различным подразделениям каракалпаков племени хытай. Таким образом наш документ характеризует общинно-родовое землевладение среди каракалпакского населения в одном из наиболее важных районов дельты Аму-дарьи.

Наряду с общим своим значением для изучения вопроса о земельных ресурсах северной части Хивинского ханства, документ представляет также весьма наглядную иллюстрацию к тем общим соображениям, какие были высказаны мною, на основании данных хивинских хроник, об общинно-родовом землевладении среди хивинских узбеков на протяжении последних столетий.[1]

Из числа отдельных документов, также имеющих отношение к истории аграрного строя Хивы, заслуживает внимания ханский ярлык, выданный в месяце раджабе 1257/1841 г. некоему Сейид Ниязу, сыну Адина Мурада. Как видно из текста документа, хан передает Сейид Ниязу (повидимому туркмену) два участка земли с тем, чтобы полученная таким образом Сейид Ниязом земля перешла в вечную собственность владельца и его наследников и была «обелена» от всякого рода налогов и сборов (см. Приложение).

Из числа документов дипломатического характера в архиве пока удалось встретить только один — донесение хивинского посла, направлявшегося ханом в Коканд и Бухару. Письмо не датировано. Судя по некоторым упоминаемым в донесении детальным фактам, документ относится к началу XIX в.

Заканчивая на этом свою краткую предварительную характеристику содержания ханского архива, считаю в заключение необходимым отметить, что даже те сравнительно неполные сведения, какие удается получить нам при беглом просмотре бумаг, являются достаточными, чтобы отметить его важное значение для изучения истории Хивинского ханства первых трех четвертей XIX в.

Несмотря на свою неполноту и отрывочность, перечисленные выше записи все же являются ценным и необходимым дополнением к сравнительно одностороннему, хотя и подробному, повествованию хивинских придворных

[1] См. цитированную выше работу автора об «Удельных землях» в ЗИВ, т. VI, стр. 30 и сл. Более подробно вопрос о землевладении у каракалпаков затрагивается в указанном выше моем докладе.

хроник. Замечание первого обозревателя ханского архива А. Л. Куна о том, что записи являются запутанными и непонятными, справедливо лишь в той мере, в какой оно может быть вообще отнесено к изучению архивов большинства восточных стран, до сих пор почти совсем не изучавшихся. Изучение хивинских официальных бумаг встретит на первых порах, очевидно, такого же рода трудности, какие были встречены, например, при изучении финансовых записей Ирана недавнего прошлого или Египта в эпоху халифата.[1] Преодолеть эти трудности, однако, необходимо для того, чтобы наука могла в своих дальнейших выводах опираться на те исключительно ценные источники, какими располагают архивы.

Тщательная и кропотливая работа исследователей в этом направлении несомненно будет способствовать выяснению многих вопросов, до сих пор почти не затрагивавшихся в нашей литературе. Что касается данных хивинского архива, то ценность их повышается отчасти еще тем обстоятельством, что они подводят исследователя вплотную к моменту завоевания Хивинского ханства Россией, после чего в литературе о Хиве начинают появляться более или менее подробные материалы европейских авторов. Некоторым дополнением к последним могут явиться также записи той части ханского архива позднейшего времени, которая находится в данное время в Ташкенте.

В связи с обнаружением ханского архива в настоящее время особый интерес и значение приобретает хивинская история Муниса-Агехи, так как только путем одновременного изучения нарративных источников и документов архива может быть восстановлена действительная картина исторической жизни Хивинского ханства и населявших его разнообразных народностей.[2]

---

[1] См. об этом В. В. Бартольд, ук. соч., стр. 384.

[2] Краткая информационная статья по поводу находки архива хивинских ханов опубликована автором в журнале «Историк-марксист», 1937, кн. 3-я. В настоящее время автором заканчивается подробное исследование и описание документов архива, которое в ближайшее время поступит в печать.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЯРЛЫК ХИВИНСКОГО ХАНА АЛЛА-КУЛИ[1]

ТЕКСТ

ابو المظفر و المنصور ابوالغازی خوارزمشاه سوزومز

مراحم شاهانه‌مزدین سربلند و ارجمند قیلیب هلالی موضعی‌داغی
مملکه پادشاهی‌غه تعلق تاپقان .یردین ایکی بولاک یرنی کیم اولغی بولاکی
برکشیده یتی یاریم و ایکنچی بولاکی برکشیده ایکی یاریم طناب دور مواجب
نوکریه اوچون آدینه مرادنینک اوغلی سید نیازغه ایلیک طلای رایج الوقتیغه
ساتدوق مع قبوله ایاهما قطعهٔ اولی نینک کونچقاری و ارقه سی و کون باتاری
مملکهٔ پادشاهی قبله سی عامه یافی و قطعهٔ ثانیه‌نینک کونچقاری عامه یولی
ارقه‌سی و کون باتاری و قبله‌سی مملکهٔ پادشاهی ایمدی بویارلیغ عالی مضمونیغه
اگاه بولغاچ شول معلوم الحدود ایکی بولاک یرنی مشار الیه‌نینک ملک
خالصی بلیب احدی داخل و مزاحم بولماسون و اوزیدین سونکرا وارثلاری
نینک یری بولسون بطنًا بعد بطن قرنًا بعد قرن الی ان یرث الله الارض وما علیها
و هو خیرالوارثین و بعد الیوم هر کیمسه نفسانیت یوزیدین آلور بولسه و یا
الورغه سعی قیلسه لعنت ابدیغه سزاوار بولسون دیب دار السلطنهٔ خیوقدا صانها
الله عن الحرق و الغرق رجب. المرجب آیی موافق بقر [ییلی] سنهٔ ١٢٥٧ یارلیغ
عالی رقم تاپدی.

[1] Имя выдавшего ярлык хана ни в заголовке, ни в тексте не упоминается, как не упоминается оно и в другом опубликованном до сих пор ярлыке Алла-кули, помеченном 1241/1826 г. См. Труды Вост. отдел. Русск. археол. общ., ч. IV, СПб., 1859, стр. 448—450 (текст), стр. 451—453 (перевод).

ПЕРЕВОД

Слово наше, победоносного, [богом] покровительствуемого, борца за веру, Хорезмшаха

Возвышая и благодетельствуя своими царскими милостями Сейид Нияза, сына Адина Мурада, мы, в вознаграждение его за нукерскую службу, продали ему,[1] с его согласия, за пятьдесят тиллей ходячей монеты два участка земли, принадлежащей к числу государственных земель[2] местности Хиляли.[3] Размер первого участка — семь с половиной танапов, размер второго — два с половиной танапа. [Границами] первого участка с востока, севера[4] и запада являются государственные земли, а с юга — канал [«яб»] общего пользования; [границами] второго участка с востока служит дорога общего пользования, а с севера, запада и юга — государственные земли. Теперь, как только станет известно содержание настоящего высокого ярлыка, [пусть] знают, что оба эти участка, с обозначенными [здесь] границами, являются очищенным мульком[5] вышеуказанного лица, [а потому] пусть никто [из сборщиков податей] на них не является и не беспокоит [их владельца]. После смерти самого [Сейид Нияза] пусть эта земля перейдет к его наследникам на вечные времена, пока аллах не наследует землю и все, что на ней, — а он — лучший из наследников. Каждый, кто, по прихоти своей, с сего дня будет брать [налоги] или [только] стремиться к этому, пусть будет достоин вечного проклятия.

[Настоящий] высокий ярлык написан в стольном граде Хиваке[6] — да сохранит его аллах от пожара и наводнения — в почтенном месяце раджабе, в год [хиджры] 1257, соответствующий [году] коровы [с 19 августа по 17 сентября 1841 г. н. э.].

Примечания к переводу

[1] Подлинный текст ярлыка, подобного настоящему, становится доступным впервые, хотя содержание подобного рода хивинских ярлыков известно по канцелярским переводам уже довольно давно. Так, Шкапский (Аму-дарьинские очерки, Ташкент, 1900, стр. 100—101) обратил в свое время внимание на то странное обстоятельство, что передача ханом земли в мульковое владение тому или иному лицу оформляется ярлыком как сделка купли-продажи, хотя как в нашем ярлыке, так и прочих грамотах обычно указывается, что цель передачи земли — вознаграждение того или иного лица за выполняемую им службу. Разъяснения хивинских законоведов показали, однако, что продажа в данном случае являлась чисто фиктивной и упоминание о ней вводилось в документ с единственной целью — закрепить наиболее прочно право на землю за ее новым владельцем, ибо — как пояснили законоведы —

«сделки купли-продажи по шариату являются самыми прочными». На фиктивный же характер продажи указывают и крайне низкие цены на землю, по Шкапскому — от 2 до 20 раз ниже нормальных.

[2] В тексте стоит мемлеке-и-падшахи. О значении этого термина в Хивинском ханстве см. цитированную мою работу об «Удельных землях» в ЗИВ, т. VI, стр. 39 и сл.

[3] На русских картах Ильялы — между Хивой и Куня Ургенчем.

[4] В тексте «арка» (буквально «спина»). А. Туманский в своем переводе «Родословной туркмен» Абулгази (Асхабад, 1897, стр. 19, прим.) поясняет, что «арка» («арка-тераф») — «выражение, употребляемое в Средней Азии у тюркских народов для обозначения той страны, из которой тот или другой народ полагает себя вышедшим». Возможно, что и такое толкование слова «арка» когда-либо применялось; однако, как показывает текст нашего ярлыка, данное слово имело и более простое и понятное значение, именно — «север», «северная сторона» (в данном случае «северная граница» участка), как мы его и переводим.

[5] В тексте мульк-и-халиси. Более детальное толкование этого термина см. в цитированной выше моей работе, стр. 40 и сл.

Данное место ярлыка между прочим показывает, что термин мульк-и-халиси применялся для обозначения не только личных поместий («удельных земель») ханов, как это видно из хивинских хроник, но и «обельных» земель частных лиц.

[6] Хивак — средневековое название г. Хивы.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАД. НАУК СССР
Том VII

Л. И. ДУМАН

Биянху — вождь дунганского восстания 1862—1877 гг.

(ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПО КИТАЙСКИМ И СОВЕТСКИМ АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Дунганское восстание, вспыхнувшее в северо-западных провинциях внутреннего Китая в 1862 г. и распространившееся впоследствии на всю территорию Западного Китая или Восточного Туркестана (Синьцзяна), ждет еще своего исследователя. Ни в русской, ни в западноевропейской, а также и в китайской литературе до сих пор не появлялось серьезного исследования восстания.

Многочисленные статьи на различных языках, посвященные восстанию, не являются научно-исследовательскими работами, — в лучшем случае это более или менее полное освещение военных действий между повстанцами и китайско-манчжурскими войсками. В этих статьях не находит себе места объяснение причин восстания, движущих сил его, нет характеристики классовых противоречий, вызвавших восстание, и т. д. В них не находим мы также и освещения роли царского правительства в подавлении восстания, взаимоотношений между русским самодержавием, китайским правительством и дунганскими повстанцами.[1]

В данной статье мы не берем на себя задачу осветить все эти затронутые вопросы, — они ждут специального большого исследования, нам желательно лишь оттенить роль одного из наиболее стойких и последовательных руководителей повстанцев — Биянху; попутно мы покажем, какой сложный клубок противоречий сплетался вокруг восстания и в какой связи с Биянху

[1] Подробный разбор литературы о дунганском восстании дан в моей статье «Русская и иностранная литература о дунганском восстании в Китае». Библиография Востока, вып. 7 (1934), стр. 55—78.

находились эти противоречия. Этим самым мы дадим частичный ответ на вопрос о роли царской России в дунганском восстании.

В наших республиках — Киргизии, Казахстане, где обитают дунгане, имя Биянху пользуется широкой известностью. Биянху в глазах дунганских масс народный герой, воспеваемый в народных сказаниях, окруженный легендарной славой. Популярность Биянху велика. Такая широкая известность Биянху стала возможной благодаря существовавшей устной сказительной традиции, устной литературе. Наряду с этим, в литературе о дунганах мы находим очень немного о Биянху, а еще меньше правдоподобного.

Вот краткие данные о нем.

В первые 6—7 лет после возникновения восстания Биянху не являлся центральной фигурой движения, во главе которого стояли представители верхушечных феодальных слоев дунганского населения — помещики, купцы и духовенство.

Лишь в 1868—1870 гг., когда пров. Шеньси, первая поднявшая знамя восстания, была разгромлена и когда соединенный отряд правительственных войск, состоявший из четырех больших армий Лю Суншаня, 劉 松 山, Вей Гуаншоу, 魏 光 壽, Чжан Яо и Цзо Цзунтана 左 宗 堂, охватывал кольцом другую пылавшую в огне восстания пров. Ганьсу, в момент ожесточенных боев, в момент поражения повстанцев в ряде районов, в период измен в лагере дунган — на арену классовой борьбы выступает Биянху, к этому времени возглавлявший большой отряд дунганских партизан. Тогда же в дунганском восстании вполне определились два течения:

1. Течение революционное, крестьянское, во главе с отдельными начальниками отрядов — выходцами из крестьян и отчасти мелкопоместного чиновничества. Это течение делало ставку на решительную и беспощадную борьбу с феодалами-помещиками, феодальной Цинской монархией и ее представителями на местах, крупными чиновниками. Равным образом эта группировка повстанцев не прочь была свести старые счеты и с дунганской феодальной верхушкой.

2. Течение реакционное — представлявшее интересы крупных дунганских феодалов, правителей уездов, областей, духовенства и купечества.

Представители этого течения, не желая отказываться от права присваивать прибавочный продукт, доставляемый дунганским крестьянством, шли на соглашение с китайско-манчжурскими феодалами.

В конце концов все эти Ма Хуалуны,[1] Ма Чжаньао,[2] Ма Досани,[3] Ма Гуйюани[4] и др. вовсе не боролись за освобождение дунганского крестьянства от феодальной эксплоатации, а лишь стремились к монопольному господству, к монопольной эксплоатации непосредственного производителя, стараясь избавиться от необходимости делить прибавочный продукт с манчжуро-китайскими феодалами.

Естественно, что при первых серьезных поражениях повстанцев все нерешительное, половинчатое отходило от движения, предавало его, вступая в соглашение с китайско-манчжурскими властями.

В этих условиях и выдвигается Биянху,[5] примыкавший к первому, революционному, течению.

По происхождению Биянху — сын городского старосты,[6] родом из Сианьфу в пров. Шеньси или из Пекина.[7] В ранней молодости, 19 лет, Биянху был якобы избран на должность управителя одного довольно большого и видного участка в Пекине.[8]

1 Ма Хуалун, 馬化漋, глава ганьсуйских дунган, вернее дунган одного из районов пров. Ганьсу — Цзиньцзипу. Крупный помещик и скототорговец. Усмиритель восстания Цзо Цзунтан характеризует Ма Хуалуна как первого богача в округе, «добившегося богатства торговлей и владевшего лучшими землями в Цзиньцзипу» (см. Доклады Цзо Цзунтана, «Цзо Вэнь-сянгун цзоушу сюйбянь», 1890, гл. 34, стр. 5). Сосновский — начальник русской экспедиции 1874—1875 г. в Западный Китай, сообщает, что Ма Хуалун имел «до 8 000 000 руб. (??) капитала, громадные табуны и другие богатства и фактически был повелителем всей местности в окрестностях Цзиньцзипу». Военный сборник, № 10, 1878, стр. 438. Ма Хуалун являлся также ахуном, главой «неомагометанской школы», синьцзяо, возглавлявшей восстание.

2 Ма Чжаньао, 馬占敖, глава хэчжоусских дунган, в пров. Ганьсу. Сдался китайцам.

3 馬朶三, Ма Досань, глава сининских дунган в пров. Ганьсу. Сдался китайцам; несмотря на это, он был казнен. Его сместил Маюнфу.

4 Ма Гуйюань, 馬桂源, житель Сининфу (округ) в пров. Ганьсу. Сначала был начальником уезда (тунчжи); купив эту должность, впоследствии — начальником Сининского округа (чжифу) в 1869—1870 гг. Как представитель феодальной бюрократии, Ма Гуйюань ближе стоял к цинскому правительству, чем к дунганским повстанцам, но это не мешало ему заигрывать с последними и интриговать против правительства, когда это было выгодно. См. доклады Цзо Цзунтана, гл. (цзюань) 46, стр. 7.

5 白彦虎 — по пекинскому произношению Байяньху. Дунгане произносят его имя Биянху. Его мусульманское имя Мухамед-Аюб.

6 Ф. Поярков. Последний эпизод дунганского восстания. Об этом же свидетельствуют и сыновья Биянху, проживающие в Киргизии и Казахстане.

7 Там же, стр. 11. По полученным мною в 1931 г. сведениям от сына Биянху, проживавшего в г. Фрунзе, Биянху происходил из Сианьфу, столицы пров. Шеньси.

8 Там же, стр. 12. Сообщаемые Поярковым сведения весьма противоречивы и малоправдоподобны.

По словам сына, Биянху в 14—15-летнем возрасте имел свой отряд и участвовал в столкновениях с китайцами еще задолго до восстания 1862 г.

По китайским данным, его активная борьба с правительством относится к середине 1869 г.,[1] после отступления из Шеньси вместе с другими начальниками отрядов, наиболее стойкими, Юй Дэянем, Цуй Санем и др. До этого времени имя Биянху почти не встречается в китайских источниках.

После бегства из Шеньси в пров. Ганьсу Биянху оперирует со своим отрядом в пограничных районах и доставляет немало хлопот китайским войскам.

В 1869 г. совместно с Ма Чжэнхэ и другими отрядными начальниками Биянху охватывает своими операциями значительный район: Дунчжиюань (пров. Ганьсу) — Нинчжоу (округ в восточной части пров. Ганьсу, на границе пров. Шеньси) — Цин-ян (к северу от Дунчжиюань); на юге пограничные округа Бинь и Фын (в пров. Шеньси); на северо-востоке до Фучжоу и Яньчжоу (округа в Шеньси).[2]

Теснимый численно превосходящими его цинскими войсками, Биянху с боем отходит в глубь пров. Ганьсу.

Однако его отступление сопровождается упорным сопротивлением, часто переходящим в контрнаступление, которое приводило к поражению правительственных войск. Так было в 1868, 1869, 1870 гг. и в первой половине 1871 г., когда Биянху прибыл на помощь хэчжоуским дунганам, возглавлявшимся Ма Чжаньао. В этом районе дунгане под предводительством Биянху основательно потрепали цинские войска. Из Хэчжоу Биянху со своим отрядом направился в Синин.

Несмотря на отдельные успехи повстанцев, приводившие к разгрому карательных войск, движение восставших крестьян пров. Ганьсу шло на убыль. Раздробленность повстанческих сил, отсутствие единого руководства, партизанская борьба при отсутствии регулярной армии, действующей по определенному стратегическому плану; переходы отдельных руководителей на сторону правительства дезорганизовывали ряды дунганских повстанцев.

1 По данным Цинчао цюаньши, 清朝全史, Всеобщая история Цинской династии, т. 2, ч. 3, гл. 75, стр. 68.

2 Чжунго лидай цзянъ 'юй чжаньчжэн-хэту, 中國歷代疆域戰爭合圖, «Китайский исторический атлас военных действий (войн) на границах», табл. 41.

До отступления в Сининфу[1] Биянху участвовал в защите Цзиньцзипу[2] — важной в стратегическом отношении крепости, цитадели Ма Хуалуна и значительных дунганских сил. Героическая защита не могла спасти крепость от падения. Против Цзиньцзипу были брошены лучшие правительственные войска. Кроме армий Лю Цзиньтана, Вэй Гуаншоу, здесь оперировали войска Хуан Дина,[3] Лэй Чжэнгуаня,[4] Цзинь Юньчана,[5] Сюй Вэньсю[6] и др. С другой стороны, и дунгане сосредоточили здесь значительные силы; кроме отрядов Ма Хуалуна, сюда прибыли повстанцы из Хэчжоу, Синина и остатки шеньсийских отрядов Биянху, Юй Дэяня, Цуй Саня, Ма Уцзюэра, Чэнь Ши и др. С захватом Цзиньцзипу манчжурское правительство добилось бы: 1) разгрома Ма Хуалуна и, следовательно, «неомагометанской школы» Синьцзяо, вдохновлявшей повстанцев на борьбу (надо сказать, что восстание внешне проходило под лозунгом борьбы «За Ислам против неверных»); 2) разгрома Биянху, причинившего немало хлопот китайским генералам.

Цзиньцзипу после долгой осады был взят в значительной мере потому, что осажденные оказались без продовольствия. Захваченные во время вылазки дунгане сообщали, что положение осажденных тяжелое. Жители и дунганские войска голодают, только у Ма Хуалуна и его родственников имеется хлеб. Шеньсийские боевики партизаны и другие повстанцы, защищающие крепость, получали ежедневно по 1 гину (цзиню) продуктов,[7] но вскоре и эта норма была сведена на-нет. Дунгане питались травами, кореньями и шкурами падшего скота. Голод доводил их до людоедства.[8] При таком положении начались измены, переходы на сторону правительственных войск. Так, ряд руководителей повстанцев: Чэнь Линь (陳 林), Янь Син (閻 興), Юй Чжаолинь (于 兆 林), Ма Чжэньцзян (馬 振 江), Цзинь Минтан (金 明 堂), Ма Хуафын (馬 化 鳳), Хэй Цинцюань (黑 清 全) и др. сдались, уведя с собой в декабре 1870 г. часть мирных жителей, всего около 8000 человек, включая стариков и женщин.[9]

[1] 西 甯 府, округ в провинции Ганьсу.

[2] 金 積 堡, Цзиньцзибао или Цзиньцзипу—уездный город в пров. Ганьсу, округе Нинся.

[3] 黃 鼎

[4] 雷 正 綰

[5] 金 運 昌

[6] 徐 文 秀

[7] 1 гин, китайский фунт, равен, примерно, 600 грамм.

[8] Доклады Цзо Цзунтана, гл. (цзюань) 37, стр. 4.

[9] Доклады Цзо Цзунтана, гл. 34, стр. 3.

Правительственные войска разрешили одну из поставленных задач: Ма Хуалун сдался, вслед за этим область Нинся была усмирена. Это было в начале 1871 г. После падения Цзиньцзипу мы узнаем из доклада усмирителя восстания, что готовилось новое предательство в Хэчжоу, со стороны Ма Чжаньао. Таким образом выясняется, что дунганские вожди — представители феодальной верхушки — значительно раньше поражения повстанческих отрядов готовили удар в спину повстанцев. И это было в момент разгрома цинских войск в Хэчжоу при участии Биянху. Ма Чжаньао перешел на сторону правительства в феврале 1872 г., примерно в это же время заигрывал с властями и Ма Досань, а за год до этого, именно в феврале 1871 г., Цзо Цзунтан писал на имя императора: «... что касается хэчжоуского главаря бандитов (??), Ма Чжаньао, — то он давно имел намерение покориться. Сининский главарь Ма Досань после того, как он, оказав помощь Цзиньцзи (Цзиньцзипу), потерпел поражение и узнал силу наших войск, лишен возможности творить беспорядки. С ними (Ма Чжаньао и Ма Досанем) некуда торопиться...».[1]

Несмотря на измены и поражения, Биянху был тверд до конца, нанося внезапные удары правительственным войскам.

В 1871 г. Биянху оперирует в Хэчжоу, а затем в Сининском округе. К этому времени появляются слухи, что Биянху, Юй Дэянь и др. готовы сдаться на милость победителей. Данные, которыми я располагаю, позволяют утверждать, что этот слух не имел никакого основания и явился либо провокацией, исходившей со стороны отдельных изменивших руководителей восстания с целью дезорганизации повстанцев, либо военной хитростью Биянху и др., известным стратегическим маневром с целью отвести удар от сининских и хэчжоуских дунган. С другой стороны, эта утка могла быть пущена самим Цзо Цзунтаном для успокоения имперского правительства. Во всяком случае по этому поводу Цзо Цзунтаном было послано донесение на имя императора от 7 декабря 1871 г.,[2] из которого мы узнаем также, что Биянху и другие обосновались в Сининском округе: «...После того как было улажено с переселением в Цзиньцзи, Танпине,[3] Хуапинчуане,[4] стали очевидными авторитет и доверие (к армии. — *Л. Д.*)».

1 Доклады Цзо Цзунтана, гл. 34, стр. 5г.

2 10-й год правления императора Тунчжи, 10-я луна, 26-й день.

3 盪平 Танпин.

4 化平川.

Из доклада Цзиминдао[1] Фын Банбина (馮邦棅), ведающего делами по умиротворению в Хуапинчуане, который одновременно прислал в лагерь и реестр всех жителей Хуапинчуана, видно: что смирившиеся мусульмане Ян Синчунь, Чэнь Линь и др.,[2] в количестве 20 с лишним человек, сообщают о том, что «шеньсийские дунгане, скрывшиеся в Синине — Цуй Сань, Юй Дэянь, Биянху, Ма Уцзюэр,[3] Чжоу Баохэ,[4] Ма Шэн'янь,[5] Фын Цзюньгуй,[6] Ха Ляньцзинь[7] и др. — несколько десятков человек — прислали письмо, в котором выражают желание покориться и просят о помиловании».

«Прочитав это донесение, полагаю, что их желание покориться — искреннее, так как в сообщении [Ян Синчуня и др.] говорится, что «в случае неискренности [шеньсийцев — Биянху и др.] — те, кто уже покорился, сами уничтожат их [Биянху и др.]». Оказывается, Цуй, Юй и др. мятежники ныне захватили Дасянаньчуань,[8] отделенный от хэчжоуских разбойничьих [?] логовищ всего лишь одной рекой.

Я [Цзо Цзунтан] приказал Фын Банбину довести до сведения Ян Синчуня, Чэнь Линя и др., чтобы они секретно сообщили Цуй'ю [Цуй Саню], Юю [Юй Дэяню] и др. о необходимости доставить сначала свои семьи в Ланьчжоу,[9] а с другой стороны, чтобы Цуй и др. приняли меры к преграждению пути отступления хэчжоуским бандитам [?], — тогда только приму просьбу о смирении [покорности]. Если же они [желающие покориться] смогут сами [непосредственно] разгромить хэчжоуское логовище, — в таком случае не только будут помилованы, но удостоятся даже награды...»[10]

Сообщаемые в цитированном донесении Цзо Цзунтана слухи относительно Биянху оказались фальсифицированными. Спустя восемь месяцев после этого доклада Биянху и др. попрежнему оперировали в Сининском округе, укрепившись в районе Дасяо-наньчуань и нанося удары «доблест-

[1] 記名道
[2] О них см. выше.
[3] 馬五九兒
[4] 鄒保和
[5] 馬生彥
[6] 馮君葵,
[7] 哈連金
[8] Местность в Сининском округе.
[9] Главный город пров. Ганьсу.
[10] Доклады Цзо Цзунтана, гл. (цзюань) 40, стр. 10^{rv}.

ным» генералам Цинской монархии. Об этом мы узнаем из уст того же Цзо, который в новом секретном донесении императору от 20 октября 1872 г.[1] сообщает следующее:

«...Сининские коренные дунгане (мусульмане) медлят с разоружением, мотивируя это тем, что „Шеньсийцы — Биянху, Юй Дэянь, Цуй Сань и др. — захватили Дасянаньчуань, грабят [?] кругом и что необходимо временно оставить им [местным дунганам] оружие для ограждения [их] от неприятностей. К тому же просили выгнать шеньсийских дунган, чтобы успокоить границы Хуана“.[2] Я, Цзо Цзунтан, конечно, не мог узнать их помыслы, так как в то время планы их еще не были раскрыты. Если же необдуманно поддержать их [просьбу], то они безусловно обвинили бы правительственные войска в том, что последние возбуждают население, притесняя его, и толкают на возмущение. Я приказал тиду[3] Хэ Цзолиню [何作霖] взять 8 батальонов пехотных и кавалерийских войск и отправляться сначала в Няньбо, объявив для всеобщего сведения, что войска направляются усмирять шеньсийских дунган. Затем приказал Лю Цзиньтану взять 10 батальонов [юн] смешанных частей и следовать за Хэ Цзолинем».

Лю Цзиньтан, достигнув Няньбо, выпустил обращение, в котором пояснял, что: «правительственные войска направляются для усмирения Дасянаньчуань и что местным дунганам, проживающим на пути прохождения войск, нечего бояться».

Но лишь только Лю Цзиньтан прибыл в Дасякоу и стал сооружать укрепления, как местные дунгане соединились с шеньсийцами и стали оказывать сопротивление.

На основании донесений шпионов (предателей дунганского восстания Янь Синчуня и др.) видно, что Ма Гуйюань[4] 12 сентября 1872 г. (10-й день, 8-я луна, 11-й год правления императора Тунчжи) тайно принимал в собственном доме, в Дунгуане[5] Биянху, Юй Дэяня, Цуй Саня и др., обсудив совместно с ними вопрос о сопротивлении правительственным войскам; с другой стороны, [Ма Гуйюань] перебросил местных дунган на помощь мятежникам [шеньсийцам]».[6]

[1] 11-й год правления императора Тунчжи, 9-я луна, 19-й день.

[2] Хуанчжун, 湟中, древнее название Сининфу.

[3] Тиду, 提督

[4] Ма Гуйюань — дунганин, был начальником округа Сининфу.

[5] 東關, Дунгуань, в Сининском округе (Сининфу).

[6] Доклады Цзо Цзунтана, гл. 46, стр. 7^{rv}.

Из этого донесения Цзо Цзунтана можно заключить, что Биянху и др. оказывали помощь сининским дунганам и не думали сдаваться. Отсюда же видно, что осенью 1872 г. правительственные войска еще не подавили восстания в Сининфу.

О стойкости Биянху, его преданности восставшим мусульманским крестьянам свидетельствует, правда, очень скупо, даже официальная китайская литература.

Так, во «Всеобщей истории Цинской династии» говорится, что осенью 1872 г. после разгрома в Сининфу и Датуне многие дунганские лидеры перешли на сторону правительственных войск и лишь Биянху с остатками своего отряда держался, отступив из Юн'аня[1] в Сучжоу.[2] Затем после измены Масы[3] Биянху, возглавляя отряд, примерно, в 7000 человек, отступил в Синьцзян.[4] По пути в Синьцзян, в области Сучжоу, Биянху неоднократно приходилось отражать нападения правительственных войск; здесь Биянху оказал помощь осажденным в г. Сучжоу, выручив половину из них.[5] В Хами Биянху разбил восьмитысячный отряд местных войск.[6]

В дальнейшем Биянху со своим отрядом обосновался в Урумчи,[7] где прожил до возобновления правительственными войсками военных операций, примерно около трех лет. В мае—июне 1876 г. Биянху находился еще здесь.[8]

В течение трех лет (1872—1875) Цинское правительство не принимало никаких мер против восставшего Синьцзяна, предоставив местным манчжуро-китайским войскам расправляться с повстанцами. Объяснение этого факта можно видеть в том, что в это время правительство было озабочено приведением в «порядок» внутренних провинций, в частности Шеньси и Ганьсу, без чего оно не могло направить войска в Синьцзян, имея в тылу

[1] 永安

[2] 肅州 — крайняя западная область в пров. Ганьсу, отделена от Синьцзяна заставой Цзяюй и областью Аньси (Аньсичжоу).

[3] 馬四, Ма IV, он назывался еще Ма Вэньлу, 馬文祿.

[4] Цинчао цюаньши, ч 3, гл. 75, стр. 70.

[5] Поярков. Последний эпизод дунганского восстания, стр. 34.

[6] Там же, стр. 35.

[7] Этот город также назывался Хунмяоцзы (紅廟子), «Красный Храм» — по храму, выстроенному на Красной горе за городскими воротами. Колонны этого храма выкрашены красной краской.

[8] Цинчао цюаньши, ч. 3. гл. 76, стр. 76.

Поярков сообщает, на основании рассказов дунган, что в Урумчи Биянху вместе с отступившими с ним дунганами прожил три года, занимаясь хлебопашеством и торговлей. Поярков, там же, стр. 35.

этих войск грозную силу в лице повстанцев дунган внутренних провинций. И только после кровавого разгрома и почти поголовного истребления мусульманского населения подгнившая феодальная монархия Цинов двинула войска против восставшей своей колонии — Синьцзяна. В апреле 1876 г., через три-четыре месяца после восшествия на престол нового императора Гуаньсюй'я, Цзо Цзунтан был назначен особым комиссаром по усмирению Синьцзяна, а его помощником утвержден Цзинь Шунь.[1]

180 батальонов (юн) было брошено против повстанцев, 9 000 000 лан серебра затрачивалось ежегодно на снабжение карательной экспедиции.[2]

В июне 1875 г. Цзинь Шунь достиг Гучэна, где остановился в ожидании других. Только в марте 1876 г. Цзо Цзунтан отправился из Ланьчжоу, послав предусмотрительно впереди себя Лю Цзиньтана. К июню 1876 г. Лю достиг Баркуля и овладел Гучэном. Соединившись с армией Цзинь Шуня, войска Лю медленно продвигались вперед, встречая на пути сопротивление. К этому времени Биянху со своим отрядом присоединился к Якуб-беку, создавшему крупное мусульманское государство в Синьцзяне и разгромившему дунганское султанство в Урумчийском округе (в 1871—1872 г.).

По существу, еще задолго до возобновления военных действий со стороны правительственных войск, дунганские повстанцы в Синьцзяне потерпели поражение с другой стороны. Господству самостоятельного дунганского государства Лотайхана в восточной части Синьцзяна (Урумчийский округ и прилегающие к нему районы) и существованию дунганско-уйгурского государства Рашэддина (Кашгария) был положен конец ходжей Бузрукханом и его полководцем Якуб-беком, впоследствии провозгласившим себя правителем Восточного Туркестана. В 1868 г. вся Кашгария была объединена Якуб-беком, а в 1872 г. после двух походов уничтожено, как было сказано выше, Урумчийское дунганское султанство, существовавшее с 1864 г. Однако после уничтожения дунганского султанства в Урумчийском округе сохранилась известная самостоятельность дунганских городских самоуправлений, редко нарушаемая Якуб-беком.

В дальнейшем установилась даже известная связь между Якуб-беком и дунганами, в особенности в момент угрозы нападения со стороны китайско-манчжурских войск.

Так, китайский автор сообщает, что Биянху получил приказание от Якуб-бека защищать Хунмяоцзы (Урумчи), а затем Якуб-бек послал под-

[1] 金順 — Цзинь Шунь, урумчийский тиду.

[2] Цинчао цюаньши, ч. 3, гл. 76, стр. 76.

крепления, которые, однако, остановились, примерно, в 200 ли[1] от Урумчи, не смея продвинуться дальше, в связи с наступлением китайских войск и с захватом последними в августе 1876 г. городов Гучэна, Урумчи, Чанцзи и Хутуби.[2]

Следует заметить, что, хотя Якуб-бек рассматривал дунган как своих вассалов, собирая с них зякет,[3] и посылал войска на защиту их городов от китайских войск, при всяком удобном случае он (Якуб-бек) старался представить их в невыгодном свете перед лицом общественного мнения, в частности перед русскими властями. Так, в письме военному губернатору Семиреченской области генералу Колпаковскому от 27 ноября 1876 г. Якуб-бек следующим образом характеризует дунган, отмечая свою борьбу с ними: «Народ дунганский имеет дурную и низкую привычку, которая состоит в том, что они грабят китайцев и жителей других народностей, например: они прибыли в мое владение, убили много людей и ограбили их имущество. Я со своими войсками, преследуя этих изменников до самого Урумчи и Турфана, войною подчинил их своей власти, но так как они одной с нами веры, то я владения их отдал им самим, дабы они управлялись сами по своим порядкам и правилам. За их ненависть и поступки бог прислал к ним китайцев, и они наказаны за свои поступки. Впредь до моего приезда китайцы взяли их и все места, подчиняющиеся Урумчи, покорили себе».[4]

Как видим из этого письма, о прочном союзе между дунганами и новым феодальным самодержавным государством Якуб-бека не могло быть речи. И если нам известны факты совместной борьбы дунган, в частности Биянху, с войсками Якуб-бека против манчжурских правительственных войск, то объяснение этому я вижу в желании той и другой стороны отразить наступление общего врага, пощады от которого ни дунгане, ни Якуб-бек не могли ожидать.

С падением Урумчи, Манаса и других городов Биянху отступил в Токсунь, где были сосредоточены значительные силы Якуб-бека.

1 Ли = $1/2$ версты.

2 Цинчао цюаньши, ч. 3, гл. 76, стр. 76.

3 В архиве б. Семиреченского областного правления, в журнале политических сведений от 15 октября 1876 г., находим следующее о зависимости дунган от Якуб-бека: «Зависимость дунган от кашгарского бодаулета выражается, по словам Абдуллы (кашгарца, служившего в войсках Якуб-бека. — *Л. Д.*), в платеже правителю Джитышара (т. е. Якуб-беку. — *Л. Д.*) зякета. Зякет этот посылают они в казну ежемесячно с донесениями о положении дел в крае, прибавляя к сумме зякета по 4—5 ямб в подарок». Центральный архив Казахской ССР, г. Алмата. Фонд Семиреченского областного Правления. Канцелярия военного губернатора Семиреченской области по кульджинским делам, ф. № 21, д. № 284, о пограничных слухах и составлении журналов политических и военных событий, л. 219 (2).

4 Архив, там же, ф. № 21, д. № 284, л. 287.

Попутно надо отметить, что в осажденных городах Восточного Туркестана дунгане оказывали решительное сопротивление манчжурским войскам и сдавались в исключительных случаях под давлением голода. Так, например, было в Манасе, где осажденные дунгане терпели острую нужду в хлебе и других съестных припасах,[1] и, несмотря на это, они держались в течение двух лет.

Даже при этих условиях сопротивление дунган было бы продолжено, если бы не обещание китайских военачальников амнистировать жителей в случае добровольной сдачи города. Это обещание, как и следовало ожидать от убийц революционного крестьянства, не было выполнено. Из 2000 дунган 1500 человек было зверски убито.[2]

Дальнейшие события развивались быстрее, принося успех за успехом цинским войскам.

Осенью 1877 г. окончательно решилась участь Якуб-бека и кое-где державшихся дунганских повстанцев. Еще до этого, в феврале, правительственные войска под руководством Сюй Чжаньмао и Сунь Цзиньмао напали на Турфан, заставив Биянху отступить. После смерти Якуб-бека Биянху — по приказанию Бек-кулы-бека, сына кашгарского правителя, — защищал г. Курлю.

7 октября 1877 г. правительственные войска захватили Карашар, 9 октября 1877 г. — г. Курлю. Биянху в это время находился в Бугюре (Карашарский округ). Лю Цзиньтан, преследуя Биянху, достиг Куча (19 октября 1877 г.), 21 октября правительственные войска заняли Байчэн, 24 октября — Аксу, 26 октября — Уш.

1 Архив, там же, д. № 284, л. 115, сведения за июль 1876 г.; л. 273.

2 В связи с этой жестокой расправой с мирным населением последовал протест туркестанского генерал-губернатора Кауфмана, указывавшего, что после двухлетней безуспешной осады г. Манаса китайский генерал Цзинь предложил жителям добровольно сдаться, обещая за это полную амнистию всему дунганскому населению. После этого обещания город был сдан дунганами во главе с яншанем (градоначальником) Хэ Шунем. Однако китайский генерал обещания своего не выполнил и учинил резню. Кауфман указывает Цзо Цзунтану на то, что такие действия могут обезлюдить страну и причинить ущерб интересам Цинской монархии: «Подобный жестокий и коварный образ действий, недостойный военачальника Великой державы, не может не произвести самого тяжелого впечатления на то население, которое китайское правительство стремится опять подчинить своей власти, да и кроме того такие возмутительные жестокости могут иметь прямым последствием совершенное обезлюдение страны и прежде всего весьма дурно отзовутся на интересах самого китайского правительства (читай: русской торговли. — *Л. Д.*). Поэтому считаю священным долгом просить вас, достопочтенный Цзо Цзунтан, обратить серьезное внимание на изуверства, которые позволяют себе ваши подчиненные, и принять действительные меры к предотвращению повторения ужасов манаских, так как подобный образ действия не может быть в видах великого Дайцинского государства». Д. № 334, л. 234. Письмо послано 13 мая 1877 г., за № 128, из Ташкента Колпаковскому для перевода и пересылки Цзо Цзунтану.

Тремя колоннами двигались китайские войска на Кашгар. Из г. Уша армия Хуан Ваньпэна (黃萬鵬) двигалась мимо становищ киргизов, Гуй Сичжен (桂錫楨) из Аксу по дороге мимо Барчука; оба отряда подчинялись Юй Эньху (余恩虎). 17 декабря 1877 г. армии Юя и Хуана подступили к Кашгару. Гарнизонные войска оказали сопротивление, но вынуждены были бежать. Биянху, находившийся в это время в Кашгаре, не мог дать действенного отпора во много раз превосходящим правительственным войскам. Оставив небольшой отряд для защиты города, Биянху с остальными отступил на территорию России.[1] Автор записок о восстании, дунганин Ликокуй, сообщает, что из Кашгара Биянху бежал в Россию через Нарын и 27 декабря 1877 г. прибыл с остатками дунган в укрепление Нарын. До самой русской границы дунган преследовали войска Лю Шо (Лю Цзиньтана) и присоединившиеся к ним кашгарские войска. В ущелье Чак-мак правительственные отряды догнали повстанцев и учинили резню, от которой погибло три четверти состава бежавших дунган. Значительная часть последних погибла от голода и холода на пути следования, и лишь несколько тысяч из них — благодаря упорству, твердости и заботам Биянху — были спасены.

По архивным источникам можно заключить, что Биянху бежал из Кашгара раньше декабря или ноября, так как еще в октябре 1877 г. царским властям было известно о бегстве Биянху.

18 октября 1877 г. правитель канцелярии туркестанского генерал-губернатора, IV отделения, камергер Каблуков, сообщал военному губернатору Семиреченской области Колпаковскому о бегстве Боянахуна[2] в Илийскую долину и о намерении Цзо Цзунтана отправить отряд для поимки Биянху. В этом же сообщении приводится распоряжение главного начальника края военному губернатору Семипалатинской области о розыске Биянху, причем предлагается не арестовывать его и не делать огласки, а иметь всегда на виду, для поимки в случае необходимости.[3]

13 февраля 1878 г. Колпаковский представил рапорт туркестанскому генерал-губернатору, в котором сообщал о прибытии на русскую территорию в Токмакский и Иссыккульский уезды двух групп кашгарских дунган. Во главе первой группы стоял Биянху, представившийся в Верном

[1] Цинчао цюаньши, ч. 3, гл. 76, стр. 79.

[2] Под этим именем фигурирует Биянху в официальных документах, находящихся в Алмаатинском и Ташкентском архивах.

[3] Д. 333, о розыске китайским генерал-губернатором Цзоцзунтаном бежавшего в Илийскую долину предводителя дунган Боянахуна. Начато 18 октября 1877 г., кончено 24 апреля 1882 г., л. 1.

(Алма-ата) Колпаковскому и просивший не выдавать его (Биянху) на растерзание манчжурским властям. В своем рапорте Колпаковский поддерживает просьбу Биянху и со своей стороны указывает, что без участия Мухаммед-Аюба[1] устроить быт и управлять дунганами будет трудно «в виду дикости их нрава».[2]

Таким образом, предвидя, что со стороны цинского правительства последует требование о выдаче вождя дунганских повстанцев, царские власти были готовы отвергнуть притязания усмирителей восстания. Объяснение такой кажущейся гуманности со стороны представителей самого деспотического в мире самодержавного государства — российского — надо видеть в политической обстановке того времени на восточных границах России, именно в среднеазиатских владениях. Выдача Биянху и других дунган могла бы скомпрометировать царское правительство в глазах мусульманских народов и вызвать недовольство населения сравнительно недавно колонизованной Средней Азии; в частности, этот шаг поднял бы киргизов и казахов, видевших в лице дунган своих единомышленников, которым киргизы и казахи неоднократно помогали еще в первый период восстания (в 1864 г.) в Илийском и Тарбагатайском округах. Вот почему, как мне кажется, из тактических соображений царские военные и гражданские власти предполагали ответить отказом на требования китайских генералов. Этот наш вывод подтверждается самим генералом Колпаковским, который во втором своем рапорте на имя туркестанского генерал-губернатора от 21 февраля 1878 г. за № 617 вновь просит не выдавать дарына Биянху,[3] причем здесь за рассуждениями о гуманности, человеколюбии «Белого царя» скрывается тревога преданного самодержавию генерала. Вот что говорит Колпаковский в вышеназванном рапорте:

«Одно человеколюбие заставляет воздержаться от подобного шага (т. е. от выдачи Биянху. — *Л. Д.*), могущего скомпрометировать наше правительство в глазах туземцев вверенного вашему высокопревосходительству генерал-губернаторства и соседних азиатских владений (разрядка моя. — *Л. Д.*). Толпы дунган, боровшихся за правое дело, искавшие с оружием в руках признания за ними со стороны сынов небесной империи человеческих прав, укрылись от жестокостей и насилия китайского пра-

[1] Мусульманское имя Биянху.

[2] Д. № 333, лл. 7—8.

[3] Биянху была пожалована бодаулетом Мухаммед Якубом (Якуб-беком) печать с титулом — «катта дарын» — великий дарын (сановник). См. рапорт Колпаковского от 13 февраля 1878 г., д. № 333, лл. 7, 8.

вительства под наш кров, в наши пределы, благословляя [?] человеколюбие [?] Белого царя».[1]

«Человек этот [Биянху. — *Л. Д.*] не уголовный какой-либо преступник или изверг, попирающий религиозные и человеческие законы, это преступник политический, которого мы в праве не выдавать».[2]

Как и следовало ожидать, манчжурское правительство не могло помириться с мыслью, что из рук властей ускользнул наиболее известный, наиболее стойкий руководитель повстанцев Биянху. Победа не могла казаться полной, даже после очищения от повстанцев почти всего Восточного Туркестана (Синьцзяна), за исключением Илийского края, находившегося тогда еще под властью сатрапов русского царя, так как бесстрашный водитель дунганских масс, герой защиты Сучжоу от манчжурских войск, виновник разгрома Нинся[3] — Биянху, смертельный враг Цинов, находился на свободе. В феврале того же 1878 г. последовало первое, весьма наглое по тону, требование манчжурских военных властей о выдаче Биянху и других руководителей восстания. Это требование исходило от одного из командующих цинской армии Лю Цзинтана,[4] повидимому, с ведома Цзо Цзунтана. Переводчик при канцелярии семиреченского военного губернатора неправильно передал чин генерала Лю: вместо Цзинтан, он всюду переводит Цзунтан, опуская фамилию, благодаря чему русские военные власти приписывали это послание Цзо Цзунтану. В моем распоряжении, кроме перевода этого документа, вероятно с манчжурского, имеется оригинал и на китайском языке; из него я и заключаю, что сообщение исходит не от Цзо Цзунтана. Несколько позднее, именно 26 марта 1878 г., было получено письмо от Цзо Цзунтана, где он также просил, но в совершенно других тонах, о выдаче Биянху. К сожалению, я не располагаю в данное время текстом этого письма, ни китайским, ни русским переводом его. Что касается упомянутого сообщения Лю Цзинтана от февраля 1878 г.,[5] то перевод его, сделанный в канцелярии военного губернатора Семиреченской области, я привожу без изменения, хотя при сравнении с китайским оригиналом обнаружил ряд неточностей, в особенности в передаче имен; исправления и уточнения приводятся мною в примечаниях.

[1] Д. № 333, л. 9.

[2] Д. № 333, л. 10.

[3] По сообщению проф. В. П. Васильева, за отсутствием данных мною не проверенному, Биянху «участвовал в истреблении около 300 тысяч китайцев в городе Нинся и в отчаянной защите Сучжоу и очень насолил в свое время манчжурскому правительству внутри Китая». — В. П. Васильев. Китайцы — новые подданные России, Восточное обозрение, 1884, № 2.

[4] 劉京堂, Лю Цзинтан; Лю — фамилия, Цзинтан — чин.

[5] Точная дата не указывается, документ датирован первой луной 4-го года правления императора Гуансюйя.

Перевод с тюркского.[1] «Высокого сановника самоправно управляющего китайскими конными и пешими войсками, имеющего третью степень Цзунтана Цзи ду э,[2] шинджи,[3] Пафулина[4] [?] — Богатыря сообщение.

Начальнику русских в Алматах генералу Колпаковскому послано письмо о следующем:

„Я, Цзунтан[5] Ван,[6] во второй год правления хана Гуансюй, взяв все мои войска из-за великой стены [Джайван],[7] я вступил для преследования подданных нам воров и в два года слишком на протяжении одного тюменя [10 тысяч ли пути] на север и запад забрал несколько сотен городов больших и малых, народ привел в порядок; более 10 тюменей [100 тысяч] избил воров, а забранному оружию: большим и малым орудиям, ружьям тайфу [крепостные ружья] и прочему оружию нет счета.

Купцы Ваши попрежнему посещают этот край. Мне, Цзунтану, с Вами много говорить нечего, — скажу одно Вашей милости: у главы воров нашей империи [Хакан] Биянхо людей немало было; преследуя их из Кули,[8] я, Цзунтан, подлежащих смерти умертвлял, а мирных подчинил. Оставшиеся на дело [смут] не годятся: старики и не могущие сопротивляться. Воры, желая сохранить свою жизнь, услышав о приближении всех войск моих, Цзунтана, заблаговременно бежали, и я ни одного из них не мог захватить, потому что они ушли под Ваше покровительство. В прошлом году в XI луне я, Цзунтан, в погоню за Бияньхо[9] посылал отряд, который в крепости Чак-Мак встретил несколько сот конных киргизов, они отве-

[1] Вероятно с манчжурского.

[2] В китайском тексте — 三品京堂騎都尉, т. е. 3 степени Цзинтан Ци-ду-юй, — «потомственный титул, данный за храбрость отца или деда на войне» (примечание переводчика. — *Л. Д.*).

[3] Право, по которому никогда не лишается достоинства, степеней (примечание переводчика. — *Л. Д.*); в тексте Шичжи, 世職, право наследования чинов.

[4] В китайском тексте 法福靈, Фафулин.

[5] Не Цзунтан, а Цзинтан стоит в китайском тексте, 京堂.

[6] Князь (примечание переводчика. — *Л. Д.*). В китайском тексте это слово совершенно опущено. Лю Цзинтан не был ваном; это высшее достоинство обычно предоставлялось инородческим князькам. В древнем Китае — ван — суверенный правитель, король.

[7] Ворота в стене (примечание переводчика. — *Л. Д.*). В китайском оригинале передано через 出關 — Чугуань, т. е. из-за заставы, отделяющей внутренний Китай от Синьцзяна-Цзяюйгуань.

[8] Сторона великой стены (примечание переводчика. — *Л. Д.*). В китайском тексте ни о каком Кули нет речи.

[9] Переводчик не придерживается какой-либо единой транскрипции: в одном случае он называет руководителя дунганских повстанцев Боянху, в другом — Бояньху, а в третьем Биянхо и т. д.

чали, что они подданные русских и что Биянхо ушел под покровительство русских. Надеясь, что две Империи находятся в мире издревле и люди будут схвачены и выданы, я свои войска остановил, так как, по установленному прежде трактату, наши враги должны быть и Вашими врагами, и переходящих врагов с одной стороны на другую мы обязаны одни другим выдавать, посему я ждал, что Вы захватите и пришлете их, но Вы не выслали до сих пор, почему — не знаю. Между тем получил сведения, что Вы у них отобрали всякое оружие, а самих поселили на назначенное место. Если Вы вышлете главу воров Биянхо, не будет и разговоров, для чего посылаю к Вам людей, по прибытии которых захватите Биянхо, свяжите и вышлите, чем много останусь доволен, а когда донесу о том Великому Хану — он будет рад, если же Вы не возвратите, я, Цзунтан, по воле Великого хана, пойду преследовать вора Биянхо, куда бы он ни ушел. Все наши старания стремятся к Биянхо, и, если Вы его не выдадите, я, Цзунтан, со всеми своими войсками пойду на Нарын и, где бы ни находился Биянхо, я его отыщу и возьму. Ни Вам, ни подвластным Вам людям пускай на мысль Вашу не придет дело другое, о чем я, Цзунтан, заблаговременно уведомляю; когда я приду на Вас, не вините. Я, Цзунтан, живу в Кашгаре. До подножия престола Великого хана около двух тюменей пути; дабы донесение получилось своевременно и не запоздало, я назначил срок в 50 дней и послал людей; в эти 50 дней должны возвратиться и доставить непременно Ваш ответ.

Если Вы соблюдаете дружеские отношения, — выдадите воров Биянхо; если же не выдадите, по совещании с главными лицами дайте окончательный ответ, смотря на который, мы будем поступать.

Дело это важное и спешное; с Биянхо ушли худшие из воров: Малянху, Хибусы,[1] Саусян,[2] Дзанванбу[3] и Мадакацза.[4] Еще (ушли. — *Л. Д.*) в прошлом году X луны Маджан,[5] сарт Беккулы[6] и с ними дунганин Маджинова,[7] весьма дурные люди и сильные наши враги, которых, где бы мы ни захватили, — умертвим. Ваша милость упомянутых выше воров

[1] В китайском оригинале Хэйбаоцай, 黑寶才.

[2] В китайском тексте Солаосань, 索老三.

[3] В китайском тексте Чжаньваньбао, 張萬寶.

[4] В китайском тексте — Мадагэцзы, 馬大個子.

[5] В китайском тексте Мачжуан, 馬壯.

[6] Беккулы — сын Якуб-бека, убивший своего брата после смерти Якуб-бека.

[7] В китайском тексте Мачжэньвэй, 馬振威.

и предводителя их Биянху, где бы они ни были, захватите и вышлите, что будет приятно. Сарт Беккулы-бек с людьми ушел также под Ваше покровительство, дайте о нем точные сведения.

Правление Гуансюя Хана четвертый год первой луны. «Переводил переводчик коллежский ассесор Бородин».[1]

По этому посланию можно судить о роли Биянху и о значении, которое придавалось ему манчжурскими властями.

На это сообщение последовал ответ Колпаковского, не менее интересный, чем письмо Лю Цзинтана, в котором Колпаковский указывает, что ему неизвестно, кто такой Биянху и какую роль он играет, — на самом деле мы знаем из переписки, часть которой нами была приведена, что генерал Колпаковский был прекрасно осведомлен о Биянху еще задолго до прихода дунган на территорию России.

Ответ Колпаковского адресован Цзо Цзунтану, так как в переводе первого сообщения, как было сказано выше, неправильно передана фамилия адресата. Приводим ответ полностью:

«Великого Российского государства военного губернатора и командующего войсками Семиреченской области генерал-лейтенанта Колпаковского — великого Дайцинского государства высокому сановнику Цзоцзунтану — ответное сообщение.

На днях прибыл ко мне из Кашгара какой-то сарт, привезший от Вас письма ко мне и к главному начальнику и командующему войсками всего Туркестанского края, его величества генерал-адъютанту фон-Кауфману.

По отобрании письма от этой неизвестной личности и прочтении оного, я был немало удивлен его содержанием.

Вы заявляете высокомерное, настоятельное и дерзкое требование от меня выдать дунган, какого-то Биянху и разных дунганских предводителей; для выполнения этого требования назначили пятидесятидневный срок; мало того, — осмелились заключить свое грубое сообщение смешною угрозою о вступлении с войсками в наши владения, не помыслив о том, что имеете дело с представителями державы, сильной перед лицом всего мира своим могуществом и правдой, и что всякий шаг враждебности с Вашей стороны будет опасным шагом для Вас и для управляемого Вами края. Опираясь на существование договора между двумя державами о выдаче преступников, Вы всего менее можете ссылаться на оный договор в настоящем случае.

[1] Архив, там же, ф. 21, д. № 479, о пограничных слухах. Начато 9 января 1878 г. Кончено 26 января 1878 г., лл. 72—74.

В наши владения пришли не преступники, а пришли до 5 тысяч душ бедных дунганских семейств, искавших спасения от неистовств Ваших войск. Прибывшая к нам толпа дунган, спасавшихся от той же участи, пришла в жалком виде, голодная и ограбленная, и умоляла о дозволении укрыться у нас от поголовного избиения.

Что это за дунгане, кто у них начальники — я не знаю, — человеколюбие требовало оказать им помощь, и главный начальник края изволил разрешить дать им приют и оказать пособие, на что ассигнована уже, с высочайшего государя императора соизволения, необходимая сумма.

Дунгане эти, таким образом, приняты под покровительство российского императора, останутся на нашей земле, и никакие притязания Ваши не будут приняты мною во внимание без приказания нашего высшего правительства.

Вот Вам мой ответ; более внушительного ожидайте от главного начальника над туркестанским краем.

6 марта 1878 г., г. Верный, военный губернатор и командующий войсками Семиреченской области — генерал-лейтенант Колпаковский».[1]

Переписка о Биянху на этом не кончилась, она продолжалась до 1881 г. Настойчивость и назойливость, проявленные манчжурским правительством и его ставленниками, можно объяснить лишь значением Биянху как руководителя массового движения. Стремление обезглавить движение, лишить его руководителя, страстного и преданного борца за свободу мусульманских масс, за освобождение их от феодальной эксплоатации и национального гнета, заставляло верных слуг Цинской монархии прибегать к различным уловкам, применять различные методы — от угроз до почтительнейших просьб, для того чтобы добиться торжества кровожадных, звериных инстинктов и принести в жертву Молоху-богдыхану честного и благородного бойца крестьянского восстания. Через три месяца после ответа Колпаковского было получено новое сообщение все по тому же вопросу, на этот раз от илийского цзянцзюня Цзиня и в совершенно других тонах составленное. Привожу полностью перевод этого сообщения:

«Перевод с маньчжурского. Великого Дайцинского государства Илийского Цзинь Цзянцзюня[2] — Великого Российского государства военному губернатору Семиреченской области — сообщение.

[1] Архив, там же, ф. 21, д. № 479, лл. 75—76.

[2] Цзянцзюнь 將軍, командующий войсками, военный губернатор.

Спрашивая о здоровье, пишу — предводитель мятежников Байяньху,[1] он же Даху,[2] один из известных бунтовщиков и изменников нашего государства, при истреблении их зимой прошлого года, бежал в Ваши пределы. По распоряжению Вашему он поселен в Токмаке, вследствие чего заведывающий южными войсками Лю командировал старшину дунган Мамута с бумагою по сему предмету. Почтенный губернатор, в ответе Вашем, между прочим, говорится, что лица эти — бунтовщики или нет — Вы не знаете, а знаете только, что народ этот бежал от притеснений, — почему Вы и дали им приют. Ныне в бумаге главнокомандующего Цзоцзунтана говорится, что Вы, почтенный губернатор, не зная ранее, что Бояньху наш мятежник, дали ему помощь и приют. Но так как Вы теперь узнали уже, кто он такой, то и должны возвратить его, чем еще больше скрепите дружбу двух государств.

В трактате говорится: если подданный российского государства будет своевольно проживать в пределах Дайцинского государства, или же бежит в пределы оного, то чиновники последнего обязаны по разыскании такового, возвратить обратно. Также и наоборот. Также в трактате о распространении торговли в Кульдже и [Чугучаке] Тарбагатае говорится, что преступников обеих сторон разменивать и, не держа у себя, немедленно схватить и сдавать надлежащим властям. Так как Бояньху уже принят вами и поселен в Токмаке, то вы, почтенный губернатор, во имя долголетней дружбы наших двух государств, должны были давно уже возвратить его обратно нам. Ныне, командируя корпусного командира Ен-Хува-тана,[3] старшего полкового командира Гэй Хуньляна[4] и кандидата интенданта Чжилийской провинции[5] Ли Цзысяна[6] для переговоров о передаче нам Кульджи (о чем посылается другая бумага), прошу Вас, почтенный губернатор, вышеназванного мятежника Байяньху[7] сдать им. В исполнение чего

[1] В китайском тексте этого сообщения имя Биянху передано другими знаками по сравнению с приводившимися выше, а именно: 白燕虎, хотя читается также Байяньху, Бояньху.

[2] Даху 大虎 «большой [великий] тигр».

[3] В китайском тексте — Инь Хуатин 殷華廷; должность его — тиду, 提督.

[4] В китайском тексте — Цзе Хун-лян 介洪亮; должность его 參將, цаньцзян.

[5] В китайском тексте 補用直隸州知州.

[6] В китайском тексте 李滋森, Ли Цзышэнь.

[7] Переводчик не придерживается определенной транскрипции.

искренно питаем надежду получить ответ. Ради сего послано, правления Гуансюя 4-го года, 5-й луны, 16-го числа.[1] Перевел Афанасьев».[2]

Этим сообщением заканчивается первый этап борьбы цинского правительства за поимку Биянху.

Новый этап характеризуется иными методами. Манчжурские власти, желая придать своим требованиям вескую аргументацию, взваливают на Биянху вину за многочисленные грабежи, совершавшиеся в Илийской долине, указывая, что Биянху лично сам и путем посылки своих соратников устраивает набеги на торговые караваны, на военные части, военные караулы и т. д. Таким образом манчжурские власти пытаются превратить Биянху и с ним бежавших дунган в «рыцарей большой дороги», в разбойников, с тем чтобы скорей добиться согласия царского правительства на выдачу Биянху и др. Однако этот маневр не удается.

В ответ на многочисленные сообщения илийского командующего войсками Цзиня[3] военный губернатор Семиреченской области Колпаковский в октябре 1878 г. указал на то, что: 1) дунгане, пришедшие из Джитышара (Кашгарии),[4] поселены в Каракунузе[5] и занимаются мирным трудом; 2) грабящие китайцев суйдунские[6] дунгане находятся на территории, не подведомственной ему, Колпаковскому, а управляемой Цзинем, и поэтому Цзинь сам должен принять меры, и что ему, Колпаковскому, нет дела до того, что происходит на китайской территории; 3) им, Колпаковским, для водворения спокойствия на границе, принимаются меры по поимке в Илийском крае всех дунган, не имеющих определенных занятий — земледелием или ремеслом, и ссылке их во внутрь вверенной ему, Колпаковскому, области.[7]

Сняв с себя всякую ответственность за «грабежи» дунган и отказав в выдаче Биянху, царские власти отнюдь не отказывались от сотрудничества с реакционными манчжуро-китайскими генералами, активно помогая последним подавлять всякие попытки нового восстания в Илийском крае

[1] 16 июня 1878 г.

[2] Перевод с манчжурского мало чем отличается от китайского оригинала, которым я располагал, поэтому я не даю свой перевод, а внес лишь поправки там, где это нужно было, поместив их в примечаниях.

Перевод сообщения Цзиня и китайский оригинал находятся в указанном выше архиве, д. № 480 о пограничных слухах, лл. 55, 56.

[3] Архив, ф. 21, д. № 480, лл. 296/300, 297/301, 298/302, 398/415, 399/417; приводятся сообщения илийского цзянцзюня Цзиня о многочисленных фактах ограбления и убийства дунганами, подчиненными Биянху, станционных солдат, торговцев и др.

[4] Имеется в виду отряд Биянху.

[5] В б. Семиреченской области, теперь в Казахской ССР.

[6] На территории Илийского края, подвластной цинскому правительству.

[7] Там же, д. № 480, лл. 363—366.

и на границах с Семиреченской областью. Об этом свидетельствует рапорт Колпаковского туркестанскому генерал-губернатору Кауфману от 18 декабря 1878 г. за № 141, в котором приводятся факты участия дунган-поселенцев в России в набегах на китайскую территорию и указывается на меры, принятые царскими военными властями:

«Грабительские (?) похождения незначительного, впрочем, числа дунган, самовольные отлучки их из предназначенного места жительства и преступления, совершаемые ими в пограничной полосе над караванами, обратили мое внимание на беспокойных и необузданных эмигрантов. Отдав давно уже приказание участковым начальникам и заведывающему войсками Кульджинского района о наблюдении за поведением дунган, захвате и возвращении этапным порядком блуждающих безо всяких занятий по границам области в места, предназначенные для водворения дунган — Каракунузе и Караколе, а преступников судить, — я при объезде области в октябре с. г. строго наказал народным властям иметь дунган, как вышеизложенных, так и вообще неблагонадежных (разрядка моя. — *Л. Д.*), под строгим надзором, пока не последует окончательного распоряжения об устройстве их участи; но так как народные власти не ручаются за спокойствие, пока не будут удалены из среды их ненадежные люди, то я потребовал списки последних с тем, чтобы ходатайствовать перед вашим высокопревосходительством об удалении их от границ Китая подальше в глубь наших владений, дабы тем отнять у них возможность отлучаться в китайские пределы для ведения тем или другим способом вековой борьбы с обитателями Дайцинской империи».[1]

Из этого отрывка видно, что речь идет по существу не о грабежах, а о продолжении классовой борьбы дунганских крестьян с манчжурскими феодалами, на стороне которых выступали и русские помещики, правда, не всегда, имея собственные интересы, в соответствии с которыми и применялись различные методы. В данном случае, в интересах спокойствия на границах и восстановления прерванных восстанием торговых связей, царское правительство активно помогало манчжурским властям душить восстание.

«В намерении помочь китайцам средствами нашей администрации водворить спокойствие на их земле я обратился к заведывающему войсками Кульджинского района с предложением дознать секретно, в каких местностях в пограничной полосе рассеяны дунганские шайки, наводящие такой ужас на китайцев; в каких урочищах находятся притоны их и главным образом какие полковник Вартман может предложить меры к водворе-

[1] Архив, ф. 21, д. № 479, л. 547, стр. 1—2.

нию спокойствия в пограничной полосе путем уничтожения дунганских шаек».[1]

Со своей стороны генерал Колпаковский предлагал в качестве мер ссылку в Сибирь и казнь для активных повстанцев, которых он именует грабителями и убийцами.

«Отвечая категорически на запрос вашего высокопревосходительства — какие меры полагаю удобным принять для воспрепятствования нашим дунганам грабить и проникать в китайские пределы — имею честь сообщить, что в этом отношении мною сделано все возможное, более же радикальными мерами для удержания на месте водворения неугомонных выходцев я считаю ссылку административным порядком всех дурных людей в Сибирь или во внутренние уезды Туркестанского края; в отношении же явных преступников, убийц и грабителей (?) — казнь, дабы быстротою и суровостью наказания водворить страх в прочих выходцах (везде разрядка моя, — *Л. Д.*).[2]

Комментарии к этому рапорту, мне кажется, излишни.

Этими документами лишний раз демонстрировалась готовность царского правительства выступить на подавление восстания; в связи с этим становится очевидным, что допущение на русскую территорию разбитых повстанцев и оказание им «помощи» нельзя рассматривать только как проявление известной гуманности, а является тактическим шагом, предпринятым в интересах русского самодержавия, в первую очередь с целью успокоения среднеазиатских границ.

Выше я показал, как генерал Колпаковский мотивировал необходимость отказа манчжурскому правительству в выдаче Биянху.

По существу эти же мотивы приводит и крупный представитель русского торгового капитала Каменский, заключивший с Цзо Цзунтаном договор на значительные поставки хлеба китайско-манчжурской армии и этим самым способствовавший подавлению восстания. С мнением купца Каменского, как нам известно из архивных материалов, царские военные власти на местах считались, поэтому небезинтересно привести соображения этого «рыцаря» толстой мошны, высказанные им Колпаковскому в секретном письме:

«Выдав Даху (т. е. Биянху. — *Л. Д.*), мы бы приняли на себя все грехи, совершенные манчжурами против среднеазиатских мусульман

[1] Из того же рапорта, там же, л. 548, стр. 1.

[2] Там же, л. 549, стр. 1.

и антипатии последних к китайцам перенесли бы всецело на себя. Этого мало — мы посеяли бы против себя ожесточение и злобу во всем революционном Китае и таким образом, поддерживая умирающее манчжурское правительство, враждовали бы с элементами, игнорировать которые, не забывая коренных наших интересов, — нельзя».[1]

Не добившись от царских властей никаких результатов, манчжурская военщина, повидимому с ведома правительства, посылает эмиссаров на русскую территорию с целью добиться головы Биянху. Так, в секретном предписании генерала Колпаковского токмакскому уездному начальнику, от 27 ноября 1878 г., за № 2672, сообщается о том, что на Биянху готовится покушение и предлагается принять соответствующие меры. Вот это предписание.

«Токмакскому уездному начальнику. В г. Верном ходят слухи, что во время пребывания здесь Мухаммеда Аюба дарына с людьми своими, состоящий при нем дунганин, Хоза по имени, посещал находящихся тут китайских чиновников и совещался с ними о чем-то; многими высказывается подозрение, что переговоры касались выдачи китайцам головы дарына.

Так как посещение помянутым дунганином китайских чиновников составляет факт, то ничего нет невероятного, что посещение это имело содержанием высказанную цель. Сообщая вашему высокоблагородию об этом известии, о котором толкуют в городе туземцы, предлагаю Вам предупредить Биянху о готовящемся против него коварстве. Вместе с тем прошу Вас сообщить мне Ваше мнение, что это за человек Хоза и не следует ли его удалить из Каракунузского поселения, хотя бы в Сергиополь или иное отдаленное место. Подписал генерал Колпаковский».[2]

Это предписание было вызвано подозрительной близостью дунганина Хозы к манчжурским чиновникам — с одной стороны, а с другой — прямым предупреждением о готовящихся интригах в отношении Биянху. Предупреждение исходило от некоего Абдыракуля, о чем имеются архивные данные.[3]

Повидимому, назойливость манчжурских чиновников изрядно надоела царским властям, которые сочли явную ложь наилучшим способом избавления от непрекращающихся в течение 3—4 лет притязаний, — официально заявив, что Биянху заключен под стражу, хотя на самом деле этого не

[1] Там же, д. № 479, л. 308, стр. 1.

[2] Архив, там же, лл. 470—471.

[3] Там же, л. 471, секретное сообщение правителя канцелярии по кульджинским делам Пантусова чиновнику особых поручений титулярному советнику фон Герку, от 23 ноября 1878 г. за № 2654.

было. Об этом мы узнаем из доклада китайского сановника императору. Этот весьма интересный документ, завершающий большой период борьбы за обладание головой Биянху — последний акт восстания, которое охватило пустыню Гоби и бассейн Тарима, — мы приводим полностью:

«Перевод с маньчжурского. Копия доклада, поднесенного его величеству богдохану китайскому, на основании сообщения министерства внешних сношений, относительно предводителя разбойников Бхиянхуна, бежавшего в пределы России, о заключении его под стражу.

Наше Министерство иностранных дел предложением мне, полученным 25 числа 6-й луны 7-го года правления императора Гуансюй,[1] сообщает: 17-го числа 4 луны (7-го года)[2] правления Гуансюй последовал Высочайший указ о том, что так как предводитель дунганских полчищ и бунтовщик Биянху[3] скрылся от преследований Лю Цзинтана, а потому предложить нашему посланнику обсудить настоящее дело с русскими представителями и просить оных возвратить скрывшегося от казни Биянху для осуждения.

Вопрос этот хотя при заключении Цзяном и Лю Цзинтаном с Россией договора и не был возбужден, но таковой подлежит обсуждению и оставлять оный без последствий невозможно. Вследствие этого князь Цзян, телеграммой от 2-й луны (февраль—март. — *Л. Д.*) спрашивал министра иностранных дел указаний о том, что — вести ли переговоры, и как, о Биянху; на запрос этот Министерство иностранных дел сообщило ему, Цзяну, согласие с тем, чтобы при случае решить дело о Бхи-яне и о решении этом сообщить Лю Цзинтану.

Имея в виду это распоряжение, в 28-й день 7-й луны, я сообщил русского государства палате внешних сношений, прося ее распоряжений о возврате Бхи-янху с назначением для этого срока, причем объяснял, что, по получении точного и решительного ответа, таковой будет представлен на рассмотрение высочайшее. Российское Министерство иностранных дел на сообщение это ответило так: „Преступник Бхи-янху не подлежит осуждению, хотя русское правительство к подданным своим преступникам питает отвращение, но оно не покидает их, так как во всех государствах, а равно в России, нет таких законов, которые трактовали бы непокровительство преступникам. Что касается Биянху, то он, чтобы оградить себя и избегнуть притязаний со стороны дайцинских войск, перешел

[1] 1881 г., 20 июля.

[2] Год не указан, повидимому — 7-й, следовательно 14 мая 1881 г.

[3] Я повсюду оставляю транскрипцию переводчика.

со своими соотечественниками нашу границу, где и прекратил свои беспутные дела.

Так как Ваше китайское правительство хорошо знает действия Биянху, то оно, по всей вероятности, согласно будет с теми взглядами русского правительства, которое порешило: дабы обезопасить границы Дайцинского царства, — заключить Бхи-янху под стражу и держать его в строгом положении. В виду такого положения дела, граница Дайцинского царства будет находиться в спокойствии и подобных дел, совершаемых Бхиян-ху, не будет более. Решением этим Дайцинское правительство, во всяком разе, останется довольно".

До отъезда своего в Россию, для обмена договора, т. е. в первых числах 7-й луны сего года, я писал Министерству иностранных дел и просил распоряжений о помещении в договоре правил по поводу выдачи преступников, но ответа по этому не последовало.

Не покидая мысли о возвращении Бхиянху, я все-таки должен помириться с распоряжением русского правительства, которое в ответном сообщении высказывает, что вопреки законов ничего не делается; распоряжение о заключении под стражу Биянху есть действительное, и спокойствие поэтому на границе водворится.

Придя к единому убеждению относительно Биянху, почитаю необходимым сообщить об этом Лю Цзинтану, который должен ждать высочайшего разрешения по этому поводу.

Затем сообщения, полученные из Русского Министерства иностранных дел должны быть переведены на китайский язык и посланы в наш трибунал внешних сношений. Переводил» [подпись].[1]

Этим докладом заканчивается переписка о Биянху, но насколько последний был ненавистен цинскому правительству можно судить по тому, что даже после смерти Биянху, его не оставляли в покое. В тайне от всех похороненный на своем дворе, он долго являлся объектом безуспешных поисков манчжурскими эмиссарами, посланными для похищения его останков и надругания над ними.

То, что меры, принятые родственниками Биянху после его смерти в 1882 г., оказались своевременными, свидетельствует следующий факт: некоторое время спустя после его погребения мнимая могила Биянху на кладбище в г. Пишпеке (ныне г. Фрунзе) оказалась разрытой, но там,

[1] Архив, там же, д. № 191 о пограничных слухах, лл. 13—15.

к неудовольствию добивавшихся праха дунганского вождя, находилось чучело.[1]

Заканчивая наш очерк о Биянху, мы считаем необходимым привести характеристику этой яркой личности, данную упомянутым купцом Каменским в его секретном письме к Колпаковскому от 5 марта 1878 г.:

«Знаете ли... что такое Биянху или, как его называют Даху [большой тигр], находящийся ныне в Семиреченской области. Все эти протесты, о которых я сказал выше [против манчжурского правительства. — *Л. Д.*], совмещаются теперь в лице никого иного, как этого Даху.

Дунганское восстание в Западном Китае, имевшее исключительно социально-экономический характер, было политическим во внутреннем Китае.[2] Восстание тайпингов имело органическую связь с восстанием дунган как во внутреннем, так и во внешнем Китае.[3]

Восточный Туркестан и Джунгария ждали начала, которое должны были сделать тайпинги, а вовсе не так, как думают некоторые, будто восстание начали здешние дунгане. Даху родом из Сианьфу; 25 лет он стал под знамя революции и воспитался под ним, представляя в продолжение 15 лет в лице своем это знамя. В последнее время (1865—1868 гг.)[4] имя его в Западном Китае наводило ужас на солдат и, по необходимости, на население. Воспитавшись революцией, Даху был видным ее служителем. После того как соединенная помощь европейских государств, в особенности России (движением отряда в Ургу),[5] оказанная манчжурскому, дала последнему силы одержать верх над тайпингами, Даху, потеряв в лице их союзников, шаг за шагом в продолжение 10 лет, громя китайцев, принужден был отступать к западу. И в то время, когда наш просвещенный путешественник, г. Сосновский, проезжал через Ланьчжоуфу и в своих академических собеседованиях уверял озабоченного дунганами Цзоцзунтана, что Росси[я] не протянет руку народной идее, в лице дунган, — Даху был в Урумчи».

[1] Об этом факте мы узнаем из записки уездного начальника Токмакского уезда, войскового старшины Нарбута о каракунузских дунганах, от 7 марта 1891 г., Центрархив Киргизской ССР, г. Фрунзе. Фонд Семиреченского областного правления, № 419, д. № 592, каракунузские дунгане. Исторический очерк, произведение Нарбута, б. нач-ка Токмакского уезда, лл. 65—91.

[2] Мы не можем согласиться с таким противопоставлением экономики и политики. «Теоретик из охотных рядов» совершенно игнорирует феодальную эксплоатацию — основную социально-экономическую причину восстания.

[3] Из китайских источников мы узнаем о непосредственной связи тайпинов и дунган в пров. Шеньси и их совместной борьбе против Цинского правительства. В нашей работе о дунганском восстании в Китае мы покажем, где и как осуществлялась эта связь.

[4] Каменский, следовательно, указывает на более раннюю дату выступления Биянху.

[5] Новое доказательство активного участия царского правительства в подавлении восстания.

«Я не буду говорить... кто подавил восстание, этого союзника русской торговли в Средней Азии и Западном Китае,[1] но знаю, что дело это не было по силам маньчжурам, которые, сами по себе, оказались слишком слабыми для такого дела.

Таким образом Даху в глазах маньчжурского правительства не простой революционер, не простой талантливый начальник мужественного отряда, нет, Даху, более, чем единственный представитель дунган. Он представитель революционной идеи народа (всюду разрядка моя.—*Л. Д.*), которого считают сотнями миллионов людей...»

«Погибнет Даху—маньчжурское правительство значительно успокоится и вскинет поднятую голову, а представитель Великобритании в Пекине еще более покроет себя лаврами...[2] А мы?.. Я уверен, что в Лондоне, а может быть и в Петербурге, будут хлопотать о выдаче китайцам Даху, за обладание которым решено дзянцзюнем Цзинем издержать 200 тысяч лан...»[3]

Это письмо говорит о многом. Оно лишний раз доказывает, что дунганское восстание было подавлено объединенными силами реакции — европейской и китайско-манчжурской, оно свидетельствует о значительных противоречиях между помещичье-буржуазной царской Россией и капиталистически развитой Англией, ярко проявлявшихся в Западном Китае.

Правда, не надо забывать, что интересы русского купечества, сразу же после усмирения восстания, были значительно ущемлены распоряжением манчжурских властей о запрещении торговать в Западном Китае русским торговцам,—об этом сообщает сам Каменский в начале письма, и, таким образом, письмо Каменского, написанное в неудачное для него и вообще для русских купцов время, имеет тенденциозный характер и значительно сгущает краски. Однако Каменский прав, характеризуя Биянху как представителя «революционной идеи народа», если только под народом понимать трудящиеся слои, в основном—дунганское крестьянство, находившееся под двойным прессом, эксплоатируемое дунганскими же помещиками, духовенством и феодальной бюрократией из помещиков и всем государственным аппаратом феодальной монархии Цинов.

1936 г.

---

[1] Еще бы! На одних поставках хлеба манчжурской армии русские купцы заработали немало.

[2] Намек на старые противоречия между русским самодержавием и Великобританией по вопросу о господстве в Средней Азии.

[3] Архив, Алма-ата, там же, д. № 479, о пограничных слухах, л. 306, стр. 1; л. 307, стр. 2.

Н. В. ПИГУЛЕВСКАЯ

Анонимная сирийская хроника о времени Сасанидов

(СИРИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ИРАНА И ВИЗАНТИИ)

Среди сирийской исторической литературы может быть отмечен ряд хроник, имеющих большой интерес для эпохи, предшествующей образованию халифата, когда на Ближнем Востоке доминирующая роль принадлежала Ирану и Византии. К их числу принадлежит небольшая анонимная летопись, охватывающая события конца VI и первой половины VII в. Это — история последних Сасанидов в борьбе с Византией, а затем с бурным поступательным движением арабов. Ценность хроники, как и хроники Иешу Стилита или сирийского Захарии Митиленского, заключается в том, что автор сохранил множество фактов, живых подробностей, которые дают новое для изучаемой эпохи. Объясняется это тем, что, живя на территории обоих государств, многие сирийцы хорошо знали греческий язык и владели персидским. Образованные сирийцы не раз участвовали в посольствах «ромеев» в Иран и были толмачами в представительстве шаханшаха в Константинополе. Широкие торговые связи сделали их арамейское наречие языком дипломатии и коммерции. Превосходная осведомленность во взаимоотношениях Ирана и Византии, в топографии и местных условиях, делает сирийские источники очень ценными. Сведения, которые они дают, нельзя найти ни в византийских хронографах, ни у арабских историков. В первых преобладает официальная дворцовая версия, вторые рассматривают отношения эпохи Сасанидов через призму халифата. Сирийские же хроники содержат немало рассказов современников, передают факты, которым авторы были свидетелями, приводят устные сообщения. Ни один источник не показывает так ярко, как они, что войны были средством примитивного обогащения для господствующих классов воюющих стран, путем захвата добычи и грабежа. О насилии, разорении, голоде, об ужасах постоя армии сообщают летописцы. Отчасти они используют устные рассказы, которые вышли из среды «простых из народа» или близких

к нему слоев. Отсюда сообщение у Иешу Стилита о мятежах в Эдессе в 503—505 гг., а в анонимной хронике о восстании Низибии при Хосрое II — о движении ремесленников: ткачей, ковроделов, красильщиков в селении Паллугта — и о жестокой расправе с ними и др. Они свидетельствуют об ожесточенной, не замиравшей классовой борьбе, происходившей как в византийской, так и в персидской Месопотамии. Превосходный материал, которым является анонимная хроника для исследователя, побудил дать ее русский перевод. Литературная оценка и анализ входящих в состав ее источников даны ниже. Комментарий к ее топографическим и географическим данным не требуется, так как ряд новых работ по исторической географии Сирии и Месопотамии дают исчерпывающий материал.[1] Что касается исторического содержания, то анализ его вошел в исследование о сирийских источниках, и наиболее существенные термины уже даны в транскрипции.

Анонимная сирийская хроника, русский перевод которой дан ниже, была впервые опубликована Гвиди.[2] Текст был им обнаружен в борджианской, теперь ватиканской рукописи Mus. Borgiano Syr. 82, содержащей сборник несторианских канонов, и является копией древнего кодекса из библиотеки раббан Хормизда близ Моссула. В «Corpus Scriptorum christianorum Orientalium» текст был переиздан с латинской версией, которой предшествовал опубликованный в 1893 г. немецкий перевод Нельдеке.[3] Хроника представляет собою небольшое компилятивное сочинение, основным источником которого была большая сирийская летопись о Сасанидах, до нас не дошедшая. Тема хроники формулирована компилятором в заглавии: это — история Ирана «от смерти Хосроя, сына Хормизда, до конца персидского царства». Падение государства Сасанидов, о котором она повествует, рассматривается как следствие победоносных походов Византии и последовавшего затем нашествия «сынов Исмаила». Написана хроника простым языком, вся она примитивна, малоискусна, непритязательна, но материал ее во многих отношениях превосходит данные Табари и частью представляет собою записи современников.

[1] Chapot, V. La frontière de l'Ephrate de Pompée à la conquête arabe, P., 1907; Dussaud. La topographie historique de la Syrie antique et médiévale, P., 1927; Honigmann. Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, Bruxelles, 1935; Poidebard, A. La trace de Rome dans le désert de Syrie, I, II, P., 1934. Пигулевская, Н. Укрепления Месопотамских городов. Вопросы истории науки и техники, кн. 3 (в печати).

[2] Guidi. Un nuovo testo syriaco sulla storia degli ultimi Sassanidi, Leiden, 1891. Actes du huitième Congrès international des Orientalistes.

[3] Noeldeke. Die von Guidi herausgegebene Chronik, übersetzt und kommentiert. Sitzungsberichte der Wiener Academie; phil.-hist. Klasse. Bd. CXXVIII, Abh. IX. Wien, 1893, pp. 1—48.

В том виде, в каком она дошла до нас, она составлена сирийским клириком, писавшим в 70-х или 80-х годах VII в. За это говорит пространное сообщение об арабах, с которыми автор знакомит читателя, как с неизвестным и лишь недавно выступившим на историческую арену народом. Подтверждает датировку и замечание, что «Константинополь не был еще захвачен арабами». Подобное предположение могло быть высказано только в период, ближайший к тому времени, когда Моавия вел борьбу под стенами византийской столицы. На датировке хроники 670—680 гг. сходятся все сириологи.[1]

Последовательное чтение хроники убеждает в том, что в ее состав вошли разные источники, части которых следуют друг за другом без непосредственной связи. Анализ заглавия приводит к тому же выводу: «Нечто из „клезиастике",[2] т. е. церковной истории, и из „космостике", т. е. рассказы светские от смерти Хормизда, сына Хосроева, до конца царства персидского». В заглавии не упоминается слово книга — кетаба, но оно подразумевается в обоих случаях. И в «клезиастике», и в «космостике» компилятор имел перед собою письменные источники. Двухчленное заглавие указывает на две группы источников или, во всяком случае, на два источника, которые он использовал. Из заглавия же следует еще один вывод, что перед компилятором лежали более обширные источники, из которых он сделал только выборку или использовал их частью для определенного отрезка времени. Источник, который он называет «космостике», т. е. всемирная летопись, он использовал в определенных хронологических рамках, которые он сам наметил «от смерти Хормизда, сына Хосроева, до конца царства персидского». Именно этот источник был для хроники основным, он не дошел до нас и, несомненно, охватывал период времени больший, чем тот, который был произвольно намечен компилятором. Начало анонимной хроники настолько внезапно и так мало отвечает обычной традиции, что не оставляет никакого сомнения в том, что выражено и в заглавии, т. е. что источник использован компилятором лишь фрагментарно. Истории светские или всемирные — космостике — известны у разных сирийских писателей. Так Иоханан бар Пенкайа составил два тома «Светской истории».[3] Бар-Эбрей изложил

[1] Noeldeke. Ibid., p. 3; Baumstark. Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 207; Райт. История сирийской литературы. Ред. акад. Коковцова. СПб., 1909, стр. 129; Chabot. La littérature syriaque, P., 1935, p. 103.

[2] Сириец транскрибирует греческое слово ἐκκλησιαστική, пропуская первую гласную.

[3] В Институте Востоковедения Академии Наук имеется рукопись истории Иоханана бар Пенкайа, которая не была использована Минганой при издании этого сочинения в «Sources syriaques, édit. par Mingana», v. I, Leipzig.

гражданскую историю в первой части «Истории мира», такова была традиция историографии. Компилятор же анонимной хроники во «всемирную историю», которая была его главным источником, вплел ряд повествований, имеющих лишь второстепенное значение, — рассказы, происшествия, биографии, которые составляли занимательную часть его сочинения.

Та часть хроники, которая излагает события, относящиеся к Ирану эпохи Сасанидов, имеет большую ценность, и можно только пожалеть о том, что сирийский источник не дошел до нас целиком. По сравнению с Табари, его сообщения не только более живы, но они и менее прикрашены и хорошо передают всю обстановку. «Космостике» вышла из-под пера сирийца, знавшего не только Махозе — столицу Сасанидов, но превосходно разбиравшегося в топографии всей Передней Азии.[1] Он проявляет также большую осведомленность в событиях, происходивших в Низибии, принадлежавшей Персии. Насколько сирийцы, жившие даже на территории Византии, были осведомлены в персидской истории, говорит ряд глав в хронике Иешу Стилита. Автор ее сообщает, что часть сведений почерпнута им из древних книг, другая часть собрана им по рассказам современников, которые были членами посольства при обоих дворах. Сирийский текст хроники Захарии Митиленского, составленный в 569 г., имеет также ценный материал о персидском государстве, политических и социальных отношениях в Междуречье. Подобные данные указывают на то, что сирийская историческая литература может быть использована как для характеристики азиатских провинций Византии, так и для истории Ирана.

Что касается второго источника анонимной хроники, то историк, откинув вздорное и суеверное, может извлечь из него ряд весьма существенных данных. Он рисует страстную ненависть и борьбу отдельных партий господствовавших классов, происходившую в Месопотамии. Как в Византии, так и в Иране высшие клирики представляли собою крупных землевладельцев. С большой ловкостью они умели гарантировать себе разные привилегии, выполняли ряд административных функций и в целых областях распоряжались без какого бы то ни было контроля. Такого рода права они присваивали себе по положению и с помощью специальных царских грамот, указов. Самое наименование грамоты заимствовано из греческого языка. Σάκρα — название специальной грамоты византийских императоров — известно в сирийских хрониках VI в. — Иешу Стилита и Захарии Митиленского. В анонимной хронике оно применено к указу «царя царей». Сирийские клирики высших чинов стре-

[1] См. стр. 52, прим. 1.

мятся достигнуть влияния при дворе, они используют свои связи для клеветы и наветов на противников, преследуют их и стремятся всюду протащить своих сторонников. Автор не может скрыть глубокого падения нравов, при котором «праведные мужи» завидовали, травили, клеветали и всячески стремились повредить и погубить друг друга.

Второй источник, не лишенный вздорности и суеверий, сообщает, однако, любопытные подробности социального и бытового характера. Так, он рассказывает о манихеях, которые подвергались преследованиям и мучениям, причем поводом для этого служили совершенно фантастические обвинения. Из этого же источника хроника почерпнула рассказ об иудейском восстании в селении Паллугта, расположенном «там, где воды Евфрата разделяются для орошения». К возглавлявшему движение, имя которого не сохранилось, собрались ткачи, ковроделы и прачки, под последними разумелись, вероятно, и красильщики. Восстание было подавлено с помощью войска, специально вызванного из Аколы. Число участников достигало около «четырехсот мужей», они были все убиты со своими женами и детьми.

Второй источник по характеру своему проще, непосредственнее первого и вышел из среды, более близкой «простонародью», что роднит его с иными страницами хроники Иешу Стилита.

Помимо двух основных источников, о которых была речь выше, автор пользовался еще одним или двумя письменными же источниками и сделал несколько заметок от себя.

Ни издатель хроники Гвиди, ни переводивший ее Нельдеке не разделили ее на параграфы, что в значительной степени могло бы облегчить чтение и ссылки на нее. Для исследования текста деление на параграфы совершенно неизбежно и сделано мною в русском переводе.

Попытаюсь на основании анализа сирийского текста реконструировать первоначальные источники составителя. В соответствии со сделанной мною разметкой на параграфы, укажу на их принадлежность тому или другому источнику. Компилятор связывал их между собою малоискусно, он переписывал одну книгу, переходил к другой и вновь возвращался к первой. Восстановить первоначальный состав его источников можно с большой вероятностью.

I. «Космостике»: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18.

II. «Клезиастике»: § 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

III. Из других источников и самостоятельным добавлением компилятора являются §§ 25, 26 и 27.

Первые восемь параграфов хроники представляют собою последовательный рассказ, списанный компилятором из первого источника. § 1 содержит рассказ о смерти Хормизда и воцарении Хосроя II Первеца; § 2 — о восстании Виндоя и Бистима; § 3 — о смерти Ишояба, об арабском царе Наамане и отношении Хосроя к сирийцам; § 4 посвящен Низибии и восстанию в ней при Хосрое; § 5 сообщает о друстбеде Григории, к которому хроника возвращается в § 8; § 6 рассказывает о вражде Наамана с Хосроем и смерти Наамана; § 7 о походе Хосроя в «ромейские земли»; § 8 продолжает рассказ о событиях в Низибии и борьбе представителей сирийских клерикальных партий, о которых была речь в предшествующих §§ 4 и 5.

Вся эта часть представляет собою последовательное изложение политической истории Ирана при Хосрое, причем особое внимание уделяется всему, что касалось положения сирийцев в государстве. Прерванное §§ 9, 10 и 11, взятыми из второго источника, оно продолжается в § 12 походом Хосроя на Византию и взятием Иерусалима, а в § 13 осадой Александрии; §§ 14 и 15 вклинились из другого источника; § 16 сообщает о походе Ираклия и смерти Хосроя; § 17 — воцарение Широе и Ардашира; § 18 — воцарение и смерть Яздегерда. На этом компилятор кончил использование первого источника, что соответствует и сказанному в заглавии, что «Космостике» обнимает период от смерти Хормизда до конца персидского царства.

В основное повествование хроники вкраплены части второго источника, которые компилятор вводил по самой поверхностной ассоциации. Так §§ 9, 10 и 11 содержат рассказы, не связанные с основной темой и только хронологически относящиеся ко времени Хосроя.

§§ 14 и 15 — очевидная вставка из второго источника. В § 12 по первому источнику сообщается об осаде Иерусалима; в § 14 компилятор возвращается к этой теме с тем, чтобы рассказать легендарные подробности о его взятии и разграблении. Рассказ об Иерусалиме разорван сообщением о взятии Александрии, содержавшимся в первом же источнике. Из второго источника списана другая легенда (§ 15), связанная с персидским походом и приуроченная к Диасполису — Лидде. Отсюда почерпнуты и мелкие рассказы, происшествия, сообщения (§ 19—24) — они не лишены бытового интереса и, что еще более существенно, они дают отдельные характеристики социальных отношений эпохи. Таковы данные о восстании в Паллугте (§ 21), о манихеях (§ 22), о Мерве (§ 24).

В последнем параграфе рассказу об Илии Мервском предшествует историческая справка о Мерве. Компилятор намеревался переписать

из второго источника легендарный рассказ об Илии Мервском, но, переписав первую фразу, он пожелал дать читателю объяснения о г. Мерве, извлеченные им из какого-то другого источника. Затем он возвращается к прерванному рассказу словами: «Относительно же этого Илии...»

Основание Мерва Александром Македонским компилятор разыскал в другом источнике, из которого он переписал страницей дальше и данные о царствовании Селевка (§ 25, начало) и об основании разных городов.

Относительно этих фрагментов можно высказать два предположения. Возможно, что первый источник охватывал всемирную историю с древнейших времен, в таком случае части §§ 24 и 25 могли быть переписаны из него же. Не исключается, однако, и другая возможность, что в этом случае был использован некий третий источник.

Содержание §§ 25, 26 и 27 требует дополнительного анализа, так как в них составитель выходит за рамки, поставленные им в заглавии. Словами «в то время, о котором мы говорили выше, покорили арабы все области персидские и ромейские...» читателя возвращают к дальнейшей истории арабского завоевания. Рассказ о покорении Хузистана и о персидской обороне, во главе которой стоял Хормиздан «мидиец», подробен, и автор получил его из первых рук. Он не принадлежал к составу первого источника «Космостике». Судя по заглавию, она имела другие хронологические рамки, к тому же в § 18 уже рассказано о роли Яздегерда и его смерти, и в § 25 к его имени возвращаются благодаря привлечению нового источника. В противоположность живому и подробному рассказу о продвижении арабов на восток, завоевания на западе — Ароба и Египта — только упомянуты. Уже Нельдеке был склонен считать компилятора жителем Хузистана,[1] с чем нельзя не согласиться. После сообщения о смерти Ираклия составитель высказывает свою точку зрения на положение дел — над Константинополем арабам еще не дано господство, следовательно победа будет за Византией (§ 25), говорит он. На то, что компилятор располагал еще дополнительными источниками, он указывает сам, говоря, что он «ничего не нашел» относительно «ка'бы». «Не нашел», пишет он, следовательно он искал, а искать можно только в письменных источниках. Из них он и извлек предание о святилище «ка'бе» (κύβος) и сведения об арабских городах. Заканчивает он на имени Мундара, который был «шестым в ряду исмаильских царей». Последнее предложение: «Окончены немногие рассказы из Клезиастики» — чисто словесно увязывает начало с концом.

[1] Noeldeke. Op. cit., p. 4.

Общие выводы, к которым привел проделанный анализ, следующие: у компилятора был основной источник «Космостике», который он сплел с вторым источником «Клезиастике», переписывая их попеременно, как это указано в составленной выше таблице. Судя по заглавию, в первоначальном замысле летописец предполагал дать только последний период существования персидского государства. В конце своей работы, однако, он пожелал сообщить различные сведения об арабах и об их дальнейшем движении на восток и на запад. Составитель, по его собственным словам, производил для этого разыскания, очевидно, по письменным же источникам. Возможно, что данные о Хузистане были ему известны в устной передаче.

Следует также отметить ценные указания хроники для запутанной хронологии иранских междоусобий. Хормизду отводится двенадцать лет, Хосрою тридцать восемь, Шерое восемь месяцев, Ардаширу год и шесть месяцев, Феруханy сорок дней. В этих датах она совпадает с хронологическим порядком, принятым у Табари.[1] Сирийский источник имеет преимущество перед прикрашенными повествованиями арабского историка и в истории Биндоя и Биштама, и в сообщении о Наамане, о смерти Хормизда и затем Хосроя, в версии об осаде персами Александрии. Для периода, когда еще не существовало арабской письменности, сирийские материалы об арабах особенно ценны. И анонимная хроника дала живую характеристику племенам «сынов исмаильских», подчиненных Персии. Она отмечает их умение использовать для набегов и грабежей междоусобия или войны с Византией. Поступательное движение арабов в VII в. представлено мощным и грозным, и перед ним не в силах были устоять ни ромеи, ни персы.

Как исторический труд анонимная хроника уступает хронике Иешу Стилита.[2] Замысел, удачно разрешенный историком персо-византийских войн начала VI в., ставит его в уровень с греческими хронографами. Компилятор сасанидской хроники не ставил себе таких задач, но в ее составе он сохранил часть сирийского источника, касавшегося истории Ирана. Проделанный выше анализ дает возможность выявить состав «Космостике», который лег в основу анонимной хроники. Выделенный из нее и восстановленный в своем первоначальном виде источник дает возможность оце-

[1] Пигулевская, Н. В. Жизнь Сахдоны. Записки Коллегии востоковедов, т. III, стр. 94—98, 1928.

[2] Пигулевская, Н. В. Хроника Иешу Стилита как исторический источник. Исследование, русский перевод сирийского текста хроники и примечания. [В печати. Изд. Акад. Наук СССР.]

нить своеобразие его традиции в отношении истории последних Сасанидов. Части утерянной сирийской «всемирной истории», сохраненные анонимной хроникой, делают ее одним из ценнейших источников для изучения Ирана на рубеже VI и VII вв.

Печатаемый ниже русский перевод «Анонимной сирийской хроники о Сасанидах» сделан мною с сирийского текста, изданного в «Corpus scriptorum christianorum orientalium». Scriptores syri. Series tertia, t. IV, pp. 15—39.

Нечто из «Клезиастике», т. е. церковной истории, и из «Космостике», т. е. рассказы светские, от смерти Хормизда, сына Хосроева, и до конца царства персидского

§ 1. Хормизд процарствовал двенадцать лет. Он отяготил податью [ܢܝܪܐ — assyr. niru; מבור — jugum oratorium] своих знатных [raurabane ܪ̈ܘܪܒܢܐ] и весь мир. Один из его военачальников, который был им послан на границы тюрок, восстал на него. Имя его Варахран Разикайский. Он собрал большие войска и приготовился к борьбе с царем. Когда услыхали знатные столицы,[1] которые тоже ненавидели Хормизда, о восстании Варахрана, они тайно сговорились [поклялись] и свергли Хормизда с престола, ослепили ему глаза и посадили на место Хосроя его сына. Когда этот слух достиг Варахрана, он весьма разгневался и не потому, чтобы он любил Хормизда, а потому, что не он выполнил это дело. Он подготовил свои войска и приготовился к битве с Хосроем, выступил и пошел на Хосроя. Так как Хосрой увидал, что силы Варахрана превосходят его, он бежал от него и спешно направился по южной дороге, т. е. на Пероз-Шабор, Анат, Хит, Цирцезиум[2] и шел укрыться у Маврикия, кесаря ромейского. Так как его отъезд был бегством, то воздержался мар Ишояб католикос от того, чтобы отправиться вместе с ним. Также и Маврикий очень укорял Хосроя в том, что его не сопровождает патриарх его государства, особенно потому, что мар[3] Ишояб Арзенайский был мужем мудрым и одаренным. Хосрой возымел ненависть к католикосу за то, что тот не отправился с ним, и, во-вторых, за то, что когда он услыхал, что Маврикий дал ему войско и он вышел, чтобы отправиться, тот не встретил его на дороге. Католикос же в этом случае опасался злобы Варахрана, чтобы тот не погубил

[1] Буквально «у ворот государства», aula regia, in regia sede.
[2] Киркезиум — см.: Procopii. De aedificiis, II, 6.
[3] Мар, по-сирийски — господин.

церковь и не начал бы гонения на христиан, и поэтому воздержался принимать царя. Маврикий дал Хосрою много войск и они выступили на восток. Когда услыхал [об этом] Варахран, он выступил из Махозе со своими войсками и бежал в Адорбайган.[1] И встретил его Хосрой с войсками персидскими и ромейскими. Победу одержали ромеи, полки Варахрана были побеждены, и Хосрой возвратился с великой радостью. Ибо говорили, что явилось Хосрою подобие старого мужа в то время, как он, взявшись за узду своей лошади, отправлялся в бой. Когда он вернулся с войны, он рассказал об этом Ширин, своей жене. Она сказала ему: «это Сабришо, епископ Лашома». Хосрой это принял к сведению, но молчал.

§ 2. В это время вышли из тюрьмы Биндой и Бистам, братья, которые были заключены Хормиздом. Они много помогали Хосрою, так как были из рода его матери. Затем он послал Бистама с большим войском к тюркской границе, Биндой же остался при его дворе. Вследствие того, что Биндой упрекал Хосроя относительно государственных дел, [последний] задумал его убить. Биндой бежал и отправился к своему брату Бистаму, но когда он проезжал землю Адорбайган, услыхал об этом тамошний марзбан, устроил ему пир, поймал его и послал к Хосрою. Когда об этом услыхал его брат, то собрал войска тюркские и дайломитские и дошел до Махозе. Но перехитрил его один муж тюрк, убил его и послал его голову Хосрою. Биндою же царь приказал отсечь все члены правой стороны и послать в Белапат [Бетлапат], и там его распяли. Голову Бистама повесили на шею Шабора, сына Варахрана, который восстал на Хосроя, посадили его на верблюда и возили по столице.

§ 3. В виду того, что Хосрой имел большую ненависть к Ишоябу, главе христиан, за то, что тот не отправился с ним к ромеям, а также из-за клеветы Тимофея, архиатроса низибийского, [Ишояб] весьма остерегался царя. Через немного времени католикос отправился в Хирту арабскую, чтобы повидать Наамана, царя арабского, который крестился и стал христианином. Когда он был близ Хирты, он захворал и умер в селении, называемом Бет Кушай. Об этом услыхала Хинд, сестра Наамана, она вышла со священниками и верующими Хирты и с великим торжеством привезла тело святого, и положила его Хинд в новом монастыре, который она построила. Некоторое время церковь была без руководителя, а затем собрался собор по приказу царя, чтобы избрать главу. И послал им [сказать] царь: «Привезите Сабришо из Лашома и поставьте его себе главой». И быстро привезли его и поставили его себе главой. И он был

[1] Азербайджан.

весьма почитаем во все его дни царем и его двумя женами христианками — арамеянкой Ширин и Мариам ромеянкой.

§ 4. В Низибии же был митрополит Григорий Кашкарский. Язык не может рассказать огорчений и множества споров, которые сатана возбуждал между этими двумя [Григорием и Сабришо]. Перед Григорием был в Низибии короткое время Гавриил, сын Руфина, но так как он был весьма погружен в наблюдение движения звезд и знаков зодиака, то его прогнали и насильно привели Григория, епископа кашкарского. Низибия, т. е. Антиохия Мигдонийская, названа так из-за садов и парков, которые в ней находятся. Так как она была [на границе] персидской и ромейской, в нее собирались отовсюду люди заблуждающиеся, вздорные и спорящие, в особенности же из-за ее знаменитой школы. Экзегетом там был Хенана Адиабенский. Когда он поставил в вину вселенскому экзегету [Федору Мопсуестскому] его учения, то этого ревнитель Григорий не потерпел. Также клириков, которые были испорченного образа жизни, и верующих он хотел исправить, но они не последовали за ним. Одного дьякона, который звался Сыном Лисы, нашли приносящим белого петуха в жертву, в лесу, за городом. Он призвал его и наказал. Также и мужей монахов, с омерзительными делами, которые жили вокруг горы Шигар и были мессалианами, он рассеял и разогнал во все стороны. С того времени умножились против него обвинения как низибийцев, так и живших вне города. И послал царь, чтобы привели его, и приказал ему жить в монастыре Сахдост. Когда он выходил из ворот [Низибии], он отряхнул прах от ног своих и затем отправился. Мар Сабришо хотел, чтобы Григория лишили сана, но не послушались его епископы. Тогда царь приказал ему итти на родину. Он отправился и построил себе монастырь в области Кашкар, в местности, называемой База де Нахравата, и в ней насадил монастырь и многих привел к страху божию. Говорили, что после отозвания Григория у мар Сабришо не осталось больше чудотворной силы, как это было раньше.

Затем Низибия восстала на Хосроя. Когда царь услыхал об этом, он послал против них Нахвергана, префекта [ܐܦܪܟܐ] государства, с большим войском и слонами, а также мар Сабришо с ним. Жители города закрыли перед ним ворота, но потом по уговорам католикоса и потому, что поклялся им Нахверган, что он не причинит им зла, они открыли ему ворота. Но когда он вошел, он нарушил свою клятву и именитых среди них схватил, мучил их, разграбил их дома и все их добро уничтожил, и, наконец, всякого рода смертями умертвил их. И исполнились на них проклятия Григория, и мар Сабришо в этом убедился.

§ 5. В это время жил Гавриил друстбед [врач] шигарский, архиатрос, любимый царем за то, что он пустил из руки Ширин кровь и у нее родился сын, которому она дала имя Марданшах, тогда как до этого у нее не было сыновей. Хотя незадолго перед тем Гавриил был еретиком, он пожелал быть причисленным к стороне православных [несториан]. Но так как он отпустил жену законную, которая была им взята и была исповедующей из знатного рода, и взял двух женщин язычниц и с ними язычески общался, то убеждал его католикос отпустить язычниц и взять законную [жену], но он не послушался. Тогда он отвернулся и стал на сторону еретиков и многим он досаждал нашим сторонникам.

§ 6. Говорят, что когда Хосрой перед тем бежал к ромеям от Варахрана, он убеждал Наамана, царя арабского, чтобы тот ехал с ним. Но Нааман не согласился, также и коня весьма прекрасного, которого он просил у него, не дал ему. Наконец дочь Наамана, которая была замечательно красива, просил у него Хосрой, но Нааман тоже не согласился и послал ему [сказать], что «мужу, который по-скотски совокупляется, я не дам своей дочери». Все это Хосрой собрал и затаил в своем сердце. Когда же у Хосроя был перерыв между войнами, он пожелал разделаться со своими врагами, а также и с Нааманом. Однажды он позвал Наамана к обеду и вместо хлеба перед ним [оказались] куски из травы, и Нааман весьма разгневался. Он послал к маадеям, своим сородичам, и они полонили и опустошили много земель Хосроя, доходя до Араба.[1] Когда об этом услыхал Хосрой, он обеспокоился и всячески стремился, чтобы Нааман пришел к нему, но тот не послушался его. Один из толмачей Наамана с острова Дерин, по имени Маана, тайно вошел в соглашение с Хосроем и сказал Нааману, что «царь очень любит тебя» и поклялся ему на Евангелии, что «не причинит тебе зла царь». И Мавиах, жена Наамана, говорила ему: «Тебе подобает умереть с царским титулом, а не быть изгнанным и лишенным царского имени». Когда он достиг столицы, [Хосрой] его не убил, но приказал ему быть в столице, а впоследствии, как говорят, смертельным ядом он убил этого славного исповедника.

§ 7. После того восстал на Маврикия, ромейского царя, один муж, по имени Фока, убил его, его сыновей, жену, и только один из его сыновей, по имени Феодосий, бежал и пришел к Хосрою. Он был с большим почетом принят царем, который приказал католикосу повести его в церковь, положить корону царскую на жертвенник и затем возложить на его голову, по

1 Араб — географическое название области, тяготевшей к Низибии.

ромейскому обычаю. Хосрой дал ему войско, и он пошел на ромеев, но и Фока послал большие войска, которые расположились в Бет Ваши, возле города Дары. Они вступили в бой с Феодосием и победили его войска. Он послал к Хосрою [сказать], что «нет у меня войска, чтобы устоять перед ромеями», и зимою выступил Хосрой из Махозе с большим войском и отправился в ромейскую землю и католикос с ним. Войска Фоки вышли против них, и напали полки друг на друга и многие были убиты с обеих сторон. Даже Хосрою набросили аркан, но один из его силачей, имя которого было Мушкан, его разрубил. Через день произошла битва, и ромеи были побиты персами. Осадил царь также и Дару и построил вал. Провели подкопы под стену и разожгли огонь, различными способами делали пробоины в стене, и кровь лили там, как воду. Епископ города Дары вскрыл себе железом сосуд, называемый главным в теле, бросился на свое ложе, истек кровью и умер, потому что он боялся царя, который поклялся, что «сорока смертями умертвлю я его». И с того времени Хосрой взял верх над ромейской землей. Взята была Дара в четырнадцатый год Хосроя. Когда царь осаждал Дару, отправился один начальник [ܪܕ Radh] к церквам Сиарзура и разрушил их. Когда верующие с епископом Нафанаилом это увидали, они этого не перенесли, возмутились против начальника и прогнали его. Он отправился в Низибию к Хосрою и встревожил его, говоря: «ты воюешь против христиан, а я преследуем христианами». Без расследования послал царь, и привели ему Нафанаила, епископа Сиарзура. Он отдал приказ относительно него, и он был в заключении шесть лет, а после того распяли его. Хотя по виду и показывал Хосрой любовь к христианам из-за Маврикия, но он ненавидел наш народ.

§ 8. Мар Сабришо заболел в Низибии тяжелой болезнью. Царь послал просить его, чтобы он освободил Гавриила от проклятия, но он не согласился. [Сабришо] сделал завещание, и запечатали его; он приказал перенести [свое тело] в свой монастырь. Низибийцы же желали, чтобы положили тело святого в их церкви. Но царь их не послушал, когда узнал о распоряжении католикоса. И положили ученики его тело на верблюда и привезли в его монастырь. Католикосом был поставлен Григорий Форатский, влиянием Ширин, как ее соотечественник, между тем как все сыны церкви вместе с царем желали Григория Кашкарского, который был изгнан из Низибии. Тот во [время] главенства своего делал некрасивые дела, но жил недолгое время и умер. Из-за взяточничества и ненависти к церкви Гавриила некоторое время оставалась церковь без руководителя. Также и слово было ей урезано из-за жалоб на Григория. Поставили же

в церкви, чтобы управлять ею, мар Абу, архидиакона из Ктесифона, мужа скромного и мудрого. И долгое время церковь была без главы. Гавриил же Шигарский был весьма сердит на православных [несториан] и выгнал наших из монастыря мар Петиона, из монастыря Ширин и прочих, и поселил в них сторонников еретиков [монофизитов].

§ 9. В то время в церкви известен был Ионадаб из Хедайяба[1] и это по дерзновению, которое он имел перед богом и по любви к нему царя, он получил грамоту [σάκρα] от царя, властвовать всей возвышенностью, на которой живут [монахи] из Бет Матфея и обманщики из Моссула. И когда царем было выполнено его желание их выгнать и разогнать их по всем ветрам, попечениями Григория это не было осуществлено. Прославился в писании книг Бархадбешабба из Холвана; удивительным образом жизни были славны Шубхалмаран из Карка де бет Селох, Афрахна с [реки] Заба, Гавриил из Нехаргула, муж великий и творивший чудеса.

§ 10. Тогда Гавриил восстановил против нас царя [Хосроя] и было у нас состязание [спор] с его сторонниками. Так как в церкви не было католикоса, то пришли по собственному желанию на состязание Ионадаб, митрополит Хедайяба, Шубхалмаран из Карка де бет Селох и Гиваргис с горы Излы, епископ Нехаргула, Саргис Кашкарский из Тельпахаре и устроили спор при дворе царя. Побеждены были Гавриил и его сторонники и победили наши православные [несториане]. Царь Гавриила порицал и требовал, чтобы он снял это проклятие, но он не согласился. И произносил Гавриил на православных горькие хулы. Самого Гиваргиса из Излы он обвинял перед царем, что он оставил религию магизма, стал христианином и хулит Хормизда [бога] и Кевана [Сатурна]. Царь послал приказ, и тот был в заключении один год, а затем его распяли в Бехардашире[2] посреди рынка сенного. Но верующие захватили его тело и положили его в церкви мар Сергиоса в Мабрахте.

§ 11. В то время был известен при дворе царя Яздин из Карка де бет Гармай, он был заступником для церкви, как Константин и Феодосий, и строил церкви и монастыри во всем мире, по образу небесного Иерусалима. И подобно Иосифу в глазах фараона, и даже более того, был он любим Хосроем. Поэтому он был известен в обоих государствах персов и ромеев. Говорили, что ежедневно, из утра в утро, тысячу статиров посылал царю Яздин. Прославлены были в то время добродетельной жизнью мар Бабай из Излы; после раббана мар Авраама Кашкарского он руководил

[1] Адиабена.
[2] Селевкии.

этим монастырем. Много братьев тружеников вышло из этого монастыря. Я разумею мар Иакова, который насадил монастырь Бет Абе, мар Илью, который построил монастырь на берегу Тигра [Деклат] около Хесна Ебрайа и мар Бабай бар Насибанайа [низибиец]. Этот блаженный оставил все, что у него было, и отправился отшельником в монастырь мар Авраама. Впоследствии он ушел из него и пошел построил монастырь, и поблизости того монастыря поселилось с ним много братии. И хотя он был в миру хорошего происхождения, он выбирал себе работу тяжелую, приносившую тяготу. Его образ жизни превосходит всякие слова. Когда Яздин о нем услыхал, он пошел его посмотреть и увидал его во всем аскетизме его умерщвленного тела. И как стоял Яздин на своих ногах, так и отпустил его святой, а через некоторое время послал ему Яздин золотой крест, усыпанный множеством гиацинтов [рубинов] и смарагдов большой ценности, посреди положена была частица древа господня, на котором распяли нашего господа, а также послал другие вещи, для украшения монастыря. Но сатана, любящий споры, возбудил много досаждений и большие споры между этими двумя крепкими башнями благочестия, и он не успокоился и не перестал [досаждать им] до конца их жизненной борьбы. Те, которые были от мар Бабая Великого, не пускали никого войти в их монастырь, пока не анафемствует почтенного мар Бабая Низибийского, назвав его именем Бабая Малого. Об этом мы упоминаем вкратце, так как ярче солнца блестели и сияли их дела и относительно чистого исповедания, которое они имели, свидетельствует много принадлежавших им сочинений. Мар Бабай Великий сочинил много творений, диспутов, толкований. Также и мар Бабай Низибиец составил книги о монашеской жизни, которые весьма удивляли слушателей, вместе с мимрами [стихами] на покаяние, которое он составил в стихах.

§ 12. После того [см. § 7] собрал Хосрой войска и вторгся в ромейскую землю, поставил двух военачальников и послал их на запад. Они подчинили Марде, Амид, Майферкат, Эдессу, устроили мосты через Евфрат и перешли его против Маббуга. Один из военачальников, имя которого Шахрбараз, направился быстро на Иерусалим и требовал, чтобы ему открыли ворота, но не подчинились [ему]. Он осадил его и построил валы [осадные], проломил стену и вторгся в него. Он схватил епископа и глав города, и мучил их из-за древа распятия и сосудов из сокровищницы. Так как божественная сила принизила ромеев перед персами за то, что они пролили невинную кровь Маврикия и его сыновей, не оставил бог места скрытого, которого бы им не показали. Показали им древо распятия, которое поло-

жили, чтобы спрятать в сад огородный. Они сделали много ящиков и послали [древо] с многими сосудами и дорогими вещами Хосрою. Когда они достигли Яздина, он устроил большой праздник и с разрешения царя взял себе часть [древа], а остальное послал царю. Царь положил его с честью со святыми сосудами в новую сокровищницу, которую он построил в Ктесифоне.

§ 13. После того персидские войска осадили Александрию, укрепленную стенами, окруженную вокруг водами Нила, с сильными воротами, которую построил Александр по советам своего учителя, Аристотеля. Они в течение некоторого времени осаждали ее и не могли ее взять. Но пришел к ним человек по имени Петр, который в юности ушел из Бет Катарайа в Александрию, чтобы учиться философии. Он сказал военачальнику персов: «Я предам тебе город». Этот Петр однажды нашел в библиотеке города в конце книги, написанным следующее: «Когда на Александрию встанет беда из ворот западных, со стороны моря, она будет взята». Персы приготовились, взяли малые лодки рыбаков и сели в них, и поутру, в темноте, смешались с галерами рыбаков и с рыбаками вошли в город... [текст испорчен]. Они убили охранявшего ворота, открыли их своим товарищам и возвестили победу Хосроя со стены, и страх объял всех людей. Также ветер подхватил и пригнал к лагерю персов множество кораблей, в которые были сложены сокровища церкви и богатых людей, чтобы увезти их морем. Сокровища были посланы Хосрою вместе с ключами города. Когда же послы, везя ключи, достигли Яздина, в ту же ночь он сделал золотые ключи, вместо тех, и послал их царю, чтобы еще более возбудить к себе любовь царя.

§ 14. Когда Иерусалим был взят, наши недруги, подожгли в нем все храмы. В этом пожаре погиб и храм воскресения, построенный Константином и Еленой, украшенный бесценным мрамором и мозаикой. И к военачальнику персов приблизились недруги и сказали ему, что все золото, серебро и сокровища Иерусалима положены под гробом Иисуса. И это они сделали для того, чтобы осквернить место гроба. Когда им дали возможность, они выкопали вокруг него около трех локтей и нашли некий гроб, на котором было написано: «Этот гроб принадлежит Иосифу советнику [ܒܘܠܘܛܐ — βουλευτῆς], который дал гробницу телу Иисуса». Когда услыхал военачальник о хитростях иудеев, он жестоко прогнал их. Когда же об этом услыхал Яздин, то он сообщил царю, и [последний] приказал относительно иудеев — забрать их имущество и их самих распять. Тело же Иосифа, как он приказал перед своей смертью,

было положено рядом с гробницей нашего господа. Затем просил Яздин у царя [разрешение] построить храмы в Иерусалиме. Он послал немало денег и обновил их во всей красоте. Он построил также церкви и монастыри во всех областях.

§ 15. Услыхал военачальник персидский, что в церкви мар Гиваргиса в Лидде [Diospolis — Lydda] есть много богатств. Он послал множество своих воинов, но они не смогли войти, потому что были удержаны силой божией. Наконец, он сам отправился с великим гневом. Когда он достиг ворот храма, он побуждал свою лошадь войти насильно. Но приклеились ноги лошади к земле, и она не шла ни назад, ни вперед. Показал бог, что если он и попустил его войти в Иерусалим, то сила его не ослабела, но он совершил это, чтобы наказать ромеев, которые говорили: «Не может Хосрой захватить Иерусалима». [Военачальник] дал обет: «Если я освобожусь, я сделаю сосуд из серебра наподобие храма мар Гиваргиса». Он исполнил это на деле. И висит этот удивительный сосуд в том храме еще теперь...

§ 16. После того, когда Хосрой сидел в Даскарта-царском,[1] кесарь Ираклий собрал большие войска и выступил против него. Испугался его Хосрой и оставался в великом страхе. Ираклий отправился в области северные. Он погубил, опустошил, полонил все северные области, а когда он приблизился к Даскарту, бежал от него Хосрой и отправился в Махозе. Рассказывают, что когда он бежал из Даскарта, он услыхал звон била, он испугался, ударился спиной и схватил дезинтерию. Ширин сказала ему: «Не бойся, боже». Он сказал ей: «Если я бог, то я преследуем одним жрецом». Он это сказал потому, что слыхал, что Ираклий принял священство. И Хосрой поклялся: «Если будет мне победа, то я не оставлю ни церкви, ни била во всем моем царстве». Ужас и страх охватили его от звука била, потому что он подумал, что у ромеев есть с собою било и они достигли Даскарта. [Ираклий] взял всю казну государства, полонил и опустошил много областей, и возвратился обратно.

Тогда восстали против Хосроя многие войска. Восстал Шамта, сын Яздина, и Нихормизд и посадили царем Широе, сына Хосроя, и собрали к нему множество войск. Когда услыхал об этом Хосрой, схватили его судороги и нашли на него смертные муки, и он ночью оставил свое царство и бежал сам с двумя малыми мальчиками, из его дома, которые были преданы ему. Они бежали и спрятались в царском саду. Когда [Хосрой]

[1] Noeldeke. Tabari. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leyden, 1879, стр. 295. Даскарта — Старый Багдад.

увидал, что нагнали его войска, то заплакал он и его мальчики друг против друга. Он положил свою руку на забор, чтобы перейти на другую сторону и бежать, но от страха не мог перейти. Его схватили, привели и заперли в доме человека по имени Михраспенд, а хлеба давали только, чтобы поддержать жизнь. Затем потребовали Шамта и Нихормизд от Широе царя, сына Хосроева, [разрешения] убить Хосроя. Когда он согласился, они вошли к нему туда, где он был заключен. Шамта поднял меч, чтобы его поразить. И заплакал Хосрой перед ним и сказал ему: «Чем я согрешил перед тобой, что ты убиваешь меня». И Шамта не ударил. Нихормизд ударил его секирой по плечу и повторно по другому. Пожалел об нем Широе, его сын, и похоронил в гробнице царской. Шамта сделал это потому, что когда умер его отец Яздин, ограбил Хосрой его дом, а жене Яздина причинил много мучений, а Нихормизд потому, что он убил его отца. Царствовал Хосрой, сын Хормизда, тридцать восемь лет.

§ 17. При Шерое, его сыне, для всех христиан был мир и спокойствие. Знатные же составили особый совет с Шамтой и убили всех сыновей Хосроя и Марданшаха, сына Ширин, с ними. После того был обвинен Шамта перед [Шерое], что он желает захватить власть; тот послал за ним, его привели и заключили, но Шамта бежал. За ним отправились и нашли его в Хирте арабской. И отрубил ему царь правую руку и заключил его в темницу. Во главе церкви был поставлен Ишояб из Гедалы, который хотя в юности и взял жену, но это не служило ему препятствием. Он был поставлен епископом города Балада и, наконец, возвысился до звания католикоса и был украшен всяческими достоинствами. Когда приблизилось летнее время, Шерое, по обычаю царскому, отправился в Мидию, но его постигла болезнь живота [дезинтерия], и он умер в дороге. Он царствовал восемь месяцев.

После этого вместо него воцарился его сын Ардашир, сын Анзои ромеянки, хотя он и был маленьким мальчиком. Один из персидских военачальников, который прилепился к Ираклию кесарю, по имени Ферухан, когда услыхал, что воцарился мальчик Ардашир, приготовил войска ромейские и персидские, пришел к Махозе, победил персидское войско, вошел и убил Ардашира. Шамту, сына Яздина, он вывел из тюрьмы и распял его перед воротами храма Бет Наркос за то, что однажды он изнасиловал дочь этого военачальника. Он отпустил ромеев, которые были с ним, и они отправились к Ираклию, и он послал с ними Ираклию крест господнего распятия, который был привезен из Иерусалима и был положен в сокровищницу персов, и бесчисленное множество подарков. Ардашир царствовал год

и шесть месяцев. Ферухан, этот военачальник, который убил Ардашира, царствовал сорок дней. Однажды, когда он вышел из Махозе, один из его силачей поразил его копьем в спину, он умер и был попран всем народом. Персы посадили на царство Боран, жену Шерое. Когда она воцарилась, она премудро послала к Ираклию мар Ишояба католикоса, чтобы он заключил с ним мир для нее. Ему сопутствовали Кириак Низибийский, Гавриил из Карка де бет Гармай и Марута из Густра. Они были радостно приняты Ираклием, и он сделал им все, что они пожелали. Боран, жена Шерое, воцарившаяся над персами, умерла затем от смертельного удушья.

§ 18. В городе Истахаре поставили царем Яздегерда, который был из царского семени, с ним прекратилось царство персидское. Он выступил и отправился в Махозе и назначил военачальником некоего Рустама по имени. Тогда наслал на них бог сынов Исмаила бесчисленных, как песок морского берега, их вождем был Мухаммед, перед ними не устояли ни стены, ни ворота, ни оружие, ни щиты, и они захватили господство над всей землей персидской. Яздегерд посылал против них войска без числа, но арабы уничтожили всех их и убили также Рустама. Яздегерд заперся за стенами Махозе, но, наконец, обратился в бегство и отправился в области Хусай и Мерва и там кончил свою жизнь. И стали господствовать арабы в Махозе и во всех землях. Они отправились также в области ромейские, грабили и опустошали все области Сирии. Против них послал войска Ираклий, царь ромейский, но убили арабы из них более 100 000 человек. Католикос Ишояб, когда увидал, что Махозе опустошен арабами, его ворота вывезены в Аколу [Куфа], а оставшиеся в нем пропадали от голода, он отправился поселиться в Бет Гармай, в городе Карка.

§ 19. Кириак Низибийский скончался. Низибийцы из-за ненависти к нему обвинили его учеников перед эмиром [ܐܡܝܪܐ] города. Он послал их заключить. Также разграбили и келью Кириака, а с ней и сокровищницу митрополичьих покоев Низибии. В келии Кириака нашли сосуды, много хитонов, шелковые покрывала и лампады из золота, каковые не подобают ученикам Христа. Тогда послал мар Ишояб католикос и привели Барсауму, экзегета Хирты, и он поставил его митрополитом в обители мар Саргиса, что вне города [Низибии, прося], чтобы они согласились с ним и приняли его, но они не согласились. Патриаршеством руководил мар Ишояб восемнадцать лет. Тело его положили в мартириуме церкви Карка дебет Гармай. В церкви патриархом поставили Мареммеха. Он был из области Арзун, из селения Козимар, и был поставлен митрополитом Бет Лапата. Он принял схиму иноческую в монастыре мар Авраама из Излы и был весьма славен как

монах и как митрополит. А с того времени, как он был поставлен как светильник католикосом, он был почитаем всеми правителями исмаильскими.

§ 20. Рассказывают следующее: есть одно селение, в нем есть только иудеи, оно находится между Махозе и Хиртой и называется Матамасия. Когда однажды там проходил один школяр [ܐܣܟܘܠܝܐ], схватил его один из [иудеев], завел его в свой дом и немалое время держал его, [заставляя] вращать жернов. Но по приказу царя был послан один христианин в то селение по какому-то делу и по провидению божию в этом доме остановился. Когда школяр увидал его, он зарыдал. И схватил христианин господина того дома, и тот открыл ему всю правду и сказал ему: «Если ты мне отпустишь это преступление, я открою тебе нечто относительно замечательного клада». Он показал ему место в доме, где были положены тела юношей Ханании и его товарищей. Случай со школяром бог попустил, чтобы было открыто место, где были положены тела блаженных. Говорят, что однажды, когда Мареммех ехал из Махозе в Хирту, он должен был переночевать именно в этом селении. Из страха его приняли с великими почестями. Мареммех отстроил храм монастыря мар Саргиса благословенного, который сгорел, и украсил его всяческой красотой, ибо этот руководитель был весьма известен роскошью построек. В Бет Лапат он помазал и послал пастырем Саргиса епископа Нехаргулы, мужа почтенного и праведного. И в Низибию поднялся [Мареммех], чтобы примирить его жителей с митрополитом, но они не послушались. Он послал, чтобы пришел Исаак, епископ Арзуна, муж смиренный и почтенный. Во все дни, что он жил, он не ел хлеба из низибийской церкви и не распоряжался ее имуществом, но из своей [родной] земли доставлялось ему все необходимое для него и для его учеников.

§ 21. В то время вышел один муж иудей из Бет Арамайе, из селения по имени Паллугта, там, где разделяются воды Евфрата для орошения земель. Он говорил, что пришел мессия и собрались к нему ткачи, ковроделы, прачки[1] около четырехсот мужей. Они сожгли три церкви и убили властителя [ܫܠܝܛܐ] области. Но затем на них вышло войско из Акола и убило их, с женами и детьми, а их главу распяли в его же селении.

§ 22. Также в области Бехкавад, в селении по имени Шатру, были пойманы манихеи, ибо говорили, что в начале года они заключали в дом человека, под землей. Они кормили его весь год всем, что он сам желал, а затем убивали его в жертву демонам. И весь год гадали и волховали с его

[1] Имеются в виду ремесленники, занятые окраской тканей, белением и т. п.

головой. И каждый год они закалывали так одного. Также приводили они девушку, которая не знала мужчины, и спали с ней все. И то [дитя], что рождалось от нее, тотчас варили, пока мясо и кости не становились как масло, толкли его в ступе и смешивали с мукой и делали из этого малые лепешки и каждому, кто к ним прилеплялся, давали съесть одну лепешку, и он никогда не отрекался от Мани. Они все были захвачены по провидению божию, через одного школяра, которого они хотели захватить и который сбежал от них. Они были распяты вместе с женщинами блудницами, которых они держали в заключении и с которыми они жили. Их было около семидесяти душ.

§ 23. Мареммех главенствовал три с половиной года и умер. Тело его было положено в обители мар Саргиса благословенного.

В то время прославились митрополиты и епископы: мар Сабришо из Карки, пищей которого была трава во все дни его жизни, Исаак Низибийский, Сабришо из Хирты, Издфанах Кашкарский, Аристос из Нехаргуля, Моисей Ниневийский, Иоханан Забский, Сабришо из Трихон, Саргис из Бет Лапата.

§ 24. Илия, митрополит Мервский, обратил много народа из тюрок [ܛܘܪ̈ܟܝܐ] и из других народов. Мерв — это река, по имени которой называется город и область. Говорят, что внутри он имеет двенадцать парасангов и внутри внешней стены находится город и много крепостей, пшеничные и ячменные [поля], сады и парадизы. Построил его Александр, сын Филиппа, и назвал его Александрией. Когда он подчинил и победил многие народы на востоке, он выступил, чтобы вернуться в свою землю, но был убит смертельным ядом своими рабами у реки Евфрата, в месте, называемом Багникия [Бет Никия], в области Вавилона. Он царствовал двенадцать лет и шесть месяцев. Относительно же этого Илии, митрополита мервского, рассказывают, что когда он обходил области у внешней границы, внутри одной из них он встретил некоего царька [ܡܠܟܘܢܐ], который отправлялся воевать с другим царем. Когда Илия усиленно просил его воздержаться от войны, он сказал ему: «Если ты мне покажешь знаменье, как их показывают жрецы богов, я поверю в твоего бога». И приказал царек служившим демонам жрецам, которые были с ним, и они призвали демонов, которым служили, и тотчас затянулся воздух облаками, ветрами, громами и молниями, которые затем последовали. Тогда был подвигнут божественной силой Илия, он сделал знак небесного креста и прогнал навождéние, которое напустили восставшие демоны, и оно тотчас совершенно пропало. Когда увидал царек то, что сделал блаженный Илия,

он упал перед ним и почтил его; уверовали он и весь его лагерь. [Илия] свел их к одной реке, окрестил их всех, поставил им священников, дьяконов и вернулся в свою землю.

§ 25. Селевкос царствовал тридцать два года, он построил Антиохию, Лаодикию, Селевкию, Апамею, Эдессу, т. е. Орхай, Бероe, т. е. Халеб. Вавилон, который теперь так называется, построила Шемирам, но первый Вавилон там, где была построена башня. Нинос бар Билос построил Арак, т. е. Орхай, Акад, т. е. Низибию, Калиа, т. е. Ктезифон, Калах, т. е. Хатре; Санатруг, Ниневию и Рехобот построил он же.

В то время, о котором мы говорили выше, покорили арабы все области персидские и ромейские, они также наводнили и вошли в Бет Хузай. Они покорили все сильные города, именно Бет Лапат, Карка де Ледан, Шушан — крепость; оставались только Шуш и Шуштре, которые были очень мощными. Из всех персов не оставалось никого, кто бы поднялся против арабов, кроме царя Яздегерда и одного из его военачальников, по имени Хормиздана, мидийца, который собрал ему войска и занял Шуш и Шуштре. Эта Шуштре весьма обширна в своем расположении и особенно сильна реками, большими и полноводными, которые окружают ее со всех сторон, как рвы. Один из них называется Адрахшираган, по имени Адрашира,[1] который его выкопал; другой, который проходит через город, называется Шемирам, по имени царицы; третий [называется] Дариаган, по имени Дарьяваша, наибольший из всех, мощный водопад, который сбегает с северных гор.

Против Хормиздана мидийца выступил один арабский полководец, называемый Абу Муса, который построил Басру для поселения арабов, там, где Деклат [Тигр] впадает в великое море. Она расположена между возделанной землей и пустыней, как и построенный Саад бар Вакзафом город Акола, другое поселение для арабов, называемое Куфа по имени кривизны Евфрата. Когда Абу Муса выступил против Хормиздана, придумал этот Хормиздан хитрость, чтобы они не начинали боя против него, пока он не соберет войска. Он послал [сказать] Абу Муса, чтобы он прекратил порабощение и умерщвления, что он пришлет ему подати столько, сколько будет наложено на него. И при этом они оставались два года. Но затем Хормиздан, в надежде на свои стены, нарушил мир, который был между ними, и мужей, которые беседовали в качестве послов с ними, убил. Один из них был Гиваргис, епископ Улая; а Авраама, митрополита

[1] В сирийской рукописи описка — вместо Ардашир и Ардаширагаи.

Перата, он заключил. Он послал много войск против арабов, и всех уничтожили арабы. Арабы спешили и засели у Шуша, в немного дней взяли его и убили всех знатных [ܦ̈ܬܟܐ] в нем. Там они захватили дом, называемый домом мар Даниила, и взяли сокровище, которое там было заперто и хранилось по повелению царей, со времен Дарьяваша и Кира, также и серебряный ларец [саркофаг], в котором положено было набальзамированное тело. Многие говорили, что оно принадлежит Даниилу, другие, что царю Дарьявашу; они разбили его и взяли. Они осадили также Шуштре и два года старались взять его. Один муж из Катара, из тамошних присельников (ܬܘܬܒ̈ܐ), сдружился с другим мужем, дом которого был у стены; они вдвоем тайно сговорились, пришли к арабам и сказали им: «Если вы дадите нам треть добычи города, мы проведем вас в город». Они заключили между собою договор, выкопали ход под стеной, ввели арабов, и они взяли Шуштре, и в ней они лили кровь, как воду. Они убили экзегета города, епископа Хормиздардашира вместе с прочими школярами, священниками и дьяконами, они пролили их кровь в святилище. Хормиздана они взяли живым. После того вышел из арабов один муж, по имени Калид. Он отправился на запад и захватил области и города до «Ароба». Услыхал [об этом] Ираклий, царь ромейский, и послал против него большое войско, главу их звали Саккеларием, но арабы их победили и уничтожили более чем 100 000 ромеев и убили их вождя. Также они убили Ишодада, епископа Хирты, который был там у Абу-Мешиха и участвовал в посольстве между арабами и ромеями. Господствовали арабы во всех областях сирийских и палестинских. Они пожелали также проникнуть в Египет [Мицрайе], но не смогли, потому что граница охранялась патриархом Александрийским с войском большой мощи. Также входы и выходы области он запер и построил стены у берегов Нила по всей области. Из-за их высоты с трудом смогли арабы войти и занять землю египетскую [Мицраим], Фиваиду [Тебаис] и Африку. Царь Ираклий с горя, которое охватило его из-за разорения ромеев, отправился в свою столицу, заболел и умер. Он процарствовал вместе с сыном двадцать восемь лет.

Победа сынов Исмаила, которые осилили и подчинили эти две сильные державы, была от бога. Но до сих пор над Константинополем не дал им бог господства, следовательно будет и его победа.

§ 26. Относительно того, что такое куб [ܩܘܒܬܗ — κύβος — свод] Авраама, мы ничего не нашли, за исключением следующего. Так как богат был скотом блаженный Авраам и желал удалиться от зависти хананеев, он выбрал себе жительство в местах дальних и свободных пустыни. Так как

он жил в шатрах, то для почитания бога и жертвоприношений он построил это место, и по подобию того, что там было, приняло имя и то, что там теперь. Последовательно у поколений сохранилась память об этом месте. И не ново арабам там поклоняться, но и прежде, с давних дней, как происходившие [от Авраама], они оказывали почитание своему родоначальнику.

§ 27. Также и Хазор, который писание называет столицей царств, принадлежит арабам, и Медина, названная по имени Мидиана, четвертого сына Авраама от Кентуры [Медина], зовется также Ятриб. Им принадлежит и Думат Гандал, земля агареев, богатая водами, пальмами и крепкими строениями. В этом отношении изобилует и область Хатта, она расположена у моря, по соседству с Катарскими островами, она также богата различными насаждениями. Ей подобна и область Мазун, также лежащая при море, занимающая пространство более ста парасангов. Область Имама расположена среди пустыни, и область Туф [Таиф] и город Хирта, обитаемый царем Мундаром, который прозывался «героем» и был шестым в ряду исмаильских царей. Окончены немногие рассказы из клезиастики.

Теберда — Ленинград,
июль — сентябрь
1936 г.

С. Л. ВОЛИН

Новый источник для изучения хорезмийского языка[1]

В июне 1936 г. астраханский корреспондент Института Востоковедения Академии Наук СССР С. А. Алимов, благодаря которому рукописное собрание института обогатилось уже многими небезинтересными вещами, прислал очередную партию арабских, персидских и татарских рукописей. В своем письме С. А. Алимов указал, что в этой партии находится рукопись арабского сочинения «كتاب القنية», к которой приложено объяснение слов хорезмийского языка, находящихся в основном сочинении, иначе говоря, нечто вроде хорезмийско-арабского словаря.

До недавнего времени о хорезмийском языке было известно чрезвычайно мало.[2] Географы X в. отмечают, что население области по нижнему течению Джейхуна (современной Аму-дарьи) — Хорезма говорит на особом языке, непонятном для жителей других стран; из приводимых ими этимологий некоторых названий можно извлечь несколько слов этого языка. Так, название Хорезм, Макдиси[3] объясняет как хвāр[4] 'мясо' + ризм 'дрова'. Истахри[5]

[1] Сообщение на заседании Ассоциации арабистов при Институте Востоковедения Академии Наук СССР 11 октября 1936 г.

[2] Большая часть приведенных ниже данных уже была собрана В. В. Бартольдом в работе «К истории орошения Туркестана», СПб., 1914, стр. 77, и статье «Khwarizm» в «Энциклопедии Ислама». Характеристика хорезмийского языка по имевшимся до сих пор данным дана H. W. Bailey в «Энциклопедии Ислама» под словом «Perse». Истории и исторической географии средневекового Хорезма посвящены работы: E. Sachau, Zur Geschichte und Chronologie von Khwarizm, Wien, 1873; Н. И. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о хивинском ханстве, СПб., 1877; В. В. Бартольд. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-дарьи с древнейших времен до XVII в., Ташкент, 1902 (Изв. Турк. отд. Русск. Географ. общ., т. IV, вып. 11); А. Ю. Якубовский. Развалины Ургенча, Л., 1930 (Изв. ГАИМК, т. VI, вып. 2) и др. Много данных в общих трудах по истории Средней Азии, особенно: В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900; он же, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927.

[3] BGA III, 285, 10.

[4] На произношение «Хваризм» указывает Якут (II, 480, 12) и древнерусское название Каспийского моря «Хвалимское».

[5] BGA I, 301, 11.

объясняет название канала Гāу̱хвāра как 'еда коров'. Ибн-Фадлан упоминает слово بكند 'хлеб'.[1]

По одному сообщению Бейхаки[2] еще в XI в. существовала письменность на хорезмийском языке. Можно думать, что тогда еще сохранялся древний хорезмийский алфавит. Якут, писавший в начале XIII в., указывает, что в Курдаре — нижней части Хорезма — был свой язык, не хорезмийский и не турецкий.[3] Название одного селения в Хорезме, Нӯзкāс̱а, он объясняет как Нӯз — 'новый' + кāс̱ — 'отдельная усадьба'.[4] У Сам'ани (XII в.) хорезмийское выражение انبيزك ست переведено персидским بيرونى ست — «внешний есть»; вместо ست в первом случае надо, очевидно, читать بت — часто встречающаяся в нашем материале хорезмийская связка 3 л. ед. ч.[5] Однако больше всего материала для суждения о хорезмийском языке до недавних пор давала знаменитая хронология Бируни, где приведены названия месяцев, праздников и несколько других слов; на этих данных Бируни и были основаны все заключения о хорезмийском языке.[6] В 1927 г. в журнале «Islamica» была напечатана статья о хорезмийских фразах в одном сочинении по фикху.[7] Это сочинение Йатӣмат-ад-дахр фи фетāвā ахли-л-'аср Мухаммеда ибн-Махмӯда ат-Тарджумāнӣ ал-Меккӣ ал-Хорезмӣ написано в первой половине XIII в. (автор умер в 1245 г.). Оно существует во многих списках; в том числе восемь рукописей находится в константинопольских библиотеках.[8] В главах этого сочинения, посвященных браку, разводу, клятве и т. п., оказались формулы действительные и недействительные на хорезмийском языке, однако без всякого перевода. В этом тексте хорезмийские слова совершенно искажены; никакого анализа

[1] Изв. Академии Наук, 1924, стр. 244: كنك, что неверно; в Мешхедской рукописи л. 168б (по фотографии, находящейся в Институте Востоковедения) بكند; у Якута II, 485, 15, بكند. Последнее чтение подтверждается нашими материалами.

[2] The Tarikh-i-Baihaiki, ed. Morley, p. 842.

[3] IV, 257, 19.

[4] Там же, IV, 822, 20 и 222, 11.

[5] Sachau Chronologie, S. XVIII; в рукописи Института Востоковедения С 361 (ранее 543а), л. 69б انبيردل ست

[6] Одно из слов, приведенных Бируни, разобрано покойным Ф. А. Розенбергом в статье «Sogdica» в сборнике «Prace lingwistyczne ofiarowane Ianowi Baudouinowi de Courtenay», Krakow, 1921, pp. 94—96.

[7] III, f. 2, SS. 190—213.

[8] В Государственной Публичной библиотеке УзбССР в Ташкенте имеются две рукописи этого сочинения (№№ 254 и 3056), обе довольно новые. Уже после сдачи статьи в печать мне удалось ознакомиться с хранящейся в Институте Востоковедения под шифром ФВ 89 фотокопией венской рукописи Фетавал-'Аср, причем оказалось (и это подтверждается другими данными), что имя автора сочинения Меджд ал-Аимма 'Абдаррахим ибн 'Омар ат-Тарджумāнӣ и что сочинение его написано не позже середины XII в.; подробно этот вопрос будет разобран мною в другом месте.

не дано. В той же статье приведено несколько фраз на хорезмийском языке, находящихся в одной из рукописей известного словаря Замахшари مقدمة الادب. Как известно, во многих рукописях этого словаря, помимо изданных Wetzstein'ом арабских и персидских фраз, имеются еще параллельные фразы на других языках; по одной из таких рукописей проф. Н. Н. Поппе в «Трудах Института Востоковедения» издает чагатайско-монгольский словарь. В рукописи этого словаря, находящейся в одной из константинопольских библиотек и переписанной в конце XIV в. рукой одного ученого хорезмийского происхождения, оказалось несколько хорезмийских фраз. Благодаря тому, что писавший сам хорезмиец, текст оказался более исправным и даже частично огласованным. Однако этот материал довольно скуден — он заключает в себе всего около сорока слов. Некоторые замечания по поводу их находятся в указанной выше статье Bailey.

Основное сочинение астраханской рукописи قنية المنية لتتميم الغنية Кынйат ал-мунйа ли-татмӣм ал-гунйа — «Приобретение желанного для пополнения достаточного» — отнюдь не является редкостью: Броккельманом[1] зарегистрировано множество рукописей, находящихся в библиотеках Европы и Востока. Многие рукописи, конечно, остались неизвестны Броккельману, в том числе рукописи Института Востоковедения, о которых ниже. Это сочинение принадлежит хорезмийскому законоведу по имени Наджм-ад-Дӣн Абу-р-Раджā Мух̮тāр ибн-Махмӯд аз-Зāхидӣ ал-Газмӣнӣ. Как о большинстве авторов, живших после Якута, сведения о нем крайне скудны.[2] Газмӣн (غزمين), по которому он носил нисбу, ни у Якута и Самани, ни у географов X в. не упоминается, по Хаджи Хальфе и ал-Лукнави это один из городов Хорезма. Может быть Гарбин (غربين) в рассказе продолжателя Рашид-ад-Дина, приведенном В. В. Бартольдом,[3] следует читать Газмӣн, в таком случае он, вероятно, находился в южном Хорезме. По всем источникам он умер в 658/1260 г., что вполне согласуется с другими сообщаемыми о нем данными, а также с тем, что можно извлечь из самого сочинения. Он принадлежал к ханефитскому толку, но был при этом крайним мутазилитом; как указал еще Гольдциер,[4] мутазилизм, вытесненный в большин-

[1] Geschichte der Arabischen Literatur, I, S. 382. Suppl. I, S. 656.

[2] ʿАбд-ал-Ḳадир ал-Курашӣ الجواهر المضية في طبقات الحنفية Х̮айдерабад 1332 г. х., II, стр. 166; ʿАбд-ал-Х̮ай ал-Лукнави الفوائد البهية في تراجم الحنفية Егип. изд., 1324 г. х., стр. 212; Ибн Кутлубуга, ed. Flügel, № 223; Хаджи Х̮алфа IV, стр. 572, и VI, стр. 222.

[3] Сведения об Аральском море и низовьях Аму-дарьи, Ташкент, 1902, стр. 55.

[4] Der Islam III, S. 220 f.

стве мусульманских стран, долго продолжал господствовать в Хорезме — вероятно до начала XIV в., а может быть и дольше. По ал-Лукнави наш автор совершал путешествия, был в Бухаре, Багдаде, жил некоторое время в Малой Азии и преподавал там, может быть ездил в Поволжье; постоянно он жил, повидимому, в Ургенче, который он часто упоминает в своем сочинении под арабским названием Джурджанийа. Хаджи Халфа приводит названия шестнадцати его сочинений, но два из них являются частями третьего, а некоторые другие, повидимому, упомянуты им по несколько раз под разными названиями:

1. جامع فى الحيض (II, 580, № 3983).

2. حاوى مسائل الواقعات و المنية (III, 11, № 4383). Об этом сочинении говорится, что автор использовал для него منية الفقهاء и заменил то, что попало в него из хорезмийского языка — арабским.

3. رسالة فى ذكر المخالفين لنبوة نبيّنا والجواب عن شبهتهم (III, 400, № 6139), это часть сочинения, указанного ниже под № 5.

4. رسالة فى مناظرة بين المسلمين والنصارى و ذكر اسولتهم (III, 445, № 6371), это также часть № 5.

5. الرسالة الناصريّة (III, 448, № 6386), об этом сочинении см. ниже.

6. رسالة و بهذا الاسناد فى الحديث (III, 452, № 6405).

7. زاد الائمّة فى فضائل خصيصة الامّة (III, 526, № 6760), это то же, что № 14 и, может быть, № 11.

8. الصفوة فى اصول الفقه (IV, 106, № 7767).

9. غنية المنية (IV, 399, № 8657).

10. فرائض الزاهدى (IV, 399, № 8983).

11. فضل التراويح (IV, 453, № 9150).

12. قنية المنية (IV, 572, № 9596), это разбираемое нами сочинение.

13. قنية الفتاوى (IV, 572, № 9596), может быть, это то же, что № 12.

14. كتاب الفضائل (V, 130, № 103721), то же, что выше № 7. Это сочинение названо Броккельманом «Fadail Ramadan», соответственно его содержанию.

15. مجتبى فى اصول الفقه (V, 382, № 11396).

16. شرح مختصر القدورى (V, 452, № 11625).

Из этого числа Броккельманом зарегистрировано пять — 2, 12, 13, 14 и 16 и, кроме того, одно, не упомянутое Хаджи Халфа جواهر الفقه; одно сочинение (выше № 7 = 14) о преимуществах месяца рамазана имеется в Институте Востоковедения,[1] но оно не представляет никакого интереса. Более интересно было бы не найденное пока сочинение 5 — الرسالة الناصرية — доказательство истинности мусульманства и опровержение христианства, составленное для Берке-хана, правителя Золотой Орды, как известно, принявшего ислам. По Хаджи Халфе оно написано в джумаде II 658 г. х. (май — июнь 1260 г. н. э.), т. е. перед самой смертью автора. Некоторые цитаты из него приводит ʻАбд-ал-Ḳадир ал-Ḳурашӣ.[2] Автор и главное его сочинение Ḳынйат-ал-Мунйа пользовались на востоке большой известностью; когда упоминается просто «автор ал-Ḳынйи» (صاحب القنية), то обычно подразумевается именно он.

Как автор указывает во вступлении к настоящему сочинению, оно представляет собою извлечение из труда его учителя Бедӣʻ ибн-Абу-Мансӯра ал-ʻАрабӣ[3] منية الفقهاء — «желанная для факихов», который он называет «океаном, в котором собраны такие фетвы, каких не найти нигде». Последнее сочинение, повидимому, до нас не дошло, и об авторе его почти ничего неизвестно. Потребность в кратком руководстве, говорит автор во вступлении, возникла у тех из учащихся, которые были пощажены мечом, и тех, из одетых в туники, т. е. студентов, которые выросли после «всеобщей смуты» — татарского нашествия — «когда исчезли факихи и участились случаи применения шариата, требовавшие своего разрешения». Сочинение — собрание фетв — носит исключительно практический характер, что увеличивает его интерес для нас; фантастические, специально придуманные, случаи имеются, кажется, только в главах о разводе и клятве. Характерно полное отсутствие известных задач о разделе наследств — фарāид, — дающих повод для бесконечных ухищрений. Этот конкретный характер сочинения и обусловил большое количество в нем хорезмийских фраз и отдельных слов в виде формул развода, брака, клятвы, иска и т. д., в виде отдельных слов и названий предметов и даже в виде небольших диалогов. Автором было использовано около ста тридцати сочинений, главным образом среднеазиатского и хорасанского происхождения, в большинстве XI—XII вв.; между прочим, часто цитируется сочинение ат-Тарджумāнӣ.

1 В 1919, прежде Nova 484.

2 II, стр. 166—167.

3 Ал-Лукнави, ук. соч., стр. 54, называет его ал-Ḳузбанӣ, у Хаджи Ḫалфы VI, стр. 226, он назван ал-ʻИрāḳӣ. Год смерти его нигде не приводится.

Присланная т. Алимовым рукопись,[1] вероятно, лучшая из всех до сих пор найденных рукописей этого сочинения. Она переписана в раджабе 754 г. х. (август 1353 г. н. э.), менее чем через сто лет после смерти автора, неким Кемāлем ибн-ʻОсманом, гератцем, но, повидимому, жившим в Хорезме; сам он себя называет «гарибом» — чужестранцем. Место написания рукописи не указано, но по одной приписке она в 760/1359 г. читалась кем-то в «городе Хорезме», т. е. Ургенче. Сохранность рукописи полная, если не считать отсутствия переплета и повреждения кое-где полей и листов, благодаря чему плохо читаются некоторые приписки. Описок очень мало, имеется обильная огласовка, что особенно важно в хорезмийских словах. На полях много приписок, часть которых составлена значительно позже основного сочинения; так, против места, где автор называет татар, т. е. монголов, язычниками, приписано: «а в наше время они уже приняли ислам» (л. 44а). Из всех рукописей, зарегистрированных Броккельманом, только одна каирская рукопись старше нашей — она написана в 725/1325 г.

Вторая рукопись Института Востоковедения[2] значительно хуже. Хотя она вполне удовлетворительно сохранилась, но написана позже — в 887/1482 г. и, повидимому, не в Хорезме, так как хорезмийские слова почти всюду искажены. Количество ошибок в арабском тексте весьма значительно, но часть их исправлена на полях. Отсутствуют приписки на полях, имеющиеся в первой рукописи. Однако для установления текста она также окажется весьма полезной. Помимо важности лишнего варианта для сравнения, в ней есть отсутствующий в первой рукописи список сокращений, позволяющий установить авторство большинства фетв и тем отнести материал к определенному месту и времени.

То же может быть сказано и о третьей рукописи Института Востоковедения.[3] Она куплена в 1897 г. покойным акад. К. Г. Залеманом в Средней Азии.[4] Сохранность ее неполная, местами, несмотря на последовательность пагинации, нехватает отдельных листов. Последний лист оторван и заменен новым, вследствие чего дата отсутствует, по бумаге рукопись можно отнести к XVI в. Большая часть имеющихся на полях первой рукописи приписок отсутствует. Хорезмийские слова переданы значительно точнее, чем во второй рукописи, но почти нет имеющихся

[1] Теперь С 2311.
[2] V. Rosen, Notices Sommaires etc., № 116, теперь С 223.
[3] С 224, прежде 349 с.
[4] Изв. Росс. Акад. Наук, т. VIII, № 9, 1898, стр. VII.

там пояснений к ним. В начале на более новой бумаге дан список сокращений, к нему добавлено замечание, что из использованных автором 130 сочинений большинство принадлежит правоверным ученым, но 11 сочинений — они перечислены — принадлежит мутазилитам и к ним следует относиться с осторожностью.[1]

Уже персидские приписки на основном сочинении, при высокой степени исправности, делают присланную т. Алимовым рукопись гораздо лучшим источником для изучения хорезмийского языка, чем все до сих пор известное; особенную же ценность придает ей приложение. После окончания основного сочинения следует, также весьма интересная, заметка о хорезмийской монетной системе, затем основная рукопись, имеющая восточную пагинацию, кончается 234 листом и следует пришитая, видимо, позже тетрадь в 22 листа, исписанных другим почерком. Тут мы находим три небольших сочинения некоего Джелāл ад-Дӣна ибн-Мухаммеда ал-ʿИмāдӣ — так его называет переписчик; сам он называет себя просто Джелāл ал-ʿИмāдӣ: «объяснение слов, которые приведены по-хорезмийски в книге, называющейся Кынйат ал-Мунйа», трактат о фарāид — разделах наследств и трактат об эпитетах, прилагаемых к ученым. Все три трактата переписаны в 755/1354 г. неким ʿАли ал-ʿАудӣ с автографа автора, что, однако, не избавляет нас от некоторого числа ошибок: в словаре довольно часто оказываются описки, отсутствующие в основном сочинении, хотя оно и не переписано с автографа.

В начале словаря автор пишет, что его учитель Радӣ ад-Дӣн ал-Кассāрӣ приказал ему написать объяснение хорезмийских выражений, которые попали в книгу, называющуюся Кынйат-ал-Мунйа. Это последнее — краткое и в то же время полное сочинение, небольшое, но всеохватывающее; однако эти хорезмийские выражения не ясны для тех, кто не принадлежит к людям этого языка, трудны для них и заставляют их нуждаться в ком-либо, кто объяснит и переведет. Автор отказался бы от этого дела, считая себя слишком слабым для него — обычная фраза самоуничижения, — но приказание учителя обязательно для ученика; поэтому он приложил все усилия к выполнению этого поручения и не писал перевода слова, оказавшегося для него неясным, пока не спросит людей, искусных в этом языке, к которым обращаются за объяснением, знающих его тонкости и особен-

[1] В Государственной Публичной библиотеке УзбССР имеются три рукописи разбираемого сочинения: № 3181, дата списка 701/1301 г.; № 3247, дата 759/1358 г.; № 3246, дата 783/1382 г., в последней рукописи имеется также словарь; к сожалению, она почти абсолютно лишена диакритических точек.

ности; только когда они сойдутся в том, что такое-то значение — настоящее, он вписывал его в свое сочинение. Время составления словаря приблизительно определяется тем, что его автора видел в Ургенче ибн-Батута, посетивший этот город в 1333 г.;[1] других данных о Джелале ал-Имади, так же как и об его учителе, мне найти не удалось.

Словарь построен параллельно основному сочинению и разделен на главы по книгам, на которые делится последнее, начиная с главы о браке — كتاب النكاح. Фетвы, содержащие хорезмийские выражения, приводятся большей частью целиком, с соответствующими заключениями, но после каждой хорезмийской фразы вставлен ее перевод, а изредка и какие-либо грамматические замечания (если они требуются самим вопросом, которому посвящена фетва). Переводы хорезмийских выражений частью арабские, частью персидские; очевидно, автор выбирал язык, на котором ему легче было передать смысл хорезмийской фразы.

Объем материалов по хорезмийскому языку, даваемых нашей рукописью, довольно велик. Она содержит, по предварительному подсчету, около трех тысяч слов, возможно, даже больше, так как в основном сочинении есть слова, почему-либо не попавшие в словарь. В это число входят и отдельные слова, попадающиеся в тексте, например (л. 8 *а*) قِلْمِيادِيك «раскрашиватель тканей», اقديك (л. 47 *а*) «подарки жениха невесте» (دست پيمان), небольшие фразы вроде (л. 239 *б*) يا خوبَام دُغْدَ, что переведено «моя милая дочь» (دختر خوب من), далее действительные и недействительные формулы брака, развода, клятвы, иска и т. п., например следующая (привожу текст словаря, л. 236а)

قال لاجنبيّته بالخوارزميّة اَثِيوَ قاريغَّ مَاه پَرَا ذِينارَ اى هل وَجَدْتِ رضىً فى ذلك بدينارٍ فقالت قارينَّ و يعلمان انّه عقد نكاح بينهما لا يصحّ حتّى يصرحا بالنكاح او ما يقوم مقامه

«сказал некто чужой женщине по-хорезмийски اَثِيوَ قارِيغَّ مَاه پَرَا ذِينارَ то есть согласна ли ты на это за динар, и она ответила قارينَّ, и они знают, что это заключение между ними брака — [брак] недействителен, пока они не упомянут вслух [слова] брак или то, что заменяет его». Попадаются небольшие диалоги и даже целая фетва, о которой будет речь дальше.

[1] Voyages d'Ibn-Batoutah, III, pp. 6—7.

Первый вывод, который можно сделать из этого материала, — о значительно более долгой жизни хорезмийского языка, чем это до сих пор считалось. В. В. Бартольд предполагал, что он исчез вскоре после монгольского нашествия.[1] Он при этом основывался на показании Плано Карпини,[2] но Плано Карпини в самом Хорезме не был, упоминаемые им города Янкин (Янгикент) и Барчин (Барчинлигкент) лежали на Сыр-дарье; вполне естественно, что в этом районе говорили по-командски, т. е. по-кипчакски. Теперь можно сказать с уверенностью, что во всяком случае до середины XIII в. хорезмийский язык еще жил полной жизнью. Действительно, наше сочинение насыщено хорезмийскими словами и выражениями, притом не только формулами, которые могут долго жить после исчезновения языка, как разговорного, но и бытовыми словами: очень мало страниц, где их нет. Трудно себе представить, как могло бы оно возникнуть в таком виде, если бы язык уже отмирал. В особенности невероятно, чтобы вместо общеупотребительного в такой среде арабского языка, к законоведу обращались бы по-хорезмийски, как это видно из приведенной ниже фетвы. Что касается XIV в., то тут вопрос сложнее. Константинопольская рукопись Замахшари, которая написана в конце XIV в. ученым, происходившим из Хивы, т. е. южного Хорезма, содержит, как и присланная т. Алимовым, правильно и точно написанные хорезмийские фразы; из этого можно сделать вывод, что еще в половине и конце XIV в. и в южном и в северном Хорезме были люди, знавшие хорезмийский язык. Однако процесс отуречения шел уже в XIII в., при жизни автора Ķынйат ал-Мунйа; возможно, что уже тогда население Хорезма было частью двуязычно, как теперь население Самарканда и Бухары. На это указывает, например, такое место (л. 239*б*): «если хорезмиец скажет по-турецки „эр оглум“ اَرْ اُغْلُمْ».[3] В XIV же веке, когда переписана наша рукопись, хорезмийский язык уже был близок к исчезновению; на это указывает потребность в объяснении хорезмийских фраз, вызвавшая появление словаря, а также объяснений на полях основного сочинения.

Весьма интересен вопрос о существовании письменности на хорезмийском языке. Еще В. В. Бартольд привел известие персидского историка XI в. Бейхаки, свидетельствующее о том, что хорезмийцы переписывались между собой на своем языке. Однако можно думать, что это была письменность каким-либо старым письмом, типа согдийского. Наша же

[1] К истории орошения Туркестана, стр. 78.
[2] Перевод А. И. Малеина, стр. 24 и 51.
[3] Повидимому «дорогой сын мой».

рукопись дает основание предположить существование в более позднее время письменности на хорезмийском языке арабским алфавитом. На это указывает наличие и в наших рукописях и в константинопольской рукописи Замахшари дополнительных знаков для отсутствующих в арабском алфавите звуков — ڃ вероятно *ц* или *дз* и ڤ — вероятно губно-губное *в*.[1] Особенно же указывает на это следующий текст нашего словаря (л. 250 *а*):[2]

سُئل خاتمة المجتهدين قدوة المحقّقين مؤلّف القنية نجم الحقّ و الدين فى‌نان
صورت كياقسنځ وان اى جفت ذار وصىّ واسيد فى نفاغان ذروكانيك فارڎيادك
ڎى تركتاه اَويتّ داخِيل اى مَهَرَه كانمځ ارڎيادك اى وِصِىّ پريخځ واكذاك
فكتب اغاس يعنى فيما اذا اوصت المراة الى زوجها فى مرض موتها فى الثلث
من تركتها هل يدخل المهر فى الوصيّة حتّى يخرج الوصىّ ثلثه ام لا فكتب نعم.

«Спросили последнего из муджтехидов, образец для устанавливающих истину, автора Кынйи, звезду истинной веры [следуют 26 слов по-хорезмийски], и он написал: اغاس. То есть: о следующем — если женщина во время смертельной болезни завещает своему мужу треть своего имущества, входит ли махр (вено) в завещанное, так что душеприказчик выделяет его треть, или нет. И он написал: да».

Из этого текста следует, что в середине XIII в. на хорезмийском языке велась переписка даже между законоведами; нужно думать, что при этом употреблялся арабский алфавит.

До изучения всего материала нашего сочинения, конечно, не может быть дана сколько-нибудь полная характеристика хорезмийского языка. Однако уже сейчас можно сказать, что, в общих чертах, новый материал подтверждает выводы, сделанные на основании известных ранее отрывочных данных. Хорезмийский язык — язык иранский, восточной группы, находящийся на той же стадии развития, как язык позднейших согдийских текстов и довольно близкий к нему. К приведенным выше примерам можно добавить несколько числительных: اِيْو — 1, اَذْوِ — 2, شْىِ — 3, دس — 10,[3]

[1] Ср. употребление этого знака для хорезмийско-турецкого языка — W. Barthold, Eine Zamaḫšarī — Hs. mit alttürkischen Glossen. Islamica, II, 1—4.

[2] Это место находится только в одной рукописи, вследствие чего хорезмийская его часть пока не вполне ясна.

[3] Только в рукописях Фетава-л-'Аср; может быть следует читать دْس.

پَنْجَاس — 50, اَخْبَع — 60, اقداح — 70, سَدْ — 100, اُخسَد[1] — 600, هزار — 1000, شَيم — третий, قَدم — седьмой.[2] Часто встречаются вспомогательные глаголы پارُوز — 'становиться' и اِكْ — 'делать'. Характерно значительное количество арабских и персидских элементов — язык нашей рукописи может быть назван «мусульманско-хорезмийским»; весьма вероятно, что если нам удастся найти — а это возможно — аналогичный материал по согдийскому языку, то мы обнаружим, кроме уже известных буддийско-согдийского и христианско-согдийского диалектов, еще и мусульманско-согдийский. Приведу пример слова, представляющего собою соединение элементов двух языков (л. 180б): خدمتكارخيه 'слуги' — арабское слово خدمت, персидский или хорезмийский суффикс كار и два хорезмийских суффикса — множественного числа خى и местоименный 3-го лица ه.[3]

Данное сочинение, как видно из всего сказанного выше, является источником исключительного значения для изучения хорезмийского языка в то же время немаловажным историческим источником. Наравне со сборниками документов и руководствами по их составлению — так называемыми инша, биографиями суфиев и ученых и т. п., такие юридические сочинения конкретного характера — сборники фетв — содержат огромное количество материала по гражданской истории. Особенно велико значение таких источников для истории Средней Азии, в которой, как известно, местные исторические сочинения появились только в XVI в. — по крайней мере более ранние сочинения до нас не дошли, — а авторы сочинений, написанных в Иране, Месопотамии, Индии и т. п., естественно, плохо знали события, происходившие в удаленной от них стране, и еще хуже знали подробности ее социального строя. Значение позднейших

[1] Огласовки колеблются, встречается اُخْسُك

[2] Не значит ли приведенное выше слово — اقديك 'семерка', аналогично часто встречающемуся — شَيْك 'тройка'; до сих пор во многих местностях Средней Азии свадебные подарки должны состоять из «семерок» разных вещей.

[3] Исследование и издание всего хорезмийского материала нашей рукописи предпринято по поручению Института Востоковедения Академии Наук СССР проф. А. А. Фрейманом, при моем участии. Уже после сдачи в печать настоящего сообщения мне удалось ознакомиться со статьей о хорезмийском языке W. Henning'a (ZDMG. 90, S. *30—*36). Henning пользовался материалом того же сочинения, но по другим рукописям. Не будучи лингвистом и иранистом, я не могу входить в обсуждение содержания его статьи, замечу только, что местоимение первого лица единственного числа во всех рукописях дается в форме آز или ناز, но никогда باز.

юридических сочинений как исторического источника отметил еще голландский ориенталист Th. W. Juynboll,[1] но, несмотря на истекшие с тех пор 26 лет, изучение их совершенно не подвинулось вперед. В. В. Бартольд, привлекавший иногда другие указанные выше категории источников, никогда не касался юридических сочинений. Число сочинений, подобных разбираемому нами, весьма велико, — как я уже упоминал, наш автор использовал около 130 сочинений, почти исключительно среднеазиатского и хорасанского происхождения, рукописи многих из них находятся во многих библиотеках СССР, Европы и восточных стран.

Как и следует ожидать, наше сочинение содержит большое количество материала, не представляющего для нас никакого интереса, но в него вкраплены отдельные сообщения первоклассного значения. Несколько десятков страниц занято различными случаями нарушений ритуальной чистоты — и среди них упоминание какого-то الدهن الدُّكْلانى — буквально «веретенного масла», которое привозится в Хорезм с Болгарского моря; перед этим идет речь о морских зверях (л. 7б). Бесконечные случаи брака, развода и споров о махре — и описание каких-то брачных обычаев, причем приводятся различия между городом Ургенчем и сельскими местностями. В главе о вакфе — упоминание об употреблении нефти для ламп, вопреки мнению, что нефть в средние века служила только для военных и медицинских целей.[2] С этим можно сопоставить упоминание Мухаммеда ибн-Наджиб Бекрана, автора начала XIII в.,[3] о добывании нефти на Балхане и об ее перегонке. Довольно обширен материал по всяким ремеслам, по монетной системе, по мерам и весам, разным реалиям, имеющим большой интерес для истории материальной культуры. Но наибольший интерес представляют данные по социальной истории. Много упоминаний об испольщине всяких видов: упоминается испольщина с хозяйскими семенами и скотом, сдача земли из половины, из трети и т. д.; повидимому, испольщина — музāра'а была распространена чрезвычайно широко. Особенно часто упоминается испольщина с хозяйскими семенами и скотом, которую наш автор приравнивает к найму. Есть определение, чтб именно должен делать кешаварз или кедивер. Чрезвычайно интересен последний термин — кедивер, о зна-

[1] Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden, 1910, S. 55.

[2] М. Е. Массон. Из истории горной промышленности Таджикистана, Л., 1934, стр. 59; употребление нефти для освещения тут не упоминается вовсе. Почти все данные заимствованы М. Е. Массоном, без ссылки на источник, у В. В. Бартольда; ср. «Место Прикаспийских областей в истории мусульманского мира», Баку, 1925, стр. 36—37.

[3] Рукопись Института Востоковедения Акад. Наук, С 612, л. 23а.

чении которого было много споров.[1] Как известно, этот термин встречается у Нершахи, и текст позволяет видеть в кедиверах зависимых крестьян. Этимологически слово производится от персидского кед и должно значить «домашний человек». По одному месту нашего сочинения (л. 180*б*) كذيورْ باغ 'садовник' приравнивается к испольщику при хозяйских семенах; свидетельство их в пользу хозяина رب الارض не принимается. В упомянутом выше тексте (л. 255а) человек отказывается исполнять обязанности кедивера и уходит; повидимому, кедивер нечто вроде «наемного рабочего» в усадьбе. Весьма интересен следующий перечень людей, зависимых от крупного феодала (л. 180*б*):

امير كبير ادّعى فشهدوا له بلخ[2] اى خواجّيه اود اى مشريفناه اود اى نايبْناه
اود اى رعيّتيه لا تقبل شهادتهم

«предъявил иск знатный эмир, и в его пользу свидетельствуют его ходжи, его мушрифы,[3] его помощники (наибы) и его подданные (райя),[4] не принимается их свидетельство». Интересно то, что названия всех этих групп, кроме первой, арабские, но с изменениями по законам хорезмийского языка и с хорезмийскими суффиксами множественного числа. Приведенные примеры далеко не исчерпывают всего исторического материала, заключенного в настоящем сочинении; это требует специального исследования, которым я и надеюсь со временем заняться; при этом, конечно, необходимо учесть другие сочинения такого же характера, написанные в Хорезме в XI—XIII вв.

---

[1] Ср. об этом термине В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 37; он же, Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии, Среднеазиатский вестник, 1896, июнь, стр. 5, где словом «крепостной» переведено кедивер персидского текста.

[2] Т. е. بالخوارزميّة

[3] Последний термин означал в Хорезме XII—XIII вв. местных финансовых чиновников. Ср. В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, II, стр. 406. Этот термин сохранялся в Северном Хорезме до недавнего времени в значении сборщик податей; ср. «Материалы по истории каракалпаков», Л., 1934, стр. 80 и 131.

[4] Термин 'райя' в источниках, начиная с эпохи сельджуков, часто означает не подданных вообще, а специально крестьян.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАД. НАУК СССР

Том VII

П. П. ИВАНОВ

Казахи и Кокандское ханство

(К ИСТОРИИ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ XIX в.)

I

Размещение отдельных частей казахского народа на северо-восточных окраинах земледельческой части Средней Азии (Ташкентский район) происходило сравнительно поздно, — во всяком случае началось оно не ранее первой половины XVI в., когда центральная часть среднеазиатской территории была уже довольно прочно занята узбеками. Неоднократно повторявшийся на протяжении XVI—XVIII вв. переход политической власти в районе Ташкента от узбеков к казахам и обратно так же, как и кратковременное господство здесь джунгаров в первых десятилетиях XVIII в., не изменяли существенно ни этнического состава населения района, ни основных границ распространения отдельных народностей. В частности, южная граница распространения казахов (долина р. Ангрена), установившаяся, повидимому, еще в XVI в., оказалась довольно устойчивой и в основных своих чертах сохранилась до нашего времени. В такой же мере устойчивой явилась эта граница и в северо-западной части среднеазиатского культурного района — в Хорезме, где на протяжении ряда столетий она совпадала с северными пределами распространения узбекского земледельческого хозяйства в дельте Аму-дарьи.

Взаимоотношения, создававшиеся между узбеками и казахами на протяжении длительного периода их непосредственного соседства, отличались значительной сложностью и до сих пор остаются во многих отношениях неизученными.[1] В основных своих чертах эти отношения определялись,

[1] Известное «Исследование о касимовских царях и царевичах» акад. В. В. Вельяминова-Зернова (ч. II, СПб., 1864) до сих пор продолжает оставаться единственной серьезной работой, широко затрагивающей вопрос о казахско-узбекских отношениях в ранний период. Труд Вельяминова-Зернова, уже давно нуждающийся в дополнениях на основании вновь открытых источников, до сих пор не находит, к сожалению, продолжателей.

конечно, характером и особенностями хозяйственного уклада обоих народов. Полунатуральное кочевое скотоводческое хозяйство казахов испытывало потребность в текстильных изделиях и прочей продукции городской ремесленной промышленности оседлых районов, нуждавшихся, в свою очередь, в скоте и сырье, которые производились в изобилии кочевой скотоводческой периферией.[1]

Такого рода обычные для многих районов Азии экономические отношения между кочевниками и оседлыми по временам нарушались возникавшими феодальными войнами, носившими обыкновенно характер взаимных опустошительных набегов. По прекращении военных действий между районами снова восстанавливались обычные экономические взаимоотношения, основанные на обоюдной заинтересованности каждой из сторон.

Развитие капитализма в Европе и России и постепенное распространение его на Восток не могли, разумеется, не отразиться и на Средней Азии, вовлекавшейся постепенно в сферу международного товарного обмена и приспосабливавшей свое хозяйство к запросам внешнего рынка, насколько это вообще было возможно для страны, сохранявшей в более или менее неизменном виде свои докапиталистические формы производства.

Одно из видных мест в качестве контрагентов в среднеазиатской международной торговле на протяжении последних столетий занимали местные феодалы, посылавшие, как известно, под видом «посольств» людей с своими товарами и обогащавшиеся, таким образом, за счет сбыта продукции, поступавшей к ним отчасти в виде натурального налога с ремесленников и земледельцев.

По мере расширения международного, главным образом российского, рынка, предъявлявшего, уже начиная с первой половины XVIII в., усиленный спрос на среднеазиатские товары и сырье,[2] потребности местного феодала и торговца-ростовщика начинают заметно возрастать, вызывая за собою усиление феодально-ростовщической эксплоатации непосредственного производителя и соответствующую перестройку экономических отношений внутри страны. Постепенный переход от натуральной ренты к денежной,

[1] Для иллюстрации можно сослаться на автора «Михман-намэ-и-Бухара» Фазлаллаха б. Рузбехана (нач. XVI в.), который сообщает, что узбекский хан Шейбани (1500—1510), желая наказать казахов, запретил жителям оседлых районов продавать казахским купцам текстильные изделия (см. «Михман-намэ-и-Бухара», соч. Фазлаллаха б. Рузбехан. Ркп. Гос. Публ. библ. УзбССР, лист 79б). (Цит. по фотокопии ИВ.) Подобная же мера наказания (закрытие рынков) применялась в позднейшее время хивинскими ханами по отношению к туркменам.

[2] К первой половине XVIII в. относится, как известно, основание Оренбурга, в значительной мере способствовавшего развитию среднеазиатско-российской торговли.

наблюдающийся в среднеазиатских ханствах уже в начале XIX в., является наиболее ярким показателем происходивших здесь социально-экономических сдвигов. Так же, как и в других странах в эпоху разложения феодализма, в Средней Азии, и особенно в Бухаре, в рассматриваемое время наблюдается усиленный рост крестьянских восстаний, жестокими мерами подавлявшихся местными феодалами.[1]

В качестве некоторой иллюстрации к имеющейся уже в литературе характеристике торговой деятельности среднеазиатских феодалов[2] можно указать на сообщение одного из ферганских историков о торговле Алимхана Кокандского (1799—1809) с Россией.[3]

Указанный историк, между прочим, рассказывает, что снаряженный ханом торговый караван состоял из 300 верблюдов с товарами, «подходящими для России», и был отправлен в начале 1809 г. с доверенными людьми на Ташкент для дальнейшего следования к русским границам.[4]

В соответствии с интересами развивающегося торгово-ростовщического капитала, тесно связанного с ростом внешней торговли, менялась и политика среднеазиатских ханов как по отношению к окружавшим их мелким феодальным владениям, так и степной периферии. Начавшийся во второй половине XVIII в. процесс «собирания земли» закончился к концу того же столетия, как известно, образованием трех среднеазиатских ханств: Бухарского, Хивинского и Кокандского, представлявших собою уже довольно значительные политические объединения, проявившие затем тенденцию к дальнейшему расширению своей территории за счет кочевой периферии. В отношении последнего обстоятельства весьма показательной является, в частности, политика хивинского хана Мухаммед Рахима (1806—1825), который на протяжении большей части своего царствования вел почти непрерывные войны с туркменами, каракалпаками и казахами.

В качестве одного из оправдательных мотивов, побуждавших якобы Мухаммед Рахима к завоеванию казахских и туркменских районов, хивин-

[1] Более подробные данные по этим вопросам см. П. П. Иванов, Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821—1825 гг.. Тр. Инст. Востоковед. Акад. Наук, XXVIII, М.—Л., 1937, стр. 33 и сл.

[2] Ср., напр., П. И. Небольсин, Очерки торговли России с Средней Азией, Зап. Русск. Геогр. общ., кн. X, СПб., 1855, стр. 4—5.

[3] Тарих-и-Шахрохи, соч. Моллы Нияз Мухаммед бен Ашур Мухаммед, хокандца, изданная Н. Н. Пантусовым. Казань, 1885, стр. 76 (перс. текст).

[4] Из дальнейшего рассказа автора (цит. соч., стр. 80) видно, что в связи с наступившими политическими событиями и смертью хана караван из Ташкента дальше отправлен не был.

ские историки Мунис и Агехи указывают на нападения туркмен, казахов и каракалпаков на торговые хивинские караваны.[1]

Помимо обеспечения безопасности торговых путей, завоевание кочевой периферии представляло для среднеазиатских феодалов значительные выгоды с точки зрения пополнения своих товарных ресурсов, что достигалось, с одной стороны, путем массового военного грабежа кочевников во время степных походов, с другой — путем систематического изъятия прибавочного продукта в виде закята и других сборов, взимавшихся с кочевого скотоводческого населения.[2]

Грабежи и завоевательные походы хивинских ханов распространялись, как уже указывалось, на западе на весь район современной Туркмении,[3] а на севере они доходили до низовьев Сыр-дарьи, охватывая, таким образом, все левое побережье этой реки в нижнем течении.

Значительная масса соседнего казахского населения, занимавшая правый берег Сыр-дарьи с прилегавшим к нему обширным районом на востоке, подпала под власть кокандских ханов, выступивших здесь впервые в начале XIX в. и распространивших к середине того же столетия свое господство до границ Западного Китая.

Предполагая в дальнейшем остановиться на рассмотрении известий ферганских источников по вопросам казахско-кокандских и кокандско-киргизских отношений в XIX в., автор рассматривает настоящий свой краткий очерк в качестве первой части намечаемого исследования, в задачу которой входит характеристика лишь первых шагов кокандской территориальной экспансии в казахские степи и горные районы Киргизии.

Исчерпывающая характеристика кокандской колонизации Дашт-и-кипчака,[4] так же как и Киргизии, при современном неудовлетворительном состоянии среднеазиатской историографии вряд ли вообще возможна. История Кокандского ханства разработана чрезвычайно слабо. Почти все

[1] Обширные извлечения из хивинских хроник по вопросу о хивинско-туркменских отношениях при Мухаммед Рахиме (в русском переводе) приводятся мною во II томе «Материалов по истории туркмен и Туркмении», изданном Институтом Востоковедения Академии Наук СССР в текущем (1938) году. Подробное исследование хивинских хроник и прочих восточных источников по вопросу о казахско-хивинских отношениях в XVIII—XIX вв. составляет в настоящее время одну из задач автора, которую он надеется завершить в течение ближайшего времени.

[2] Подробнее об этом см. П. П. Иванов, Очерк истории каракалпаков. Тр. Инст. Востоковед. Акад. Наук, т. VII, Лгр., 1935, стр. 77 и сл.

[3] На почве раздела туркменской территории хивинские ханы, как показывают хивинские хроники, иногда сталкивались с Бухарой, также стремившейся укрепить здесь свое господство.

[4] Обычное название казахских степей у ферганских и хивинских историков.

имеющиеся сочинения ферганских историков до сих пор продолжают оставаться в рукописном виде, будучи представлены нередко всего одним — двумя списками, разбросанными при этом в разных книгохранилищах нашего Союза и потому мало доступными для отдельного исследователя. Таким образом работе по изучению истории Кокандского ханства должна предшествовать предварительная работа по выявлению и критическому исследованию имеющихся рукописных источников, к чему, однако, до сих пор почти еще не приступлено.[1]

В такой же мере разбросанными и неразработанными являются материалы, характеризующие политическое и социально-экономическое положение казахско-киргизских районов к моменту начала их колонизации Кокандским ханством.

Не задаваясь здесь непосильной для отдельного лица задачей выполнить в ограниченный срок работу, доступную для коллектива, автор ставит перед собой целью освещение лишь некоторых отдельных моментов ранней истории казахско-кокандских отношений, или не получивших пока достаточного отражения в имеющейся исторической литературе, или освещавшихся недостаточно удовлетворительно с точки зрения современных научных требований.

II

Прежде чем переходить к непосредственно занимающей нас теме о кокандско-казахских отношениях в начале XIX столетия, необходимо предварительно коснуться в общих чертах истории их взаимоотношений за предшествующий период, без чего не может быть правильно понято ни значение описываемых ниже событий 1799—1809 гг., ни влияние их на позднейшую историю Южного Казахстана и Киргизии.

Обособление Ферганы в самостоятельную политическую единицу, получившую впоследствии наименование Кокандского ханства, относится, как известно, ко второй половине XVIII столетия.[2] До этого периода Фергана существовала в качестве составной части Бухарского ханства, хотя и не лишенной, в силу своего изолированного положения, известной доли политической самостоятельности. Территория вновь возникшего ханства

[1] Для истории Кокандского ханства и характера его территориальной экспансии на северо-восток имеют значение не только рукописные сочинения, но и документы, собранные в настоящее время в значительном количестве в Центроархиве Узбекистана и также до сих пор не подвергавшиеся разработке.

[2] Ср. «Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии», год XX, Ташкент, 1915, стр. 86 и сл.

до начала XIX в. ограничивалась одной только Ферганской долиной и притом, повидимому, только центральной ее частью, тогда как на северо-востоке долины еще в середине XVIII в. продолжали господствовать киргизские правители.[1] Из сохранившихся документов, относящихся, в частности, к первой половине XVIII в., видно, что некоторое влияние на ферганские дела в этот период оказывали также казахские ханы Старшей (Большой) и Средней Орды, один из которых, Шигай, владел даже районом Намангана в 1748 г.[2] Наряду с этим бесспорным фактом имеется также заслуживающее внимания свидетельство ташкентского жителя Нур Мухаммеда, сообщавшего в 1735 г. в Уфе о том, что один из ферганских узбекских правителей Рахим-бий являлся в это время распорядителем половины Ташкентской области, господство над которой принадлежало тогда казахскому хану Юлбарсу, сыну Абдуллы, брату известного хана Младшей Орды Абулхайра.[3] При крайне неудовлетворительном состоянии имеющихся сведений даже по вопросам политической истории Ферганы XVIII столетия трудно в данном случае установить точные хронологические рамки и устранить неясности, вызываемые приведенными двумя свидетельствами. Оба сообщаемые факта могут, однако, служить подтверждением высказанной выше мысли о том, что политическая власть в районах непосредственного соседства узбеков и казахов на северо-восточных окраинах Средней Азии вообще была неустойчивой и часто переходила из рук в руки.

Характерно также, что упоминания о Ташкенте с окружающей его казахской периферией впервые встречаются в ферганских источниках только при описании событий последних лет XVIII в., хотя действия ферганских правителей XVIII столетия вообще описываются местными историками довольно подробно. Вряд ли, однако, из этого факта можно сделать тот вывод, что ферганские правители не сталкивались вообще с Ташкентом на протяжении своей деятельности в XVIII в.

Приведенные выше краткие сообщения о Шигай-хане и Рахим-бие показывают, что сношения между Ферганой и районами к северу от нее в это время существовали. Однако в связи с политической раздроблен-

[1] Там же, стр. 115—118.

[2] Там же, стр. 75, 114—115.

[3] Добросмыслов, А. И. Ташкент в прошлом и в настоящем. Исторический очерк. Вып. 1, Ташкент, 1911, стр. 19; ср. также «Протоколы», цит. соч., стр. 81. Ферганскими источниками сообщение Нур Мухаммеда не подтверждается. Попутно отметим, что сообщенный Добросмысловым впервые рассказ Нур Мухаммеда представляет значительную ценность как для истории Ташкента, так и казахов в первой половине XVIII в. По имеющимся данным, Юлбарс (казахское произношение — Жолбарс) управлял в качестве вассала калмыцких князей. Бартольд, В. В. История культурной жизни Туркестана. Лгр., 1927, стр. 105.

ностью Ферганы и замкнутым характером ее хозяйства, слабо затронутого товарно-денежными отношениями, местные правители XVIII в. не могли еще ставить перед собой такой сложной задачи, как овладение Ташкентским оазисом и окружавшей его обширной казахской периферией.

Лишь в последние годы названного столетия, когда завершавшийся уже процесс формирования внутреннего рынка вызвал за собою окончательное объединение Ферганы под властью одного правителя, начинают предприниматься первые серьезные шаги к расширению за счет соседних районов.

Начавшаяся в первом десятилетии XIX в. кокандская экспансия на север представляла собою, по существу, некоторого рода попытку примирения тех глубоких классовых противоречий, какие назрели уже к этому времени внутри местного феодального общества, в первую очередь между крупным феодальным землевладением, с одной стороны, и массой зависимого крестьянства — с другой. Политика внешнего грабежа, разумеется, могла в лучшем случае лишь несколько отдалить назревавший внутренний кризис, но не предотвратить его. Это подтверждается и дальнейшей историей Кокандского ханства, вступившего уже в первой половине XIX в. в полосу глубоких потрясений, не изжитых им вплоть до последнего момента своей политической самостоятельности.

Упоминая в первый раз о Ташкенте, кокандский историк Мухаммед-хаким, между прочим, отмечает, что там за некоторое время до описываемых событий (конец XVIII в.) правил некий Бахадыр-Ферман, из рода Чингиза.[1] В чагатайском переводе труда Мухаммед-хакима, представляющем собою несколько иную редакцию, указывается, что этот правитель Ташкента носил имя Ферман-бахадыра и принадлежал к числу ханов из рода Чингиза.[2] Иначе говоря, кокандскими источниками подтверждается имею-

[1] Мунтахаб-ат-таварих, соч. Мухаммед-хаким-хан-тöре. Персидский оригинал, рукопись Института Востоковедения Акад. Наук С 470, л. 357а. Персидские рукописи Мунтахаб-ат-таварих до сих пор никем не описывались, хотя, казалось бы, они должны были пользоваться бо́льшим вниманием со стороны ориенталистов, чем общеизвестный чагатайский перевод того же сочинения. В настоящее время из персидских рукописей Мунтахаб-ат-таварих две известны в Ленинграде и столько же в Ташкенте.

[2] Чагатайский перевод Мунтахаб-ат-таварих, рукопись Инст. Востоковед. Акад. Наук Д. 90, л. 258а. Описание некоторых рукописей чагатайского перевода Мунтахаб-ат-таварих см. Каль, Е. «Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной библиотеки», Ташкент, 1889, стр. 60—65; а также «Collections scientifiques de l'Institut des langues orientales du Ministère des affaires étrangères. VIII. Manuscripts turcs de l'Institut des langues orientales décrits par W. D. Smirnow, St. Pétersb., 1897, pp. 150—155; также Наливкин, В. «Краткая история Кокандского ханства», Казань, 1886, стр. I—II.

щееся уже в литературе сообщение о том, что Ташкентом во второй половине XVIII в. управляли казахские ханы.[1]

Когда Ферман-бахадыр умер, власть в Ташкенте перешла, по словам Мухаммед-хакима, в руки местных ходжей, вступивших в борьбу за власть между собою, вследствие чего в городе возникли серьезные волнения.[2] После долгой борьбы власть перешла, наконец, к ходже Юнусу, воспользовавшемуся при этом поддержкой одного из видных ферганских сановников и ишанов, Хан-ходжи, управлявшего в то время на правах кокандского вассала Ходжентом. О помощи, оказанной Юнус-ходже ходжентским правителем («владельцем») Хан-ходжой, кроме ферганских авторов, упоминает также Поспелов, посетивший Ташкент (вместе с Бурнашевым) в 1800 г. и оставивший весьма интересное и обстоятельное описание этого города.[3]

Овладев Ташкентом, Юнус-ходжа, по словам ферганского историка, подчинил себе вскоре также весь Дашт-и-кипчак, т. е. казахские степи.[4] Из сообщения Поспелова видно, что завоевание Юнус-ходжой казахских степей было завершено в 1798 г.[5] Из этих же данных устанавливается, что власть ташкентского правителя ограничивалась территорией Старшей

[1] Ср. Левшин, А. «Описание Киргиз-кайсацких орд и степей». Ч. II, СПб., 1832, стр. 80 и сл. Имя последнего представителя казахских ханов Ташкента, названного здесь Ферман-бахадыром, в русских источниках, насколько известно, не встречается. Впрочем, В. В. Бартольд упоминает о каком-то Бахадур-беке, считая, что он был «вероятно, из узбеков» (цит. соч., стр. 105).

[2] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 347а, ркп. Д. 90, л. 257б. Ташкентские ходжи считались потомками известного шейха XIV в. Хавенд-Тахура. О нем см. Семенов, А. А. «Ташкентский шейх Хавенд-Тахур (Шайх-Антаур) и приписываемый ему „кулях“», «Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии», год XX, Ташкент, 1915, стр. 25—31. Обстановка, при которой совершился захват власти Юнус-ходжой, отчасти описывается в отмечаемой ниже литературе. Сообщая вкратце о правлении ходжей, Наливкин (цит. соч., стр. 73) утверждает, что Ташкент в это время номинально находился в зависимости от Бухары, что, однако, не подтверждается ни ферганскими, ни бухарскими источниками. Еще менее вероятным представляется утверждение Добросмыслова (цит. соч., стр. 23) о захвате Ташкента Шах-Мурадом бухарским (1785—1800). Относительно прошлого ташкентских ходжей см. также В. В. Бартольд, цит. соч., стр. 104—105.

[3] Полный текст отчета о поездке Поспелова и Бурнашева опубликован Я. Ханыковым в «Вестн. Русск. Геогр. общ.» на 1851 г., часть 1, кн. 1, отд. VI, стр. 1—44, с некоторыми примечаниями (стр. 44—56). Еще ранее отчет в подробном изложении был опубликован в «Сибирском вестнике», издававшемся Г. Спасским, за 1818 г., часть четвертая, СПб., 1819, стр. 124—180, хотя Я. Ханыков почему-то отмечает, что «замечания Поспелова и Бурнашева не были еще обнародованы» (стр. 44) Перепечатка отчета (неполная) имеется также в цитированной выше книге Добросмыслова, стр. 24—37.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, рукопись С 470, цит. место.

[5] Вестник Русск. Геогр. общ., стр. 22

(Большой) Орды до района Чимкента на северо-востоке и Туркестана на севере включительно.[1]

История Ташкента в период правления Юнус-ходжи отчасти освещена в литературе,[2] хотя значительное число сообщаемых на этот счет сведений нуждается в проверке и требует дополнений.

В частности, значительные неясности существуют также в вопросе о методах распространения власти Юнус-ходжи на Казахские степи и о степени его влияния на жизнь казахов. Говоря о том, что подчинение казахов было совершено «без кровопролития», источники в то же время сообщают о необычайно жестоких средствах, употреблявшихся ташкентским правителем в войне с казахами.[3] Закончив завоевание ближайших к Ташкенту казахских районов и уничтожив в Старшей Орде ханское звание,[4] Юнус-ходжа, повидимому, избегал в дальнейшем вмешиваться во внутреннюю жизнь казахских племен, предоставив управление ими б и я м и ограничиваясь сбором закята. Для упрочения своего влияния на степи Юнус-ходжа держал у себя в качестве заложников наиболее влиятельных лиц из казахов.[5] Из отчета названных выше путешественников видно, что казахские степи играли в рассматриваемое время значительную роль также в торговле Ташкента.

Караваны из Ташкента отправлялись не только в Россию, но и в степь, сбывая здесь свои товары, состоявшие, главным образом, из бумажных и шелковых материй, и получая взамен скот.[6] Казахи Средней Орды от Юнус-ходжи не зависели и даже совершали нападения на ташкентские торговые караваны.[7]

[1] Там же, стр. 29. Город Туркестан, по словам автора, перешел во власть Юнус-ходжи в 1799 г. (там же).

[2] Помимо указанных выше материалов см. об этом также Маллицкий, Н. Г. «Несколько страниц из истории Ташкента за последнее столетие», в газ. «Туркест. ведом.» за 1898 г. № 88—91; его же, «К истории Ташкента под кокандским владычеством», в Протоколе № 4 заседания Турк. кр. люб. археологии от 11 декабря 1900 г., стр. 127—128; также Диваев, А, «Предание о возникновении азиатского города Ташкента», там же, стр. 145—151; также. Терентьев, М. «Загадочный таарих», Протоколы засед. etc., год IV, Ташкент, 1899, стр. 80—86. Источников на среднеазиатских языках по истории правления Юнус-ходжи до сих пор не обнаружено.

[3] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 21—22, 42; Терентьев, М. А. История завоевания Ср. Азии, т. I, СПб., 1906, стр. 87—88. По словам русских документов, Юнус-ходжа приказывал всем пленным казахам рубить головы и складывать их в пирамиды — прием, как известно, нередко употреблявшийся свирепыми завоевателями Азии.

[4] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 5.

[5] Там же, стр. 43.

[6] Там же, стр. 38.

[7] Там же, стр. 39.

Войска Юнус-ходжи, как указывают сохранившиеся предания.[1] состояли, главным образом, из казахов, что подтверждается также свидетельством современников[2] и кокандскими источниками.[3] Роль казахов в качестве военного элемента особенно возрастала вследствие явно враждебных отношений между Юнус-ходжой и оседлым узбекским населением Ташкента,[4] являвшихся, повидимому, результатом внутренних противоречий между правящей группой ходжей и основной массой жителей.

Период господства Юнус-ходжи нашел весьма своеобразное отражение в одном из позднейших казахских преданий, согласно которому Юнус-ходжа «из племени гальча» состоял на службе казахского бия Туле Али-бекова, владевшего будто бы в то время Ташкентом. После смерти Туле бия Юнус-ходжа начал войну с казахами и лет через 15—20 отнял у них Ташкент.[5]

В своих рассуждениях о роли казахов в государстве Юнус-ходжи Поспелов отмечает, что последние «не однажды уже участвовали в помощи ташкентцам против их неприятелей».[6] Впрочем, из слов того же путешественника видно, что часть войска ходжи, в количестве около шести тысяч человек, состояла, повидимому, из оседлых жителей, организованных «по знаменам, или полкам», численностью от 200 до 1000 человек в каждом. Эти войска носили название каракаზанов, — термин, кажется, единственный раз встречающийся в литературе вообще и потому крайне неясный. Характерной чертой каракаазанов являлось использование их не только в качестве военной силы, но и для личных услуг ходжей, в частности на сельскохозяйственных работах на принадлежавших ходжам землях,[7] вследствие чего каракаазаны освобождались от всякого рода прочих податей и повинностей.

1 Диваев, А., цит. статья, стр. 151. Указываются роды: канглы, санычклы (чанышклы), багыс и рамадан.

2 Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 42.

3 О них см. ниже.

4 Маллицкий, Н. Г. К истории Ташкента etc., стр. 127—128; также Диваев, А., цит. соч., стр. 150.

5 Гродеков, Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-дарьинской области, т. I. Юридический быт. Ташкент, 1889, стр. 25.

6 Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 42.

7 Там же, стр. 33—36. Термин каракаазан один раз встречается в сочинении Мухаммед-хакима (Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 472б) при описании событий царствования Омар-хана (1809—1822). Из слов кокандского историка можно установить, что под каракаазанами в Фергане разумелось ополчение, набиравшееся в военное время и носившее обычно название кылкуйрук. Каракаазаны ферганским автором противопоставляются нукерам, представлявшим собою постоянное войско кокандских феодалов и занимавшим положение, приблизительно тождественное ташкентским каракаазанам.

Жалования караказаны не получают, добывая себе средства сельским хозяйством и ремеслами.[1]

В военное время в Ташкенте, как и в других среднеазиатских ханствах, собиралось ополчение, численность которого простиралась до 30 тыс. человек из городского населения и столько же из казахов.[2]

Ограничивая на этом свои краткие замечания о политическом устройстве Ташкентского государства Юнус-ходжи, более подробные сведения о котором содержатся в указанной выше литературе, перейдем теперь к такому же беглому ознакомлению с фактами политической истории Кокандского ханства, насколько это необходимо для наших целей.

Заметим попутно, что вопрос о кокандско-ташкентских отношениях, как это будет показано дальше, в литературе уже отчасти рассматривался.

Однако вопрос этот трактовался почти исключительно в связи с историей Ташкента, игравшего, как известно, выдающуюся роль в новейшей истории Средней Азии, уже начиная с первой половины XIX в., и вызывавшего поэтому к себе довольно значительный, хотя до сих пор еще далеко недостаточный, интерес со стороны историков. Что касается казахов, занимавших чрезвычайно важное место в политической и экономической жизни Ташкента и его района, то роль их остается до сих пор почти неучтенной. В дальнейшем своем изложении мы постараемся этот пробел восполнить, насколько это позволяют доступные в настоящее время материалы.

Вопреки высказывавшемуся ранее в литературе мнению о том, что «история Ферганы со времени Алим-хана нам хорошо известна во всех деталях»,[3] приходится, с сожалением, отметить, что период правления Алимхана известен нам лишь из вторых или третьих рук, так как современниками ничего по этому поводу написано не было. Единственное, пока известное нам, исключение представляют записки Абдул-Керима Бухарского, составленные им в Стамбуле в 1233/1818 г.[4] Однако сведения этого автора о кокандских делах настолько кратки, что не дают даже самой общей картины.

Все ферганские исторические сочинения писались не ранее конца первой половины XIX в., когда память о многих событиях интересующей нас эпохи уже сгладилась и когда восстановление многих второстепенных

[1] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 31.

[2] Там же, цит. соч., стр. 37. Общую численность населения г. Ташкента Поспелов определяет в 10 тысяч домов, с 40 тысячами жителей мужского пола (стр. 29).

[3] Протоколы, год XX, цит. соч., стр. 69.

[4] Histoire de l'Asie Centrale par Mir Abdoul Kerim Boukhary, publié, traduit et annoté par Charles Schefer. Texte persan. Paris, 1876, pp. 94—99.

фактов оказывалось уже затруднительным. С этим обстоятельством связана и скудость фактического материала, и почти полное отсутствие хронологических данных в части интересующего нас периода. Не свободен от этих недостатков и самый ранний из ферганских источников — уже цитировавшееся выше сочинение «Мунтахаб-ат-таварих» Мухаммед-хакима, оказавшее значительное влияние, повидимому, на большинство позднейших историков Кокандского ханства.

Первое крупное военное столкновение между Ташкентом и Кокандским ханством относится к началу правления Алим-хана, датируемого обычно 1800 г.[1] Однако сомнения, высказанные в свое время в научной литературе[2] относительно достоверности этой даты, до сих пор являются не вполне устраненными, хотя предшествующие работы вообще в значительной степени облегчают разрешение данного вопроса.[3]

Не отвергая целиком высказывавшегося ранее мнения о том, что вопрос о точной дате восшествия на престол Алим-хана остается пока открытым, следует, однако, отметить, что 1213 г. х., к которому относит данное событие Нияз-Мухаммед,[4] подтверждается и другими имеющимися в нашем распоряжении данными, а потому должен быть принят. К такому выводу еще в 1927 г. склонялся В. В. Бартольд, оставивший этот вопрос, однако, нерешенным окончательно. «Основатель Кокандского ханства Алим-хан,— говорит В. В. Бартольд,— повидимому, наследовал своему отцу Нарбуте в 1213 г. х. (1798/99 г. н. э.)».[5] В. В. Бартольд не поясняет при этом, к сожалению, тех оснований, какие не позволяют ему высказываться за 1213 г. х. в более категорической форме.

С своей стороны заметим, что в пользу указанного года говорит не только приведенное выше сообщение Нияз Мухаммеда, но и неучтенное пока никем свидетельство уже цитировавшегося выше Поспелова.

Если принять во внимание, что выступление кокандских войск против Ташкента состоялось, по свидетельству Мухаммед-хакима, не сразу после восшествия на престол Алим-хана, а лишь после того как хан учинил ряд

[1] Ср. Стэнли Лэн-Пуль, «Мусульманские династии», перев. В. Бартольда, СПб., 1898, стр. 237.

[2] Протоколы заседаний и сообщения членов Туркест. кружка любит. археологии, год XVIII (1/XII 1912—1 IV 1913), Ташкент, 1913, стр. 102—103.

[3] Об одном из источников по истории Ферганы см. также «Протоколы заседаний» etc., год XVIII, стр. 31 и сл.

[4] Тарих-и-Шахрохи, цит. изд., стр. 40; ср. также «Протоколы», год XVIII, цит. соч., стр. 102—103 (1213 г. х. продолжался с 15 июня 1798 г. по 5 июня 1799 г. н. э.).

[5] Бартольд, В. В. История культурной жизни Туркестана. Изд. Акад. Наук, Лгр., 1927 г., стр. 114. (Разрядка моя.)

расправ над опасными для него феодалами и некоторое время уже занимался «рассмотрением просьб своих подданных»,[1] то следует признать, что событие это (поход на Ташкент) могло произойти не ранее второй половины 1213 г. х., т. е. уже в 1799 г. н. э. К этому именно году и относит интересующий нас поход Поспелов,[2] находившийся в Ташкенте в 1800 г.

Какими именно мотивами был вызван поход на Ташкент в 1799 г., источники не сообщают. Повидимому, довольно существенную роль в данном вопросе играл так называемый Кураминский район, занимавший посредствующее положение между Ферганой и Ташкентом и, как сообщает Поспелов,[3] уже издавна являвшийся поводом для различного рода «несогласий» между обоими государствами. Под Курамой в географическом смысле подразумевалась, как известно, юго-западная часть б. Ташкентского уезда. Также этот термин толковался и кокандскими авторами XIX в., включавшими в состав Курамы долину Ангрена.[4]

Этнический состав населения Курамы в то время, как и теперь, был смешанный, с преобладанием казахов. Капитан Андреев, описывавший Кураминский район в 1785 г., отмечает, что народ курама обитает за Чирчиком, в числе около 10 тыс. человек, имеет девять городов и подвластен кокандскому беку Нарбуте (отцу Алим-хана).[5] Таким образом данными капитана Андреева, отчасти, подтверждаются более ранние сведения Нур Мухаммеда о принадлежности кокандским правителям определенной части Ташкентского района в тот период, когда Ташкентом управляли казахские ханы. При Юнус-ходже Курама также входила в состав Кокандского ханства, лишившегося этой территории лишь в результате неудачного похода 1799 г., как это будет указано ниже.

Таким образом из сказанного следует, что отрицать роль Курамы в кокандско-ташкентском конфликте 1799 г. было бы трудно. Однако вряд ли разногласия на почве раздела Курамы могли явиться решающим фактором в деле кокандско-ташкентских отношений. Более существенное значение имели, повидимому, причины общего порядка, как это указывалось уже отчасти выше. В частности, нельзя было бы обойти молчанием значение города Ташкента, являвшегося значительным торгово-промыш-

[1] Протоколы, цит. соч., стр. 104.
[2] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 23.
[3] Там же, стр. 22.
[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. Д 90, л. 267б.
[5] Аристов, Н. И. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей. Живая старина, год VI, вып. III и IV, СПб., 1896, стр. 386. Здесь же подробнее об этническом составе кураминского населения.

ленным центром и игравшего уже в это время крупнейшую посредническую роль в торговле Средней Азии как с Россией, так и с казахскими степными районами.

III

Ферганские источники сообщают, что, задумав разграбить Ташкент, Алим-хан направил двух своих начальников с войсками к Ходженту, которым управлял в это время на правах ханского вассала уже упоминавшийся выше ишан Хан-ходжа («ходжентский владелец»). Присоединив прибывшие отряды к своим войскам, Хан-ходжа направился, по приказанию хана, против Ташкента.[1]

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о действиях кокандцев за время этого похода чрезвычайно кратки. Мухаммед-хаким рассказывает, что, прибыв в Кураму, Хан-ходжа расположился в долине Ангрена на отдых, а на следующий день на рассвете кокандцы приблизились к Ташкенту и занялись грабежом окрестных жителей[2] как оседлых, так и кочевых.[3]

Юнус-ходжа, узнав о нападении кокандцев, выступил против них с большим войском. На берегах Кара-су, недалеко от Чирчика,[4] Юнус-ходжа зашел в тыл неприятелю и нанес ему решительное поражение. Хан-ходжа был пойман во время бегства и казнен, по приказанию Юнус-Хаджи, с 70 другими кокандскими начальниками.[5]

Об этом же событии рассказывает и Поспелов, принимающий Хан-ходжу за кокандского хана. «В 1799 г., — пишет Поспелов, — кокандский владелец Хан-ходжа, приблизившись с своим войском к городу Ташкенту, надеялся, может быть, сделать более, нежели сколько успел. Юнус-ходжа, не допустив его, вышел с своим войском. Отчаянное сражение последних,

[1] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 366б; ср. Протоколы etc., год XVIII, цит. соч., стр. 104—105.

[2] Там же, цит. рукоп., л. 367а.

[3] Тухфет-ат-таварих-и-хани, сочинение муллы Аваз Мухаммеда, рукопись Института Востоковедения Акад. Наук, С 440, л. 91а. Попутно отметим, что для изучения истории Кокандского ханства данное сочинение до сих пор никем не использовано. Кажется единственное упоминание об этом сочинении в литературе принадлежит В. В. Бартольду, который, повидимому, ошибочно принял этот труд за второй том (продолжение) сочинения «Джехан-нама» того же автора (см. «Зап. Вост. отд. Русск. Арх. общ.», т. XV, стр. 272—273). В действительности Тухфет-ат-таварих-и-хани представляет собою вполне самостоятельное сочинение по истории Ферганы со времени Бабура (XVI в.) до убийства Малля-хана в 1278/1862 г.

[4] Вместо общепринятого в настоящее время «Чирчик» Мухаммед-хаким пишет всюду «Чилчик». Аваз Мухаммед упоминает о Чирчике под его средневековым иранским названием Фарак, отмечаемым В. В. Бартольдом в форме Парак и даже Парк (?). См. Бартольд, В. В. «К истории орошения Туркестана», СПб., 1914, стр. 139.

[5] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 347а-б, ркп. Д 90, л. 267а и сл.

чтоб защищать город и следственно жизнь свою, было превыше всех усилий Хан-ходжи. При робости хотя и превосходного числом кокандского войска ташкентцами одержана победа. Она еще и тем увеличена, что кокандский владелец со многими чиновниками и другими людьми попал в плен; остальное же войско спаслось бегством».[1]

Решив после поражения кокандско-ходжентского войска «распространить успехи своего оружия», Юнус-ходжа двинулся со своими силами на Кураму и, повидимому, без труда присоединил ее к своим владениям.[2]

Во время пребывания Поспелова и Бурнашева в Ташкенте в 1800 г. Курама уже входила в состав государства Юнус-ходжи. В Кураме в это время насчитывалось 10 селений.[3]

Таким образом первое военное мероприятие Алим-хана, направленное им в 1799 г. против Ташкента, закончилось неудачей. Результатом его явилась не только потеря Курамы, но и утрата кокандцами Ходжента, занятого после гибели Хан-ходжи одним из местных феодалов.[4]

Дальнейшим ответным шагом со стороны Юнус-ходжи явилось вторжение его в пределы Ферганской долины, о чем имеются сообщения не только со стороны кокандских историков, но и Поспелова, свидетельство которого до сих пор оставалось неучтенным.

Хотя ферганские историки единодушно утверждают, что в основе выступления Юнус-ходжи лежала его «глупость» и преувеличенное представление о своем могуществе,[5] следует все же отметить, что поход ташкентского правителя совпадал, повидимому, не случайно, с целым рядом тревожных событий как внутренне-, так и внешнеполитического характера, переживавшихся в этот момент Кокандским ханством. Борьба с центробежными тенденциями отдельных феодалов внутри страны значительно осложнялась также войной за Ходжент, возвращения которого в это время Алим-хан безуспешно домогался.[6]

[1] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 23. Здесь же автор подтверждает сведения Мухаммед-хакима о казни Хан-ходжи и его приближенных в Ташкенте. Возможно, что посылка Хан-ходжи в Ташкент с недостаточными силами была преднамеренной, так как Алим-хан хотел избавиться от этого нежелательного для него феодала, привыкшего действовать независимо от кокандских правителей еще задолго до воцарения Алим-хана.

[2] Там же, цит. соч., стр. 23.

[3] Там же, стр. 29. Речь идет, очевидно, о тех же пунктах, которые цитировавшийся выше капитан Андреев называл «городами».

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 367б, ркп. Д 90, л. 268а; ср. также Протоколы etc., цит. соч., стр. 105.

[5] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 370а.

[6] Подробнее об этом см. Наливкин, цит. соч., стр. 79—81; также Протокосы etc., цит. соч., стр. 105—107.

Рассчитывая, повидимому, использовать в своих интересах создавшееся положение[1] и вступив в соглашение с правителем Ходжента, Юнус-ходжа в конце лета 1800 г. направился со своими войсками в Фергану.

«В 1800 году, — рассказывает Поспелов, — Ташкентский владелец паки собрал свое войско, присоединя к оному подвластных ему киргизцов, пошел против кокандцев».[2] Подойдя к пределам Ходжента, где находился в это время особый правитель, Юнус-ходжа заключил с ним, по словам того же автора, союз, целью которого являлись совместные действия против общего врага — кокандского хана.[3]

Ферганские авторы, не упоминающие о заключении союза между Юнус-ходжой и ходжентским правителем, рассказывают о походе ташкентцев следующим образом.

Надумав овладеть Кокандом, Юнус-ходжа собрал войско из казахов и направился «кураминской дорогой» в Фергану. Перевалив через горы, ташкентцы подошли к Ашту, расположенному километрах в 15 от Сыр-дарьи по ее правому берегу, несколько севернее переправы у Гурум-сарая (в районе Коканда).[4] Получив сведения о движении ташкентцев, Алим-хан приказал Раджабу-диванбеги, отправленному им в это время для осады Ходжента, выступить для отражения наступающего неприятеля.[5]

Кокандские войска незаметно для своего противника переправились на правый берег Сыр-дарьи у Гурум-сарая и неожиданно напали на ташкентцев, направлявшихся в это время к переправе. Описывая ход сражения под Гурум-сараем, мулла Нияз Мухаммед[6] называет войска Юнус-ходжи «войском Дашт-и-кипчака» и говорит собственно только о казахах,

[1] Ср. по этому поводу «Протоколы», цит. соч., стр. 107, примеч. 21.

[2] Вестн. Русск. Геогр. общ., цит. соч., стр. 23. Возвратился Юнус-ходжа из своего ферганского похода в сентябре (см. цит. выше «Сибирский вестник», издававшийся Григорием Спасским, 1818 г., ч. IV, СПб., 1819, стр. 124—125). Ни Наливкин, ни другие авторы, говорящие в своих работах, между прочим, и о данном событии, не касаются вопроса о его дате. В ферганских источниках этот вопрос также обходится молчанием, если не считать одной посторонней приписки в ркп. С 470 (л. 372б), согласно которой это событие могло произойти около 1221 (1806—1807 г.), что, однако, целиком опровергается приведенными выше словами современника и очевидца событий — Поспелова.

[3] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, лл. 370б — 371а, ркп. Д 90, л. 270а. Наливкин (стр. 81), а вслед за ним и другие авторы (Протоколы, стр. 107), между прочим, неосновательно утверждают, что командование ташкентским войском было передано Юнус-ходжой своему сыну Хашим-ходже.

[4] Ашт нанесен на 40-верстную карту.

[5] Мунтахаб-ат-таварих, С 470, л. 371а.

[6] Тарих-и-Шахрохи, цит. изд., стр. 59—61.

из чего можно заключить, что прочие национальности, населявшие Ташкент и его район, в битве при Гурум-сарае не участвовали вовсе. Среди казахских племен, находившихся в это время в составе войск Юнус-ходжи, отдельно упоминается племя санычклы, игравшее, судя по словам автора, наиболее активную роль.

Выстроив свои ряды против войска Раджаба-дивинбеги, казахи вступили в сражение, будучи, по словам автора, введены в заблуждение Юнус-ходжой, уверявшим их будто бы в том, что кокандцы сопротивляться им не намерены и что, наоборот, они даже ждут их, чтобы с их помощью освободиться от своего хана.

Услышав, однако, стрельбу кокандских пушек и увидев большое приближающееся кокандское войско, казахи, по словам историка, почувствовали себя обманутыми, хотя и не покинули поля сражения. После длительного и упорного боя кокандцам удалось разъединить силы противника на две части, каждая из которых подвергалась нападению со всех сторон. Увидя, наконец, бесполезность дальнейшего сопротивления, «войска Дашт-и-кипчака» пустились в бегство.[1] Юнус-ходжа бежал с несколькими своими приближенными в Ташкент, бросив свое имущество и казну.[2]

Жители кишлаков, через которые бежали разбитые казахи, отнимали у последних лошадей и даже одежду. Часть беглецов попала в плен и была направлена в ханскую ставку. Здесь их кое-как одели и направили в столицу ханства на потеху праздной толпе, а затем посадили в тюрьму.[3]

Возвратившись после победы над Юнус-ходжой в Коканд, Алим-хан роздал здесь награды своим войскам и их начальникам.[4]

Таким образом рассказы ферганских историков, особенно Нияз Мухаммеда, показывают, что единственной военной опорой Юнус-ходжи в его борьбе с Кокандом являлись казахи, составлявшие основной контингент его вооруженных сил.

Естественно поэтому возникает вопрос, каким путем было достигнуто привлечение такой значительной массы казахских наездников на сторону вполне чуждого, если не враждебного им ташкентского правителя. Прямого ответа на этот вопрос в наших источниках не встречается; однако

[1] Там же, стр. 61—62.

[2] Там же, цит. место, а также Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 372а, Д 90, л. 270а.

[3] Там же, стр. 63.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 372б, ркп. Д 90, л. 271а. По словам Поспелова (Вестник, цит. соч., стр. 23) сражение между кокандцами и ташкентцами ограничилось перестрелкой через реку (Сыр-дарью), которую будто бы ни та, ни другая сторона «по неискусству своему» не решилась форсировать.

едва ли можно сомневаться в том, что существенную роль в этом деле могли сыграть бии, батыри и прочие представители казахской феодально-племенной знати, получившие в результате указанных выше мероприятий со стороны Юнус-ходжи (ликвидация ханской власти и пр.) значительную независимость в деле управления подчиненными им родами и поэтому охотно поддерживавшие влияние и власть ташкентского правителя.[1]

Неудача такой опасной авантюры, какой являлся ферганский поход 1800 г., имела, как мы видели, чрезвычайно болезненные последствия для казахского ополчения и, несомненно, должна была нанести сокрушительный удар и без того шаткому влиянию Юнус-ходжи и его помощников в казахских районах.

Отсутствие поддержки со стороны казахов не могло, в свою очередь, не отразиться на упадке военной мощи Ташкентского государства и делало его легкой добычей кокандских завоевателей. Дальнейшая история Ташкента на протяжении первого десятилетия XIX в. по существу является историей постепенного завоевания его кокандцами.

Дальнейшие события политической жизни Кокандского ханства, последовавшие непосредственно за неудачным походом Юнус-ходжи, связаны, главным образом, с военными мероприятиями Алим-хана против Ходжента и Ура-тюбе.

Завладев через некоторое время Ходжентом, хан начал войну с Бухарой, покровительствовавшей в это время ура-тюбинским правителям. Главную роль в Ура-тюбинском районе играла феодально-племенная знать узбекского племени юз, примыкавшая, смотря по обстоятельствам, то к Бухаре, то к Коканду и, пользуясь существовавшими между этими государствами противоречиями, остававшаяся фактически независимой. Именно этим обстоятельством можно объяснить тот странный на первый взгляд факт, что Алим-хан, за сравнительно недолгий промежуток своего царствования, вынужден был совершить против Ура-тюбе 12 или 15 походов,[2] не давших, впрочем, решительных результатов.

Хронология описываемых походов до сих пор остается не установленной. Говоря об одном из первых походов Алим-хана против Ура-тюбе, происходившем, повидимому, около 1800 г.,[3] Наливкин сообщает, что событие

[1] В одном из казахских народных преданий сохранились имена казахских предводителей, участвовавших вместе с своими племенами в войнах на стороне Юнус-ходжи. См. Диваев, цит. соч., стр. 151.

[2] Наливкин, цит. соч., стр. 88.

[3] Источники говорят об этом событии непосредственно за описанием ферганского похода Юнус-ходжи.

это происходило в 1224/1809 г.,[1] совершенно упуская при этом из виду, что 1224 г. х. является годом смерти Алим-хана.[2]

Один из следующих походов Алим-хана против Ура-тюбе Наливкин относит к 1225/1810 г., когда, следовательно, Алим-хана не было уже в живых. К «посмертной» же деятельности Алим-хана Наливкиным отнесены все прочие его многочисленные походы и выступления, продолжавшиеся, по словам этого автора, до 1232/1816 г.[3]

Пока Алим-хан совершал свои ура-тюбинские походы, из Ташкента были получены сведения о том, что Юнус-ходжа умер.[4] Считая создавшийся момент, повидимому, благоприятным для завоевания Ташкента, Алим-хан решается направить туда свои войска. Наливкин сообщает, что сначала хан собирался выступить лично, но затем, «опасаясь оставить Фергану», передает начальствование над войсками своему брату Омару.[5] Последнее же известие подтверждается и кокандскими историками Мухаммед-хакимом[6] и Аваз Мухаммедом,[7] за исключением муллы Нияз Мухаммеда, приписывающего Алим-хану, повидимому, личное участие в данном походе.[8] Следует, впрочем, заметить, что последний из названных историков, написавший свое сочинение уже в 1871 г., не может претендовать на достаточный авторитет в сравнении с более ранними авторами, особенно в определении хронологии и порядка происходивших при Алим-хане событий,[9] а потому привлекается нами лишь в связи с множеством сообщенных им интересных деталей, знакомство с которыми он мог, повидимому, приобрести главным образом из рассказов современников и очевидцев описываемых событий.

Впрочем, на основании такого же рода устных сообщений об этих событиях писали, как мы уже знаем, и другие, более ранние ферганские авторы.

[1] Наливкин, цит. соч., стр. 83.

[2] Histoire de l'Asie Centrale. Texte, p. 99; также Лэн-Пуль, цит. соч., стр. 237.

[3] Наливкин, цит. соч., стр. 101. Автор цитированной в «Протоколах» статьи прекращает свой пересказ книги Мунтахаб-ат-таварих на взятии Алим-ханом Ходжента, не называя каких-либо дат.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. Д 90, л. 152б.

[5] Наливкин, цит. соч., стр. 86.

[6] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 378а и сл., ркп. Д 90, л. 152б.

[7] Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 105а.

[8] Тарих-и-Шахрохи, цит. изд., стр. 66 и сл.

[9] Хотя, как мы уже видели выше, Нияз Мухаммед является в то же время единственным автором, дающим верную дату вступления на престол Алим-хана.

IV

Став во главе назначенных к походу войск, Омар-бек двинулся на Ташкент, следуя через Кураму и долину (чулге) Ангрена. На рассвете следующего дня кокандцы переправились через р. Чирчик[1] и принялись грабить и избивать окрестное население. Часть жителей была захвачена в плен.[2]

В Ташкенте в это время вместо умершего Юнус-ходжи правил сын его Султан-ходжа. Набег кокандцев застал правителя, повидимому, врасплох. В кокандский лагерь был прислан посол для мирных переговоров. Омар-бек изъявил согласие на мир и направил в город своего представителя. Вскоре, однако, Султан-ходжа переменил свое решение и выступил против Омар-бека с войсками. Исход сражения оказался для ташкентцев неблагоприятным: Султан-ходжа был разбит и попал в плен. Движение кокандцев на город заставило жителей взяться за защиту. Во главе власти был поставлен брат Султан-ходжи — Хамид-ходжа.[3]

Узнав о приготовлениях ташкентцев и не решившись, повидимому, штурмовать город, Омар-бек направился на крепость Нияз-бек, выстроенную на Чирчике у того места, где берет свое начало главная водная магистраль Ташкента — арык Боз-су, питающая город водой. Завладев Нияз-беком и лишив таким образом Ташкент воды, кокандские войска снова подошли к городу, оставив в завоеванной крепости небольшой гарнизон.[4]

Ташкентцы снова выслали послов с выражением своей покорности. В результате начавшихся переговоров Омар-бек согласился оставить во главе города Хамид-ходжу, после чего направился с своими войсками через Кураму в Коканд.[5]

Рассматривая приведенные сообщения историков о ташкентском походе Омар-бека, нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что сведения о казахах и их участии в данных событиях совершенно отсутствуют, несмотря на то, что путь кокандской армии шел через Кураму и другие районы, занятые в большинстве казахами.

[1] В тексте «Чилчик». Иногда произносилось также Сырчик.

[2] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 378а-б; также Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 105а.

[3] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 379а-б.

[4] Там же, л. 380а, также ркп. С 440, л. 107б.

[5] Там же, л. 380б (упоминается о движении через Кереучи). Сообщение Наливкина (цит. соч., стр. 87) о том, что Омар-хан (тогда еще бек) «вступил в Ташкент», источниками не подтверждается.

Совершенно очевидно, что казахи в описываемых событиях не играли сколько-нибудь заметной активной роли, иначе об этом кокандские историки не могли бы умолчать. Следует таким образом полагать, что существовавший при Юнус-ходже политический контакт между казахами и правителями Ташкента был затем нарушен, возможно вследствие неудачи ферганского похода 1800 г. и обнаружившейся вслед за этим слабости сыновей и преемников ходжи Юнуса.

Лишившись поддержки окружающей казахской периферии, Ташкент не мог оказать серьезного сопротивления кокандским войскам и должен был, судя по словам ферганских историков, стать на положение полунезависимой области Кокандского ханства. Насколько беспомощен был Хамид-ходжа без поддержки окружающей казахской периферии, видно из того, что оставленный Омар-беком в Нияз-беке небольшой кокандский гарнизон имел возможность в продолжение длительного срока не только удерживать за собою крепость, но и совершать нападения на самый город Ташкент, наводя ужас на его жителей, и без того страдавших от безводья.

Такое положение продолжалось, по словам Аваз Мухаммеда, в течение семи лет, пока Ташкент не был окончательно завоеван Алим-ханом и в город не была снова пущена вода.[1] С какого именно момента ведется этот счет, из слов историка выяснить не удается. В связи с этим обстоятельством не представляется возможным определить и дату описанного похода Омар-бека на Ташкент. Для характеристики путаницы, существующей среди ферганских историографов в части хронологии, следует отметить, что двое из цитируемых нами авторов (Мухаммед-хаким и Аваз Мухаммед), заканчивая описание похода Омар-бека на Ташкент, в той же главе рассказывают о событиях 1220 (1805—1806) г.,[2] из чего, казалось бы, следует заключить, что и описанный ими на той же странице поход должен был состояться в том же 1220 г. х. Принявши эту дату и вспомнив о семи годах, прошедших, по словам Аваз Мухаммеда, со времени похода Омар-бека до окончательного завоевания Ташкента Алим-ханом, мы получим 1812/13 г., когда Алим-хана в действительности уже не было в живых.

В такой же мере неясной остается в литературе и дата окончательного подчинения Ташкента и связанных с ним казахов Алим-ха-

[1] Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 112. О семилетних бедствиях ташкентцев автор говорит и в дальнейшем своем изложении.

[2] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 380б (дата вписана другой рукой); Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 108б.

ном, относимого различными исследователями к периоду между 1803[1] и 1815 гг.[2]

Не пытаясь в данном месте окончательно разрешать неясные вопросы хронологии, остановимся сначала на изложении фактических данных, какие сообщаются о завоевательном походе Алим-хана ферганскими авторами. Наиболее подробные сведения по этому вопросу сообщаются автором Тарих-и-Шахрохи, Нияз Мухаммедом, до сих пор не вызывавшим к себе достаточного внимания со стороны исследователей.

Прежде чем приступать к изложению рассказа Нияз Мухаммеда, необходимо привести сообщения Мухаммед-хакима, как автора более раннего, а потому заслуживающего нашего внимания в первую очередь. К сожалению, рассказ Мухаммед-хакима отличается чрезмерной краткостью, как, впрочем, и большинство его сообщений, относящихся к интересующему нас вопросу.

Вследствие того (говорит наш автор), что Хамид-ходжа, оставленный Омар-беком в качестве правителя Ташкента, не проявил достаточной почтительности по отношению к Алим-хану, последний собрал многочисленное войско и направился с ним против Ташкента. Когда кокандские войска прибыли в Кураму и направились дальше в Ташкент, Хамид-ходжа, убедившись в невозможности сопротивления, бежал в Бухару.[3] Алим-хан вошел в город, где войска его занялись грабежом и уничтожением жителей. Через день, когда хан запретил грабеж, «население успокоилось».[4] После этого Алим-хан вызвал к себе начальствующих лиц города (калян) и выдал им награды, а затем распорядился пустить в Ташкент воду, «которой не пускали сюда в течение семи лет».[5]

Подчинив себе весь Ташкентский вилайет, Алим-хан «оказал милости его населению» и ушел обратно, оставив в городе гарнизон во главе с Сейид Али-беком и некоторыми другими эмирами.[6]

Разумеется, этих данных слишком недостаточно для того, чтобы уяснить до некоторой степени ту конкретную обстановку, в какой происхо-

[1] Вестн. Русск. Георг. общ., цит. вып., стр. 55.

[2] Протоколы заседаний и сообщения членов Турк. кр. любит. археолог., год IV, Ташкент, 1899, стр. 84—85.

[3] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 385а-б, ркп. Д 90, л. 281б—282а; также Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 113а. В последних двух сочинениях указывается, что Хамид-ходжа бежал после того, как сразился с кокандскими войсками и потерпел от них поражение.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 385б.

[5] Тухфет-ат-таварих-и-хани, цит. рук., л. 113б.

[6] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. 470, л. 386а, ркп. Д 90, л. 161б—162а; тоже у Аваз Мухаммеда, цит. ркп. С 440, л. 113б.

лило завоевание Ташкента и его области, вообще и, в частности, роль в этом деле казахов.

Некоторые из интересующих нас подробностей встречаются в сочинении Нияз Мухаммеда. В силу отдаленности своей от описываемых событий Нияз Мухаммед допускает ряд анахронизмов, считая, напр., что Юнус-ходжа был еще жив при завоевании Ташкента Алим-ханом, или приписывая Алим-хану взятие крепости Нияз-бека, что, по словам других историков, было совершено уже при походе Омар-бека. Впрочем, о последнем походе Нияз Мухаммед не упоминает вовсе. Учитывая все эти недостатки, следует все же отметить, что сообщение Нияз Мухаммеда в целом не противоречит другим, более ранним известиям, дополняя их вместе с тем целым рядом подробностей, чрезвычайно характерных для понимания той обстановки, в какой развертывались интересующие нас события. Некоторые из сообщаемых автором деталей, указывая на обширное знакомство автора с различными сторонами описываемой им эпохи, находят то или иное подтверждение в словах других известных нам историков; другие являются новыми и могут служить исходным материалом для дальнейших исследований по тем или иным отдельным вопросам.

Прежде чем выступить на завоевание Ташкента, Алим-хан, по словам Нияз Мухаммеда, предпринял экспедицию против Курамы, задачей которой (экспедиции) являлось, повидимому, обеспечение тыла на случай дальнейшего развертывания военных действий в Ташкенте.

Прибыв с войсками в Кумыш-курган, хан направил часть своих отрядов к перевалу Кендыр-даван, а сам с главными силами двинулся к Самгару.[1] Отправив отсюда часть войск по направлению к Он ики буйнак («12 буйнаков»), хан прошел через Уч и остановился в Булаке, где, повидимому, проходила южная граница Кураминской области. Отсюда большую часть своих войск хан отправил в Кураму с приказанием грабить и уничтожать все, что попадется на пути. Когда вся область была разграблена, Алим-хан собрал свои войска и пришел в Кяриз.[2] Сюда к хану явились представители всех кураминских селений с подарками и выражением своей покорности. Хан выдал явившимся аксакалам и биям милостивые грамоты (инаетнамэ), запретив войскам дальнейшие грабежи (чапаул). Забрав часть местных жителей в свои войска, кокандцы двинулись затем на крепость Кереучи, не пожелавшую подчиниться им добровольно. В то время когда хан занимался осадой крепости, к нему привели аксакалов и биев со всех

[1] Тарих-и-Шахрохи, цит. изд., стр. 65.
[2] Там же, стр. 66.

концов Кураминской области. Алим-хан приказал выдать явившимся награды и одновременно предписал доставить к нему ополчение (кыл-куйрук)[1] из всех подвластных им районов.[2]

Описывая далее осаду крепости Кереучи, Нияз Мухаммед рассказывает о постройке кокандцами со всех ее сторон серкубов,[3] с высоты которых осаждающие стреляли по осажденным. Не выдержав, наконец, огня, защитники Кереучи просили пощады и сдали крепость.

Подчинив таким образом себе Кереучи, Алим-хан мог считать себя полным хозяином в Кураминском районе и получил свободный доступ к Ташкенту. Считая, повидимому, захваченную в Кураме добычу недостаточной, Алим-хан отправил по разным направлениям 12 тысяч своих войск с тем, чтобы они «до конца» произвели грабежи и опустошения и тем самым «удалили из сердца жителей всякие мятежные мысли». Грабеж продолжался в течение 4—5 дней. Казахи и прочие кочевники на всем пространстве от Курамы до Ташкента и даже Чимкента (?) лишились, по словам автора, своего скота, целиком забранного у них кокандцами.[4]

Произведя раздел доставленной войсками добычи и назначив свой гарнизон в Кереучи, хан ушел в Коканд, с намерением снова вернуться в завоеванную им область через двадцать дней.[5]

По возвращении в столицу хан приказал своим войскам в течение назначенного двадцатидневного срока усиленно кормить лошадей, а затем, усилив свои войска новыми ополчениями, снова подошел к границам Курамы, чтобы и здесь собрать вспомогательные войска. Навстречу хану прибыл с подарками правитель Кураминской области с главными биями, аксакалами и прочими местными начальниками. Хан вскоре же отпустил прибывших обратно.[6] Оставив в Кяризе артиллерию и заехав на два дня в Кереучи, кокандцы забрали с собой местное ополчение (кыл-куйрук) и прибыли в Той-тюбе,[7] где, по словам Нияз-Мухаммеда, хан оставил свой гарнизон еще во время первой своей экспедиции против Курамы.[8]

[1] Обычный термин ферганских авторов. В Бухаре и Хиве вместо этого термина употреблялось выражение «кара-чирчик».

[2] Там же, цит. место.

[3] Искусственные сооружения, командующие над крепостью.

[4] Тарих-и-Шахрохи, стр. 69. Здесь же автор говорит о взятии кокандцами крепости Нияз-бека и об оставлении там кокандского гарнизона, что, как мы уже видели, должно быть отнесено к предшествующей экспедиции Омар-бека.

[5] Там же, цит. место.

[6] Там же, стр. 70.

[7] Известное большое селение километрах в 40 к югу от Ташкента.

[8] Тарих-и-Шахрохи, стр. 69.

Когда ташкентцы услыхали о приближении кокандских войск, они принялись, по словам нашего автора, прежде всего закапывать в землю свое имущество и ценности, чтобы не лишиться их при нападении неприятеля.

Аксакалы, агалыки и арбабы[1] города начали суетиться, сгоняя народ (фукара) к крепостным стенам. Тревога ташкентцев описывается нашим автором необычайно яркими красками. В городе наступила анархия и паника. Все от страха потеряли рассудок. Запасов продовольствия в городе не оказалось, подвоз продуктов из окрестностей в связи с закрытием ворот прекратился. Голодные дети бродили по улицам, прося хлеба.

Тем временем Алим-хан, знавший о тревожном настроении большинства городских жителей, подошел с своей артиллерией к Куйлюку.[2]

Все казахи и оседлые окрестные жители подвергались поголовному ограблению и насилию со стороны ханских войск.

Подобно большинству среднеазиатских городов, Ташкент в рассматриваемое время был окружен глинобитной стеной, высота которой достигала, по словам Поспелова,[3] 26 фут., а толщина внизу 6 и вверху 3 фут. Окружность стены тот же путешественник определяет в 18 верст. В стене имелось 6 ворот. Рва с наружной стороны стены не было. Несмотря на внушительную свою высоту, стена по своему устройству и качеству материала, а также в связи с множеством имевшихся в ней расселин и трещин, не могла представлять серьезной защиты против кокандцев, располагавших некоторым количеством артиллерии.

Прибыв на берег Салара, Алим-хан приказал своим артиллеристам[4] приступить к обстрелу двух ворот, находившихся с южной стороны крепости. Остальные войска обложили город со всех сторон.

Артиллерийский обстрел продолжался около двух суток, в течение которых ханские войска, «многочисленные, как воды Нила», подошли вплотную к городу.[5] Из дальнейших слов автора видно, что одновременно с артиллерийской подготовкой, кокандскими войсками велись и подкопы и подрывные

[1] О значении должности аксакалов в Ташкенте см. «Вестник», цит. соч., стр. 32; также Гейнс, А. К. «Собрание литературных трудов», т. II, СПб., 1898, стр. 456 и сл. Упоминаний о должностях агалыка и арбаба в Ташкенте в литературе, повидимому, не встречается.

[2] Тарих-и-Шахрохи, стр. 71. Куйлюк (собств. Койлюк) — местность на р. Чирчик, в 8 км к югу от города.

[3] Вестник Русск. Геогр. общ., цит. вып., стр. 27.

[4] В тексте стоит: «Таджик вэ бек баче». По поводу этих терминов см. ниже.

[5] Тарих-и-Шахрохи, стр. 72. При описании действий кокандской артиллерии автор сообщает ряд невстречающихся в других сочинениях специальных названий, относящихся к различным типам орудий и фальконетов.

работы. При помощи лопат (бель), топоров (табар) и мотык (кулянд) кокандцы произвели подкопы в городской стене и наполнили их нефтью (нафт)[1] и порохом (дару). Когда все подготовительные работы были закончены, по данному сигналу был произведен одновременно взрыв заложенных зарядов и залп из всех орудий. Земля городских стен, по словам историка, взлетела на воздух, смешавшись с тучами порохового дыма.[2] Как только раздался залп и гул взрыва, кокандские войска с неистовыми криками бросились сквозь образовавшиеся бреши внутрь города. Начался поголовный грабеж.[3]

На следующий день Алим-хан лично вступил в город.[4] Выбрав из числа знатных и влиятельных жителей города заложников (ак-уйлюк) и отправив их в свою столицу Коканд, хан приступил к «наведению порядка» в окружающих город казахских районах. Для этой цели он вызвал из степи всех казахских биев и подверг их соответствующим взысканиям, после чего снова назначил их «по прежнему обычаю» биями среди отдельных казахских племен и отпустил по местам. Через месяц Алим-хан отправился в обратный путь, оставив в Ташкенте своего начальника, носившего титул лешкер-диванбеги.[5]

Сопоставляя приведенный рассказ Нияз Мухаммеда с изложенным выше кратким сообщением Мухаммед-хакима, мы не наблюдаем среди них существенных расхождений в описании общего хода событий. Исключив некоторые, уже отмечавшиеся выше анахронизмы в рассказе Нияз Мухаммеда, а также отдельный эпизод, связанный с кураминским походом Алим-хана, мы должны будем убедиться, что оба автора говорят об одном и том же, различаясь лишь по степени подробности своего рассказа. Несмотря на наличие ряда интересных деталей в рассказе Нияз Мухаммеда, мы у него также, к сожалению, не встречаем ни даты похода, ни каких-либо достаточно подробных указаний на действия кокандского войска вне пределов Ташкента, хотя сам автор в дальнейшей части своего сочинения говорит о завоевании Алим-ханом «Ташкентской области вместе с казахами и оседлым населением».[6] Отсутствие последнего рода данных особенно

[1] Литературные данные о добыче и использовании нефти в Кокандском ханстве см. Иванов, П. П., «К истории развития горного промысла в Средней Азии», Лгр., 1932, стр. 52—53.

[2] Тарих-и-Шахрохи, стр. 73.

[3] Здесь же автор говорит о бегстве правителя, называя вместо Хамид-ходжи отца его Юнус-ходжу.

[4] Там же, стр. 74.

[5] Там же, стр. 75.

[6] Тарих-и-Шахрохи, стр. 75.

досадно потому, что Мухаммед-хаким также говорит о завоевании Алим-ханом «всего Ташкентского вилайета», в состав которого, как нам уже известно, входила территория почти всей Старшей (Большой) казахской Орды.

Насколько непрочны были завоевания Алим-хана в казахских районах, отчасти видно из дальнейших повествований ферганских историков, рассмотрение которых мы продолжим.

Несмотря на необычайно важные последствия, какие имело в дальнейшем завоевание Ташкента для Кокандского ханства, на первых порах этот крупный шаг остался в Фергане, повидимому, незамеченным. По крайней мере, местные историки не говорят об этом. Постоянные внешние войны, которые вел Алим-хан на всем протяжении своего царствования, создали в стране чрезвычайно напряженную обстановку и ухудшили и без того тяжелое положение широких масс населения.

Укрепляя свое положение, как главы государства, Алим-хан должен был вести упорную борьбу с узбекской феодальной знатью и духовенством, игравшими до сих пор весьма видную роль во внутренней жизни ханства. Понеся поражение в открытой борьбе с ханом, феодальные элементы вынуждены были перейти частью на положение «служилых людей», частью эмигрировать в Бухару, не оставляя, однако, надежды восстановить свое положение. Чувствуя непрочность своей власти, хан окружил себя горцами-таджиками («гальча»), выходцами из Дарваза, Каратегина, Шугнана и других горных районов.[1] Являясь постоянно в Фергану в поисках заработка, таджики-горцы охотно избирали военное дело в качестве своей профессии, составляя главное ядро ханской армии, в первую очередь ее артиллерийские части.[2]

Несмотря на понесенный разгром, феодальные элементы не складывали оружия, объединяясь постепенно вокруг Омар-бека, родного брата Алим-хана и подготовляя таким образом почву на случай своего выступления.

[1] Наиболее подробные данные о таджикской гвардии (гулям) Алим-хана сообщает Нияз Мухаммед, упоминающий также о выходцах из Бадахшана, Гунта, Вахана (вахыячи) и даже Читрала (см. «Тарих-и-Шахрохи», стр. 42—43 и сл.). О привязанности Алим-хана к таджикам упоминают также Мухаммед-хаким (см. «Мунтахаб-ат-таварих», ркп. С 470, л. 391а), а также Аваз-Мухаммед. См. «Тухфет-ат-таварих-и-хани», ркп. С 440, л. 122б, 124б, где упоминаются иранцы (ирани), читральцы и таджики. Среди ханских гулямов находились, на ряду с свободными (азад), также рабы (бэндэ).

[2] Нияз Мухаммед в одном месте своего сочинения (стр. 43) говорит о 3700 таджик ких воинов, находившихся на службе Алим-хана. Таджиков же (таджик вэ бек-баче) автор всюду упоминает в качестве артиллеристов.

Помимо общего недовольства со стороны населения, вызывавшегося, как отмечалось уже выше, тяжелыми поборами и постоянными внешними войнами, хан не пользовался популярностью в массах также благодаря множеству чинимых им насилий над населением, что отмечается не только местными, но и бухарскими историками.

Жестокость Алим-хана, по словам его современника Абдул-Керима Бухарского,[1] была неимоверна и доходила даже до того, что подданные лишились возможности распоряжаться своими дочерьми: хан отнимал их и распоряжался ими по своему усмотрению. Вопли угнетенных (говорит тот же историк) достигали высот Сатурна; все просили бога послать на хана смерть.

При таких условиях подготовлявшийся заговор против хана мог рассчитывать на успех и привлекал к себе значительное число сторонников из феодальной знати и высшего духовенства, избравших, как уже указывалось, центральной фигурой Омар-бека.[2]

Зная о намерениях заговорщиков, Алим-хан не предпринимал, однако, против них каких-либо решительных мер. Можно даже думать, что хан вообще не склонен был придавать заговору серьезного значения, полагаясь, повидимому, на верность своей иноземной гвардии. В этом убеждают нас отчасти слова Нияз Мухаммеда, который рассказывает о том, что Алим-хан, после завоевания Ташкента, обдумывал план войны с Россией,[3] к чему неизбежно должно было привести (и впоследствии привело) предпринятое кокандскими ханами завоевание казахских степей.[4]

В связи с военными планами Алим-хана Нияз Мухаммед говорит и об отправке в Россию уже упоминавшегося выше ханского каравана, в задачу которого как-будто могло входить также собирание сведений о районе будущих военных действий с русскими.

В это же время хан получил от своего ташкентского наместника Сейид Али-бека известие о том, что казахи отказываются платить установленный для них закят (со скота) и харадж (с посевов), вследствие чего наместник просил выслать соответствующую вооруженную силу для наказания возмутившихся.[5]

1 Histoire de l'Asie Centrale etc., texte, p. 96.

2 Некоторые подробности по этому вопросу см. Наливкин, цит. соч., стр. 96.

3 Тарих-и-Шахрохи, стр. 75—76.

4 Следует, конечно, иметь в виду, что движение кокандцев в казахские степи с юга началось уже в то время, когда были заложены так называемые линии, Сибирская и Оренбургская, послужившие впоследствии исходной базой для царского завоевания тех же степей с севера.

5 Мунтахаб-ат-таварих, ркп. Д 90, л. 162 б. Данное место рукописи представляет собою, повидимому, одно из дополнений, сделанных переводчиком, так как в персидском

Несмотря на явные признаки брожения среди приближенных и недовольство населения вообще, хан собрал войска и в начале февраля (1809)[1] выступил в Ташкент.

Проследовав, по обыкновению, через Кураму и Той-тюбе, хан задержался на некоторое время для охоты на Чирчике, после чего вступил в Ташкент.

Попутно следует отметить, что приемы, употреблявшиеся среднеазиатскими ханами для наказания кочевников, попавших на положение неаккуратных плательщиков закята, отличались вообще необычайной жестокостью. Для примера можно сослаться на современника Алим-хана, бухарского эмира Хайдера (1800—1826), который дает одному из своих провинциальных правителей по этому поводу следующие наставления: «приложите старание собрать закят там, где он еще не собран. Против тех, кто вам положенный закят отказывается давать, употребите военные действия, набеги и баранту, и все-таки получите закят. Ни в коем случае нельзя оставить закят невзысканным».[2]

Несмотря на сравнительно скромные нормы, в каких определен закят по шариату (обычно 1/40 от стоимости имущества), налог этот являлся для скотоводов чрезвычайно тяжелым, так как сбор его производился вне какого бы то ни было контроля со стороны административных центров и носил обычно характер массового вымогательства и грабежа, преследовавшего цель личного обогащения чиновников (закятчи). Жестокости и насилия, чинившиеся ханскими агентами (иногда откупщиками), были настолько велики, что нередко вызывали за собою восстания кочевников против ханской власти, подавлявшиеся обычно вооруженной силой.[3]

Таковы, напр., восстания туркмен против хивинских и иранских правителей в XVI—XIX вв., а также каракалпаков в 1827, 1855 гг. против Хивы и ряд других.

Судя по той поспешности, с какой Алим-хан, несмотря на суровую зиму, выступил на этот раз, можно было бы полагать, что среди казахов

подлиннике оно отсутствует, по крайней мере в нашей рукописи С 470. Последовавший вскоре поход Алим-хана в Ташкент для наказания казахов в указанной рукописи (С 470, л. 393б) назван «беспричинным» (бисабаби), что, конечно, следует признать весьма сомнительным.

[1] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, цит. место. Нияз Мухаммед говорит о середине января (Тарих-и-Шахрохи, стр. 76); относительно года см. ниже.

[2] Изв. Среднеаз. отд. Гос. Русск. Геогр. общ., т. XVIII, Ташкент, 1928, стр. 23 (статья В. Л. Вяткина).

[3] Жестокости эти были настолько велики, что вызывали осуждение даже со стороны самих среднеазиатских правителей, боявшихся возмущений со стороны разоренного населения. См., напр., цит. ст. Вяткина, стр. 24.

происходили серьезные волнения, требовавшие немедленно применения вооруженной силы. Однако обстановка, в какой совершилось передвижение кокандских войск к Ташкенту, ни в коей мере не подтверждает такого предположения. Приближаясь к Ташкенту, хан устраивает большую охоту на Чирчике, что вряд ли было бы возможно, если бы речь шла о серьезных волнениях.

Тем не менее Алим-хан по прибытии в Ташкент посылает своих начальников Ирис-кул-бия и Джума-бая Кайтаки с войсками в казахские районы, приказав им произвести поголовный грабеж и избиение жителей.[1] По Нияз Мухаммеду, хан послал войска в Дашт-и-кипчак для завоевания Чимкента и Сайрама.[2]

Несмотря на стоявшие жестокие холода, войска выступили в степь. Район действия кокандских войск указывается только Нияз Мухаммедом. Мухаммед-хаким и зависящий от него Ашур Мухаммед глухо говорят о «казахских улусах» вообще.

Избрав центром своих действий Чимкент и Сайрам, кокандские войска рассыпались, по словам Нияз Мухаммеда, на пространстве от Ташкента до Туркестана и Аулие-Ата (ныне г. Мирзоян), подвергая грабежу и уничтожению находившихся здесь казахов. Одновременно производилась также осада Чимкента. Кокандцы обложили город со всех сторон и стали обстреливать его из фальконетов. Успеху осадных работ мешали стоявшие в это время сильные холода.[3] Значительное число кокандцев отморозило себе руки и ноги. В войсках начался заметный ропот; многие, в том числе и известные своей верностью хану таджики, открыто выражали свое недовольство. Сердца их, по образному выражению историка, стали холодными, как зима в Дашт-и-кипчаке, и отвратились от хана.[4] Опустошения, нанесенные кокандскими отрядами в казахских районах, были неисчислимы. Часть казахов была перебита, часть забрана в плен, имущество было разграблено до последней тряпки,[5] так что, по выражению Аваз Мухаммеда, казахам нечем даже было прикрыть свое грешное тело.[6] Часть казахов, впрочем, успела откочевать в отдаленные районы, избавившись таким образом от грабежей и насилия.

[1] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 394а; также см. ркп. С 440, 121б. Абдул-Керим Бухарский (цит. соч., стр. 96) утверждает, что войска были посланы под командованием брата Алим-хана, Омар-бека.

[2] Тарих-и-Шахрохи, стр. 77.

[3] Там же, цит. место.

[4] Там же, стр. 78.

[5] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 396б, ркп. Д 90, л. 291а.

[6] Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 291а.

Некоторые из казахов просили, по словам Абдул-Керима Бухарского, пощады, принося присягу в верности, вследствие чего они были избавлены от грабежей, ограничившись лишь уплатой податей (бадж).[1]

Считая в конце-концов свою роль выполненной, кокандские войска направились в Ташкент. Алим-хан выслал навстречу возвращающимся Омар-бека с тем, чтобы тот произвел традиционный раздел доставленной войсками добычи. Выполнив возложенное на него поручение, Омар-бек прибыл вместе с главными военачальниками к хану.

Историки сообщают, что, увидя пришедших начальников, хан стал обвинять их в излишней мягкости по отношению к казахам и даже в намеренном нежелании наказать их, как требовалось.[2] Аваз Мухаммед утверждает, что подозрения подобного рода возникли у хана в результате интриг и наговоров со стороны некоторых близких ко двору лиц.[3]

В конце-концов хан потребовал, чтобы Ирис-кул-бий и Джума-бай Кайтаки снова отправились в казахские степи и выполнили данное им поручение до конца.[4]

Приказ хана произвел подавляющее впечатление на войска, нуждавшиеся в длительном отдыхе после чрезвычайно трудного зимнего похода в казахские степи. Все признавали, говорит Абдул-Керим Бухарский, что прежде всего лошади не годятся и требуют отдыха и что, во-вторых, стоит суровая зима и что, наконец, казахи все же мусульмане, притом ни в чем неповинные. Кроме того, было известно, добавляет тот же автор, что казахи уже успели рассеяться по разным закоулкам, горным ущельям и недоступным местам, удаленным от Ташкента на 10 дней пути.[5] Всем было ясно, что новый поход представляет бо́льшую опасность для кокандских войск, чем для казахов.

Создавшаяся обстановка была слишком благоприятна, чтобы ею не воспользовались политические соперники Алим-хана, уже давно выжидавшие удобного случая свести с ним свои счеты. Ирис-кул-бий, Джума-бай Кайтаки, Му'мин-бек, дядя Алим-хана, Мухаммед Риза-бек и другие убедили окончательно Омар-бека собрать вокруг себя войска и отправиться

[1] Histoire de l'Asie Centrale etc., texte, p. 97. Термин «бадж» обычно употребляется в смысле «пошлина».

[2] Там же, цит. место; также Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 397а.

[3] Тухфет-ат-таварих-хани, ркп. С 440, л. 122а.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 397а, ркп. Д 90, л. 291б; Абдул-Керим Бухарский, цит. соч., стр. 97.

[5] Histoire de l'Asie Centrale etc., texte, p. 97.

во главе их в Коканд, чтобы воссесть там на ханский престол.[1] Заговорщики обратились с призывом к войскам, те охотно их поддержали и вместе с ними направились в столицу ханства, где и возвели Омар-бека в ханское достоинство.

Когда Алим-хан узнал о действиях заговорщиков, вокруг него оставалось только около 300 всадников.[2] Часть войск во главе с Зухуром-диванбеги еще продолжала в это время находиться в казахских районах, именно в районе Сайрама, который кокандцы безуспешно продолжали осаждать.[3] Алим-хан послал распоряжение Зухур-диванбеги о том, чтобы тот снял осаду Сайрама и явился в Ташкент. Хан стал усиленно раздавать деньги и подарки всем его окружающим, желая привлечь их на свою сторону.[4]

Таким образом были розданы даже те товары, которые были предназначены ханом для отправки с караваном в Россию.[5] Все было, однако, бесполезно, так как всем было ясно, что дело Алим-хана проиграно. Лишь небольшие остатки иноземной гвардии продолжали еще окружать хана, в то время когда бо́льшая ее часть уже перешла на сторону Омар-бека.[6] Надежды, возлагавшиеся ханом на Зухура-диванбеги, вызванного им из-под Сайрама, также оказались напрасными. Когда эти войска явились в Ташкент, хан убедился, что рассчитывать на их поддержку он также не может.[7] Видя, что он оставлен всеми, Алим-хан с гаремом и небольшой кучкой остававшихся еще при нем гулямов направился по дороге к Коканду, рассчитывая, может быть, на поддержку со стороны населения своей столицы. Дорогой хан был окончательно покинут всеми окружающими и убит сторонниками Омар-хана.[8] Событие это произошло, по словам Абдул-

[1] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 398а; Тарих-и-Шахрохи, стр. 78; Histoire de l'Asie Centrale etc., texte, p. 97.

[2] Histoire de l'Asie Centrale etc., texte, p. 97.

[3] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 399а, ркп. Д 90, л. 293а; Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, л. 124а.

[4] Мунтахаб-ат-таварих, ркп. С 470, л. 399а.

[5] Тарих-и-Шахрохи, стр. 80.

[6] Тухфет-ат-таварих-и-хани, ркп. С 440, лл. 122б, 124б.

[7] Тарих-и-Шахрохи, стр. 80; Мунтахаб-ат-таварих, ркп. 470, л. 399б.

[8] Подробности об этом см. Наливкин, цит. соч., стр. 99—101. В статье, составленной по расспросным данным в 1840 г., о настоящем походе рассказывается следующее: «Желая устроить вновь завоеванные провинции, Алим-хан переехал на некоторое время в Ташкент, где жил на военной ноге, всегда готовый укротить мятеж недовольных жителей. Хищные киргизы (казахи. *П. И.*), кочующие в пределах и на границе этой области, беспрестанно чувствовали тяжесть его руки. Это наскучило кокандцам, утомленным войною, и особенно придворным хана, которые, приобретя богатство, хотели спокойно им пользоваться. Против Алима состоялся (sic!) заговор, имевший целью лишить его жизни и на ханство возвести родного брата его Омара . . .» и т. д. (Зап. Русск. Геогр. общ., кн. 3, СПб., 1849, стр. 192—193).

Керима Бухарского, в 1224 г. х.[1] Касаясь более подробно даты описываемых событий, необходимо отметить следующее: 1224 г. х. начался 16 февраля 1809 г. и закончился 5 февраля 1810 г. В связи с этим возникает вопрос, к какому из этих двух лет следует отнести смерть Алим-хана, а следовательно и все описанные выше события, связанные с его последним походом в казахские степи. Выступление в поход состоялось, по словам Мухаммед-хакима, в начале февраля (см. выше). Если принять во внимание, что путь от Коканда до Ташкента должен был занять не менее 10 дней и что в самом Ташкенте Алим-хан находился во всяком случае не менее месяца, то необходимо признать, что обратное следование хана и смерть его не могли произойти ранее второй половины марта или даже начала апреля. С этой стороны свидетельство Наливкина о том, что хан погиб весной,[2] заслуживает, по нашему мнению, полного доверия. Поскольку это так, смерть хана не могла произойти в 1810 г., так как 1224 г. х. закончился 5 февраля 1810 г. Следовательно, все описанные события произошли в феврале—марте, а смерть хана в марте—апреле 1809 г.

Имея в виду последнюю, твердо установленную дату (1809 г.), возвратимся теперь несколько назад, чтобы попытаться определить год завоевания кокандцами Ташкента, а также дату предшествующего этому событию ташкентского похода Омар-бека. Из рассказа Нияз Мухаммеда видно, что Алим-хан совершил свой последний поход на казахов через год после того как им был завоеван Ташкент,[3] из чего следует заключить, что завоевание этого города произошло в 1808 г.

Если принять далее во внимание двукратное сообщение Аваз-Мухаммеда о том, что занятие Ташкента кокандцами произошло через семь лет после того как сюда совершил свой поход Омар-бек (см. выше), мы должны будем отнести последнее событие к 1801 г.

V

Заканчивая на этом свой краткий очерк кокандско-казахских отношений при Алим-хане, следует в заключение указать, что хотя имеющиеся в нашем распоряжении источники далеко недостаточны для освещения тех или иных отдельных сторон интересующего нас вопроса, однако общая картина происшедшей борьбы изображена ими довольно ясно.

[1] Histoire de l'Asie Centrale, texte, p. 99.

[2] Ср. Наливкин, цит. соч., стр. 101 (автором ошибочно указан при этом 1232/1816 г.).

[3] Тарих-и-Шахрохи, стр. 75.

Разрозненные казахские племена, разбросанные на обширном пространстве современного Южного Казахстана, были слишком слабы, чтобы оказать серьезное сопротивление организованному натиску со стороны кокандских феодалов.

Несмотря на всю разноречивость сообщений ферганских историографов, можно все же полагать, что действия Алим-хана в Ташкентском районе и казахских степях носили, повидимому, строго рассчитанный характер. Постепенно обессиливая и подчиняя своему влиянию Ташкент, Кокандское ханство таким образом закрепляло за собой эту необычайно важную стратегическую базу, необходимую для развития дальнейших своих операций в Дашт-и-кипчаке. Не оказав кокандским войскам достаточного сопротивления под Ташкентом и передав в их руки этот город, казахи оказались затем уже бессильными бороться с дальнейшим продвижением кокандцев в свои степи. Значение Ташкента как первоклассного торгово-экономического центра уже в начале XIX в. было настолько велико, что, завладев этим городом, завоеватели подчиняли своему контролю экономическую жизнь всего окружающего района. К числу прочих городов, с которыми сталкивались казахи в пределах занимавшейся ими территории, относились Чимкент и Сайрам, вместе с казахами отстаивавшие свою независимость от кокандских завоевателей. Наши источники не указывают, к сожалению, каковы были в данный период взаимоотношения между населением указанных двух городских центров и окружающими их казахами. На основании более поздних сведений, приведенных мною в другом месте,[1] можно, однако, утверждать, что эти отношения не могли считаться благоприятными для создания единого фронта против кокандских завоевателей. Отчасти следствием существовавшего антагонизма между местными казахами и узбеками и явилась та легкость, с какой кокандские ханы овладели теми и другими порознь в довольно короткий срок.

К числу преимуществ кокандской армии принадлежала не только ее более высокая организация и централизованное руководство, но и наличие у кокандцев артиллерии, совершенно незнакомой кочевникам и потому производившей на них определенное впечатление.[2]

Говоря о последнем походе Алим-хана против казахов, нельзя не отметить, что совершение его зимой отнюдь нельзя признать фактом

[1] П. П. Иванов. К вопросу об исторической топографии старого Сайрама. Сб. «В. В. Бартольду», Ташкент, 1927, стр. 160.

[2] Замечания о техническом уровне кокандской артиллерии см. «Вестн. Русск. Геогр. общ.» за 1856 г., кн. 5, стр. 115 и сл.

случайным или «беспричинным», как это указывает цитировавшийся выше Мухаммед-хаким. Зима является именно тем временем года, когда кочевники привязаны к своим «зимовкам», теряют свою обычную подвижность и делаются таким образом легко доступными и уязвимыми.

Односторонний характер имеющихся в нашем распоряжении источников, исходящих почти исключительно из правящих кругов Кокандского ханства, не позволяет, к сожалению, судить о всех последствиях зимней экспедиции 1809 г. и о непосредственном влиянии ее на дальнейшую хозяйственно-политическую жизнь казахских племен Старшей (Большой) орды. Возможно, конечно, что и ферганские историки, и Абдул-Керим Бухарский допускают некоторое преувеличение в части действительных размеров бедствий, постигших в это время казахов. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что опустошения, произведенные в указанном году войсками Алим-хана, явились для казахов большим ударом, заметно ослабившим их хозяйственно-политическую мощь и значительно облегчившим собою задачу окончательного подчинения их кокандскими феодалами.

Героическая борьба казахского народа за свою независимость на этом, однако, не закончилась. Она продолжалась при брате и преемнике Алим-хана, Омар-хане (1809—1822), и отчасти возобновлялась на протяжении дальнейших десятилетий, хотя исход ее и был предрешен описанными выше событиями 1800—1809 гг.

В заключение следует отметить, что последствия описанных походов Алим-хана чрезвычайно велики, так как они подготовили почву для кокандской колонизации Южного Казахстана, оказавшей, в свою очередь, значительное влияние на последующую экономическую и политическую жизнь этого края.[1] Нельзя не отметить того обстоятельства, что положение широких масс казахского скотоводческого населения с внедрением владычества кокандского хана в степях значительно ухудшилось. Помимо эксплоатации и гнета со стороны своей собственной феодально-племенной правящей группы, в лице биев, султанов и прочих представителей господствующего класса, масса кочевников стала испытывать также всевозможные притеснения со стороны кокандских правителей. Стремясь к извлечению из вновь завоеванного края возможно бо́льших выгод, кокандские феодалы покрыли все пространство современного Южного Казахстана сетью своих крепостей, под защитой которых развернул свою деятельность ферганский сборщик податей, а вместе с ним и торговец-ростовщик.

[1] Территория современной Киргизской ССР была завоевана кокандцами несколько позже, вследствие чего мы ее здесь не касаемся.

Учитывая выгоды «сотрудничества» с кокандскими феодалами, казахская правящая знать открыто переходила на их сторону и под защитой кокандских гарнизонов производила всевозможные насилия. Поборы кокандских властей и действовавших на их стороне казахских правителей были настолько тяжелы, что нередко вынуждали массу кочевников покидать свои обычные места и откочевывать в отдаленные районы.[1]

Иногда отдельные группы казахов, доведенные до крайности чинившимися над ними насилиями, восставали против своих притеснителей, но благодаря своей разрозненности и двойственной роли своей знати должны были терпеть поражения и испытывать еще худшую участь, как это наблюдалось, напр., в 20-х или 50-х годах XIX в.[2]

Последствия кокандского владычества в районах Южного Казахстана и современной Киргизии вообще настолько велики, что здесь можно говорить о них лишь в самых общих чертах. Касаясь вопроса о влиянии кокандской колонизации на хозяйственную жизнь района, один из современных экономистов справедливо отмечает, что линия построенных кокандцами факторий-крепостей от Ташкента до Алма-Ата является «результатом хорошо продуманного плана» военно-хозяйственной экспансии в глубь казахской территории. Благодаря системе указанных крепостей кокандцам удалось отрезать кочевую степь от горных «джайляу» (летовок) и тем самым поставить ее в зависимость от кокандских гарнизонов.[3]

Распространяя свою власть на казахские степи, Кокандское ханство широко использовало и идеологическое влияние мусульманского духовного аппарата. В Ташкенте, Туркестане, Чимкенте, Сайраме, Аулие-Ата и других пунктах строились мечети и медресе, восстанавливались мазары, распространялся в степи мюридизм, возглавлявшийся ферганскими ишанами.[4] Стараясь облегчить закупку кокандскими купцами сырья и усилить сбыт городской ремесленной промышленности в казахских районах, кокандские власти устраивали в различных пунктах базары и стремились привлекать к ним кочевое население. С целью обеспечить свои гарнизоны в Дашт-и-кипчаке продовольствием и фуражом, кокандские правители заботились

[1] Такого рода факты неоднократно отмечаются позднейшими путешественниками (Потанин и др.).

[2] Некоторые данные по этому вопросу см. Наливкин, цит. соч., стр. 119, 186—187; также Н. Северцов, «Месяц плена у кокандцев», СПб., 1860, стр. 70—72.

[3] См. статью П. В. Погорельского в изд. «Современный аул Средней Азии» (социально-экономический очерк), вып. VIII, Быстрореченская волость Фрунзенского кантона Киргизской АССР, Ташкент, 1927, стр. 10.

[4] Халифе (qalpa) — «наместников» некоторых ферганских ишанов — мне приходилось встречать в б. Чимкентском уезде еще в 1920 г.

о развитии здесь земледелия и производили некоторые оросительные работы, не оставшиеся, разумеется, без влияния и на хозяйственную жизнь окружающих кочевников-скотоводов.[1]

Нельзя, наконец, не отметить в общих чертах влияния кокандского господства на ход российского завоевания Средней Азии и Южного Казахстана в 40—60-х гг. XIX в. На продвижение российских завоевателей в глубь казахских степей кокандские власти реагировали чрезвычайно чутко, хотя полностью грозившей им опасности они и не сознавали. Ведя в 1858 г. переговоры с Н. А. Северцовым, кокандский правитель г. Туркестана предъявил между прочим требование о том, чтобы царская администрация возвратила кокандцам ту часть казахского населения, которая незадолго перед тем, спасаясь от кокандских сборщиков, откочевала на занятую царскими войсками территорию в районе Ак-мечети (ныне Кзыл-орда).[2] Объявив, с своей стороны, сыр-дарьинских казахов своими «подданными» и считая защиту их от кокандцев «обязанностью русского правительства»,[3] царское командование таким путем стремилось оправдать свои захваты казахской территории.

Начавшиеся восстания казахских племен в тылу занятого царскими войсками края[4] лучше всего свидетельствуют, насколько «сочувственно» относились казахи к оказывавшейся им «защите».

Заканчивая на этом свои краткие заключительные замечания, еще раз отметим, что подробное рассмотрение дальнейшей истории кокандско-казахских отношений составляет самостоятельную задачу, далеко выходящую за рамки настоящего небольшого исследования.

---

[1] Об этом см., между прочим, «Протокол № 4 заседания Турк. кружка любителей археол.» от 11 декабря 1900 г., стр. 131 и сл.

[2] Н. Северцов. Цит. соч., стр. 74.

[3] М. Н. Галкин. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868, стр. 196.

[4] Сводку официальных данных по этому вопросу см. М. А. Терентьев, «История завоевания Средней Азии», т. I, СПб., 1906, стр. 234 сл.; также «Военный сборник», т. 85, отд. 1 (1872), стр. 14 и сл.

С. Т. ЕРЕМЯН

Моисей Каланкатуйский о посольстве албанского князя Вараз-Трдата к хазарскому хакану Алп-Илитверу

До настоящего времени исследователи не располагают научно-критическим изданием «Истории Албании» Моисея Каланкатуйского, армяноязычного историка нын. Советского Азербайджана. Ценность этого источника, являющегося, как думают, компиляцией двух исторических трудов — VII и X вв., — для истории Азербайджанской ССР, особенно для периода, предшествовавшего тюркизации ее, общеизвестна. Тем не менее этот источник для истории Азербайджана привлекался исследователями далеко не в достаточной мере. В ряду сообщаемых им фактов обращает на себя внимание рассказ о посольстве князя Албании (нын. Азербайджанской ССР) Вараз-Трдата из династии Михранидов к хазарскому хакану Алп-Илитверу.[1]

Внимательный анализ сообщаемых фактов показывает, что автор или компилятор использовал что-то вроде дневника путешественника, участника интересующего нас посольства, правда сильно приправленного различного рода преувеличенными, если не вымышленными, сообщениями о благочестии и христолюбии как самого хакана, так и окружающей его среды, принявшей житийный, агиографический характер. В свете окружающей исторической действительности подлежащее разбору свидетельство Моисея Каланкатуйского представляется как историческая реалия, которая выходит за пределы интересующей нас миссии и дает ключ к разгадке целого ряда недоуменных вопросов.

Прежде чем перейти к интересующему нас вопросу, рассмотрим ту историческую обстановку и те предпосылки, которые вызвало это посольство.

[1] См. об этом имени: J. Marquart, «Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge», Leipzig, 1903, pp. 114—115.

После падения государства Сасанидов в Иране и начала арабских завоеваний пришли в упадок те укрепления в кавказских горах, которые должны были охранять северные границы Сасанидского государства.

До окончательного утверждения власти халифа страны Закавказья, особенно северная их часть, были подвержены постоянным набегам и опустошениям хазар. Последние прочно укрепились в древней столице Албании—Кабале, которая с тех пор называлась также «Хазар» («Кабала, что есть Хазар» (Баладзори, стр. 5).[1] Господствующий класс в стране, феодальная знать, стремится сохранить свои классовые привилегии путем компромисса с завоевателями, что опять-таки совершалось за счет тех же эксплоатируемых народных масс. Сделавшиеся по ходу событий фактическими правителями Албании, князья из дома Михранидов (Mihrean, resp. Mihrakan) Вараз-Григор (628—636) и его сын Джуаншер (636—669) стремятся войти в добрососедские отношения с хазарским хаканом, которого вынуждены признать своим сюзереном рядом с императором Византии.

Вскоре пришлось считаться также с арабскими завоевателями, которые начали завоевывать одну за другой страны Закавказья. Арабы в 640 г. впервые осадили столицу Армении, город Двин,[2] а в 652—653 гг. армянская, грузинская и албанская знать во главе с Теодоросом Рштуни открыто перешла на сторону халифа.[3] После этого арабы проникли в Картли (Вост. Грузия) и осадили г. Тбилиси.[4] Наконец, в 654 г., арабы осадили города Албании Берда'а (= Партав) и Байлакан (= Пайтакаран) и обязали население вносить в казну халифата те подати, которые они вносили Сасанидам—поземельную (харк-хараджׅ) и подушную подать (гезит-джизийят).

Первое время арабы довольствовались тем, что облагали жителей налогами и, для верности себе местной знати, брали в заложники членов феодальных домов; во всем остальном феодалы Албании, Картли и Армении оставались полноправными хозяевами. Такое положение приводило к тому, что стоило халифату немного ослабеть или отвлечься внутренними делами, как феодальная знать переставала платить подати и нести военную службу и обычно заручалась в этом поддержкой Византии. Императоры постоянно

[1] См. акад. А. Е. Крымский, «Из истории Северного Азербайджана». Юбил. сб. в честь акад. Ольденбурга. Лгр., 1934, стр. 298.

[2] *Հ. Մանանդյան. Արաբական արշավանքները Հայաստանում (ժամանակագրական դիտողություններ)։ Մանր հետազոտություններ, Երևան,* 1932, стр. 28.

[3] *Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն. ԼԸ, Թիֆլիս,* 1913, стр. 242—243 = русск. перев. Себеос, «История императора Иракла», перев. К. Патканьян, СПб., 1862, стр. 165--166. См. სიმონ ჯანაშია, არაბობა საქართველოში, ტფილისი, 1936, стр. 17—20.

[4] ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, წ. II, ტფილისი, 1914, стр. 343.

этим пользовались, подкупая честолюбивых князей громкими титулами и драгоценными одеяниями. После каждого усиления халифата начиналась расправа над изменниками-феодалами.

Преемник Джуаншера, албанский князь Вараз-Трдат (669—699), также вел довольно осторожную политику. При нем особенно участились набеги хазар. По известию М. Каланкатуйского, в первый же год правления Вараз-Трдата совершил набег на левобережную Албанию хазарский хакан Алп-Илитвер. Однако Вараз-Трдат послал с миссией к хакану католикоса Елиазара, который сумел привлечь «сердце хакана к миру и неразрывной дружбе».[1]

В 677 г. халиф Муавия I (661—680) нарушил мирные условия и вновь началась война между арабами и Византией, которая окончилась новым мирным договором. Однако вскоре снова последовали войны внутри халифата; воспользовавшись этим, феодалы Армении, Иберии (Картли) и Албании с 680 г. перестали платить подати и налоги халифу.[2] Это продолжалось до 684 г., когда Закавказье подверглось очередному опустошению со стороны хазарских вооруженных дружин. В одной анонимной армянской хронике VII в. читаем: «В первый год (царствования) его (Юстиниана II) Арменией, Иберией и Албанией завладел северный народ, называемый хазирами. Они убили в битве князей армянских, грузинских и албанских, в десятый день месяца сахми, в 133[3] год армянский (= 13 июня 684 года)». (*Անանուն ժամանակագրութիւն խմբագրէր յօրինեալ է դարու, վենետիկ* 1904, стр. 80).

Довольно странно, что М. Каланкатуйский совершенно замалчивает этот разорительный для Закавказья набег, в то время как он отмечает, и довольно пространно, все почти походы хазар, совершаемые ими в страны Закавказья во все VII столетие. Обойдя молчанием последнее нападение

[1] *Մովսէսի Կաղանկատուացւոյ Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի*, II, *լգ*, *Թիֆլիս* 1913, стр. 263—264 = русск. перев. «История Агван Мойсея Каганкатваци», пер. К. Патканьян, СПб., 1861, стр. 185—186.

[2] *Պատմութիւն Ղեւոնդեայ մեծի վարդապետի Հայոց. Դ. Ս. Պետերբուրգ.* 1887, стр. 15 = русск. перев. «История халифов вардапета Гевонда», гл. III, перев. К. Патканьян, СПб., 1862, стр. 9—10.

[3] В тексте стоит цифра *ՃԼԴ* (= 134), но мы исправляем в *ՃԼԳ* (= 133), в правильности чего мы убедимся ниже. Почти то же самое, но в иных выражениях сообщают: Гевонд, арм. текст, стр. 15—16, см. «История халифов ...», стр. 10; *Ստեփաննոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական*, II, *Ս. Պետերբուրգ.* 1885, стр. 100 = русск. перев. «Всеобщая история Степаноса Таронского Асохика по прозванию» перев. Н Эмина, Москва, 1864, гл. III, стр. 91; *Մեծին Վարդանայ Բարձրբերդեցւոյ Պատմութիւն տիեզերական, Մոսկվա.* 1861, стр. 98 = русск. перев. «Всеобщая история Вардана Великого», перев. Н. Эмина, Москва, 1861, стр. 90.

хазар, он неожиданно довольно детально, в специальной главе, сообщает о миссии Вараз-Трдата, отправленной им к хазарскому хакану, в резиденцию последнего, г. Варачан. Он подробно описывает путь миссии. Разбору данных этой главы и посвящена дальнейшая часть работы.

Приведем известие М. Каланкатуйского об этом событии полностью:[1]

«Тогда на 62-м году южного царства строптивого Магомета, Вараз-Трдат, владетель Албании[2] совещался с соплеменными ему нахарарами[3] и с католикосом Елиазаром,[4] и говорил: „Подати, наложенные на нас свирепым народом страны таджиков, теснят и сильно тяготят нас; второе безвыходное несчастие состоит в том, что из года в год в страну нашу (производят) нашествия войска гуннов и, разоряясь насилиями врагов с обеих сторон, страна наша бедствует. Придите, приближенные и любезные мои, изберите из страны нашей епископа для спокойствия нашего, чтобы он отправился милостью бога и умы обоих миродержцев[5] расположил к миру и неразрывной любви, дабы с этих пор (против них) не было в умах наших зла и помыслов враждебных". Рассуждая таким образом, владетели и нахарары тотчас избрали (некоего мужа) и отправили (его) пригласить с большими просьбами мудрого и скромного епископа области Мец-Когманц, которого звали Исраель, потому что он целомудренными нравами и мудростью духа по истине служил всем примером. Он упражнял душу свою в смирении и исполнял заповедь любви. Он согласился немедленно отправиться в отдаленную страну гуннов. Тогда (они) приготовили дары и приношения, также путевые запасы для него и для тех, которые сопровождали его. Они выступили в месяц Мехека, в 18-ый день (этого) месяца, и сопровождаемые с миром из города Пероз-апата (у К. Патканьяна — Пероз-Кават = Партав), они перешли через великую реку Кур и отправились. Перейдя границы Албании, они на 12-ый день прибыли в город (племени) лбин, где навстречу ему вышли все горожане и приняли его с радостью, как подобает епископу, тем более, что приближался господний праздник богоявления. Вступив в город и переночевав в нем он совершил празднество, и выйдя оттуда (они) перешли в страну (племени) чилб у подошвы великой горы. Тогда северные порывы зимних ветров подняли страшные вихри и покрыли снегом покатости гор Кавказа. Задержанные

[1] Текст приводится в переводе К. Патканьяна с дополнениями и поправками; последние всегда будут отмечаться особо.

[2] В перев. К. П.: «Князь агванский».

[3] В перев. К. П.: «с соплеменными ему князьями».

[4] В перев. К. П.: «Илиазаром».

[5] Подразумеваются халиф и хакан.

в том месте в продолжение трех дней, они не могли поднять глаз или отыскать след дороги, потому что они находились в страшной неизвестности по причине дьявольской борьбы; возбуждая шум и страх, они (дьяволы) не могли устрашить мужа божьяго, ибо он, взяв в руки крест, приказал всем преклонить колена и с ними вместе взошел на вершину называемую Варде-Груак. Силою креста господнего и молитвами великого епископа, смирились ветры и стихли порывы, и они без страха перешли через вершины громадных и гигантских гор. После того в продолжение многих дней не видно было ни солнца ни звезд, а жестокая стужа не унималась. Изнуренные и утомленные они против воли свернули на другую дорогу и после долгодневного пути прибыли в древнюю резиденцию царей, в то место, где сподобился (умереть) св. Григорис, внук великого Григория, католикос албанский.

Оттуда, через несколько дней они достигли ворота Чога, недалеко от Дарбанда. И там получив от жителей города помощь и почести и совершив долговременное странствие, наконец, они прибыли в великолепный город Варачан, накануне сорокодневного поста. Услыша о прибытии, великий владыка гуннов вышел к ним с приветствием, и принял их с великою радостью: поклонившись ему, он оказал почести и уважение его святительству. Когда наступили дни св. сорокодневного поста, они приветствовали и почитали их. Видя прекрасный прием и лобзанье св. любви со стороны благорасположенного владыки и благородных вельмож, епископ ликовал много, и благодарил христа за неизреченные его милости. Он отдыхал в продолжение многих дней от изнурительных трудов; но видя, и слыша богохульства и человекоугодливую веру несчастного народа, он скорбел и плакал об их страшном бедствии и сомнительной религии тех, которые, называя себя богопоклонниками, отвергали высшую силу и чуждались ее». («История Агван», стр. 190—192 = арм. текст Մ. Կաղանկատ. II, ԼԹ, стр. 269—272.)

Прежде чем анализировать текст, расшифруем приводимые в нем довольно детальные данные, датирующие время отправления посольства.

В тексте указывается, что Вараз-Трдат имел совещание со своими феодалами о посылке посольства к хакану в «62-м году южного царства строптивого Магомета», т. е. в 62 г. хиджры.[1] Последнее по нашему летосчислению приходится на 683/684 г. Дальше указывается день выступления послов из столицы Албании Перозапата, resp. Партава. Они вышли из

[1] Надо заметить, что М. Каланкатуйский не раз в своей «Истории» исходным пунктом для датировки событий берет хиджру.

города 18 числа армянского месяца мехекан и на 12-й день после этого прибыли в город племени лбин'ов. В 684 г. н. э. первый месяц армянского календаря «Навасард» наступает 8 июня, а год армянского летосчисления 133-й,[1] следовательно, седьмой месяц «Мехекан» наступает 5 декабря по юлианскому календарю; таким образом 18 число месяца мехекан 133 г. армянского летосчисления приходится на 22 декабря 684 г. нашего летосчисления. Через 12 дней, т. е. уже 3 января следующего 685 г., послы достигли «города лбин'ов». В связи с этим делается понятным другая деталь текста, что послы прибыли накануне «господнего праздника богоявления», т. е. крещения. В тексте указывается, что епископ Исраель, «переночевав в нем», на следующий день совершил празднество, которое приходится на канун христианского крещения, т. е. 5 января, праздник особо отмечаемый монофизитской армянской церковью. Оттуда послы, попав в зимнюю стужу и снежный буран, долго шли и лишь накануне наступления «великого поста», который тогда приходился на 12 февраля, наконец, достигают столицы хазар, г. Варачан.

Таким образом, как видим, послы албанского владетельного князя Вараз-Трдата пустились в путь из Партава в 684 г. 22 декабря, 3 января (вторник) в 685 г. они прибыли в город племени лбинов, где остались до 5 января (пятница) и лишь накануне наступления великого поста, т. е. 11 февраля (суббота) они прибыли в г. Варачан к хазарскому хакану, проделав, таким образом, путь из Партава в Варачан в 51 день. Итак, выяснив довольно детально дату отправления посольства к хазарам, мы тем самым можем уточнить год известного вторжения хазар и убийства ими князя Григория Мамиконяна и увода в плен многих владетельных феодалов армянских, грузинских и албанских. Это событие обычно датируется 685 г., основанием которого служат непроверенные сообщения: Гевонда (VIII в.), Асохика (X—XI вв.), Иоанна Драсханакертского (896—925 гг.) и Вардана Бардзрбердского (XIII в.). Приведем их сообщения об этом нашествии: «Во время случившихся между таджиками (арабами) междоусобных войн, Армения, Иберия (= Вир-к) и Албания (Алован-к), после 30-летнего повиновения перестали платить подать. И возмущение их продолжалось 3 года. На четвертый год покорили Армению северный народ хазары и убили в битве князя Григория, многих нахараров и владетелей Иберии и Албании, они же рассеявшись по стране разорили Армению, взяли множество областей и сел, и захватив добычу

[1] E. Dulaurier. Recherches sur la chronologie arménienne, t. I, Chronologie technique, Paris, 1859, p. 385.

и пленных, ушли в страну свою» (*Պատմութիւն Ղեւոնդեայ մեծի վարդապետի Հայոց Ի. Ս. Պետերբուրգ*, 1887, стр. 15—16 = «История халифов» Вардапета Гевонда, перев. К. Патканьян, СПб., 1862; стр. 9—10. Перевод приводим с поправками).

«В седьмой год пастырства его (католикоса Сахака III) случилась ужасная война с племенем хазар, которая обрушилась над великим ишханом Григорием, в которой (он) был убит и отошел к предкам своим» (*Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն Հայոց. Թիֆլիս*, 1912, стр. 93).[1]

«После него (Исраеля был католикосом) тэр Сахак, который происходил из (округа) Дзоро-пор, из селения Аркунашен, (и правил он) 25 лет. В 5-й год его (правления), в 130 (= 681) году, был убит ишхан Григорий в войне с хазарами.

И в 135 (= 686) году сделался ишханом Армении Ашот Багратуни на 3 года. В это время Армению постигло ужасное бедствие и разрушение, ибо в 134 (= 685) году овладели Арменией, Иберией и Албанией северные орды, т. е. хазары, которые в войне убили ишханов Армении и Иберии» (*Ստեփաննոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական, հանդէս* II, *դէ. Բ. Ս. Պետերբուրգ*, 1885, стр. 100).[2]

«В седьмой год его (католикосства Сахака III) устроили нашествие в Армению (хазары), которые убили ишхана Григория и захватили все что могли» (*Մեծին Վարդանայ Բարձրբերդեցւոյ Պատմութիւն տիեզերական. Մոսկվա*, 1861, стр. 98).[3]

Рассмотрим эти данные в связи с другими источниками. Сообщение Гевонда о том, что феодалы Армении, Иберии и Албании перестали платить подати, по случаю новых междоусобных войн между арабами, на 3 года, относится к годам правления халифа Иезида I, который царствовал от 680 до 683 г. При нем вспыхнул второй ряд междоусобных войн. Омейяды боролись с внутренними врагами, с сыном Алия (656—661 гг.) Хосейном и особенно опасным врагом, утвердившимся более чем на 10 лет в Мекке (до 692 г.), антихалифом ибн-Зобейром. Воспользовавшись этими внутренними раздорами, многие пограничные страны вновь

[1] История Армении Иоанна Драсханакертского. Тифлис, 1912, стр. 93. Русский перевод не существует.

[2] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию (перев. Эмина, Москва, 1864), переведена с арм. изд. Шахназаряна (в Париже в 1859 г.), см. стр. 72 и 91.

[3] См. русский перевод Н. Эмина «Всеобщая история Вардана Великого», Москва 1861, стр. 90, где указанный текст дан немного в иной редакции и без окончания предложения.

отпали. Однако это продолжалось недолго, при халифе Абдаль-Малике (685—705 гг.) междоусобия были усмирены (с 693 г.), и халифат снова идет в гору.[1] Таким образом сведение Гевонда об отказе платить подати халифу, длившемся три года, относится к годам правления упомянутого халифа Иезида I, а именно с 680 по 683 г., а четвертый год, когда хазары устроили свое нашествие, таким образом, падает на 684 г., к каковому времени и относится, как видели, отправление послов Вараз-Трдата к хазарам.

Второе сообщение католикоса Иоанна VI Драсханакертского (899—931 гг.) датируется также указанным годом, ибо 7 год католикосства Сахака III (677—703 гг.) приходится на 684 г.

Третье известие Асохика также совпадает с предыдущими, но с следующей поправкой: говоря о годе католикосства Сахака III, при котором случилось указанное событие, в тексте (очевидно, позже) произошло смешение армянских букв Է, и Ե, имеющих цифровое значение 7 и 5, которое является обычным в армянской палеографии. Исходя из последнего, указанную в тексте цифру Ե (5) должны исправить в Է (7). Соответственно с этим приводимую цифру армянского летосчисления ՃԼ = 130 должны исправить в ՃԼԳ = 133, равняющейся 684 г. н. э. Дальше, в тексте правильно указывается, что вместо убитого хазарами Григория Мамикониана ишханом Армении с 135 (686)[2] г. сделался Ашот Багратуни, но затем снова повторяется то же известие о разрушениях, причиненных хазарами, и убийстве ими многих феодалов Армении и Иберии (весьма знаменательно отсутствие Албании), уже датируемое 134 (685) г. Последнее известие является результатом путаницы компилятора Асохика и должно относиться к тому же событию 684 г. Наконец, самый поздний из компиляторов, пользующийся известиями предыдущих авторов, Вардан Бардзрбердский подтверждает сказанное. Нашествие хазар и убийство Григория В. Бардзрбердский относит к 7 году католикосства Сахака III, т. е. к тому же 684 г.

Итак, в годы правления Иезида I (680—683), когда халифат был занят прекращением внутренних раздоров, в числе других завоеванных стран отпали также страны Закавказья — Армения, Иберия (Картли) и Албания. Сложившаяся ситуация была использована претендующими

[1] См. А. Крымский, «История арабов и арабской литературы». Тр. по востоковедению ЛИВЯ, вып. XV, ч. 1 и 2, 1912, стр. 123.

[2] Этот год также неправильно указан и должен быть тот же 133 год армянской эры, соответственно с чем годами правления Ашота Багратуни будут: 684—688 гг.

издавна на эти страны хазарами, которые и устраивают нашествие в следующем 684 г. Этот поход хазар интересен тем, что, повидимому, слабо задел Албанию; во всяком случае, Асохик, говоря об убитых феодалах Армении и Иберии (Картли), не упоминает феодалов Албании, а М. Каланкатуйский вовсе замалчивает набег.

Анализ всех приведенных сообщений указывает на то, что в 684 г. действительно произошел очередной, но, по всей видимости, более разрушительный набег хазар. Замалчивание Моисеем Каланкатуйским столь важного факта должны объяснить тем, что он с большой любовью относится к хазарскому хакану Алп-Илитверу, а выводить его убийцей «храброго князя» (II, 37, стр. 158) и «великого полководца» (II, 38, стр. 189) Григория Мамикониана также нельзя было, — в таком случае он шел против армяно-албанских религиозных традиций, горячим поборником которых он был.

Итак, интересующее нас посольство было отправлено к хазарам в конце 684 г., что вполне естественно. Албанские феодалы, пережив ужасное бедствие, постигшее особенно феодалов соседних стран, Армении и Иберии (Картли), и в то же время отпав от халифата, для сохранения своего господства стремятся снискать дружбу хакана и войти в вассальные отношения с ним. Как видно, посольство имело успех, ибо дальнейшим отношениям хазар с Албанией М. Каланкатуйский посвящает целых шесть глав (главы из II книги: 40, 41, 42, 43, 44, 45 арм. текст, стр. 272—302 = русск. перев. «История Агван», стр. 193—213). Он даже сообщает, что «благомыслящий высокопрестольный князь Алп-Илитвер с лагерем своим» приняли христианство от епископа Исраеля (гл. 41).

Установив дату отправления послов Вараз-Трдата к хазарам, перейдем к выяснению маршрута, по которому они направились к хакану.

Первым занялся этим вопросом М. Бархударян; за исходный пункт для определения этой дороги он взял упоминаемое в приведенном тексте место, «где сподобился умереть св. Григорис» и «ворота Чога, недалеко от Дарбанда».

Церковная традиция первое место локализировала морским побережьем, на равнине между р. Самур и вершиной Беш-Бармак, находящийся же на пути к этой равнине город племени лбинов локализируется ею нын. сел. Киз-Мейдан, которое находится у подножия Кавказского хребта, к северу от г. Шемахи.[1] М. Бархударян, на основании этих данных,

[1] *Մ. Բարխուտարեան. Աղվանից երկիր և դրացիք. Թիֆլիս.* 1893, стр. 91—92, 147; его же, *Աղուանից պատմութիւն հատոր Ա,* стр. 26.

страну племени лбинов — Лпни-к (Լփնիք Ləpni-q) армянских авторов локализирует районом, начинающимся к северу от Шемахи, вплоть до морского побережья между рр. Девечи и Сумгайт включительно. На основании этого мы путь посольства должны предположить по линии: Барда — Евлах — Мингечаурская переправа — Агдаш — Геок-чай — Шемаха — Маразы — Хизы — Девечи — Куба — Самур — Дербент и дальше вдоль морского побережья, к району нын. Махач-Кала и Буйнакска, где, по всей вероятности, находились населенные центры хазар. Как будто не возникает никаких противоречий; линия эта — наиболее удобная дорога для сообщения с Северным Кавказом. Однако достаточно обратиться к данным текста, как возникает целый ряд сомнений и обнаруживается противоречие в самом тексте. М. Каланкатуйский пишет, что послы, выйдя из г. Перозапата, resp. Партава, шли до города племени лбинов 12 дней, между тем как если мы возьмем указанный маршрут Барда—Шемаха, то увидим, что для преодоления этого расстояния ни в коем случае не может понадобиться 12 дней, а гораздо меньше, максимум 4—5 дней, для остальной же дороги через Дербент также нужен был не 51 день, как указывается в тексте, а гораздо меньше. Другим серьезным возражением является описание пути через Кавказские горы. Посольство проходит через «вершины громадных и гигантских гор», в которых свирепствовали в продолжение всего пути снежные бураны и страшные морозы; как говорится в тексте: «в продолжение многих дней не видать было ни солнца, ни звезд, а жестокая стужа не унималась». Путь от Шемахи через Кавказские горы в район сс. Хизы и Девечи не представляет таких трудностей, но если допустить даже зимнее время и снежные бураны, все же для того, чтобы пройти горные районы, потребовалось бы не 30—35 дней, а максимум 3—4 дня. Дальнейший путь проходит снова по равнине и по морскому побережью, теплому в зимнее время.

Таким образом данные об этой дороге противоречат направлению через Дербент. Расстояние, для преодоления которого потребовалось указанное в тексте время, должно быть гораздо больше, а географическая среда иная; если это так, тогда противоречие имеем в самом тексте. Указание на «место, где сподобился умереть св. Григорис», и Дербент являются механически присоединенными к основному тексту с целью упомянуть и показать одну из главных святынь албанской церкви. Для того чтобы осведомленный читатель не недоумевал и чтобы лучше замаскировать искусственность, эту несуразность он объясняет тем, что «Изнуренные и утомленные они (послы) против воли свернули на другую сторону», откуда «после

долгодневного пути прибыли в древнюю резиденцию царей, в то место, где сподобился умереть св. Григорис». Если отвергается направление через Шемаху и Дербент, тогда где же мы должны искать этот маршрут?

В тексте мы имеем указание, что послы в течение 12 дней из Перозапата, resp. Партава, дошли до города племени лбинов. Этот город лежал на южном склоне, у подножия Кавказского хребта. 12-дневный путь пешехода составляет около 250 км. Такое расстояние от нын. сел. Барда до южного отрога Главного Кавказского хребта может уложиться лишь на линиях: Барда — Евлах — Мингечаурская переправа — (Агдаш — Кабала — Хачмаз) — Нуха — Ках — Закатала — Лагодехи — Кварели — Напареули, или тот же маршрут с отклонением из Каха через р. Алазань и дальше: Бодбе — Сигнахи — Телави — Алаверди — Напареули. Район сел. Напареули обращает на себя внимание тем, что оттуда начинается единственная удобная дорога через Кавказский хребет, по Кадорскому[1] перевалу, связывающему Кахети с внутренним Дагестаном и районом морского побережья — район Махач-Калы и Буйнакска. Из района Напареули дорога направляется из ущелий рр. Лопота и Челта (и его притока Инцоби) к Кадорскому перевалу и оттуда к верховьям р. Андийское Койсу. Прежде чем определить путь из города лбинов в столицу хазар Варачан, разберем сведения первоисточников об этом городе.

В недавно вышедшей книге проф. М. И. Артамонова «Очерки древнейшей истории хазар» выяснению местоположения г. Варачан уделено довольно много места, однако с выводами автора нельзя согласиться. Тем более трудно согласиться с утверждением автора, что «вообще арабские писатели не знают города с названием Варачан или Вараджан, точно так же как армянские вовсе не упоминают Семендера, если не отождествлять с последним Мсндр, названный в Армянской Географии на ряду с Вараджаном».[2]

Данные первоисточников, которые мы приведем ниже, опровергают это утверждение. В армянских источниках наиболее ясное известие для определения местоположения г. Варачана имеется в упомянутой армянской «Географии» VII в., приписываемой М. Хоренскому. Анонимный автор «Географии» пишет: «Севернее его (Дербента) близ моря, находится царство гуннов к западу от него, у (гор) Кавказа — город гуннов Варачан, а также

[1] На русских картах обычно пишется «Кодорский», что неточно.

[2] М. И. Артамонов. Очерки древнейшей истории хазар. Лгр., 1936, стр. 90

(города) Чунгар и Мс-нд-р».[1] В приведенном отрывке упоминается три хазарских города — Варачан, Чунгар и Мс-нд-р. Последнее название является неправильным чтением и первоначально, вместо ՄՍԸՆԴԸՐ Msəndər, должно было быть *ՍՄԸՆԴԸՐ Səməndər, что произошло на почве смешения стоявших рядом уставных букв Ս и Մ.[2] Таким образом третьим городом является Səməndər — Семендер. Следовательно, последний упоминается также в армянском источнике. Теперь рассмотрим, упоминается ли у арабских авторов г. Варачан. Пока мне известен один факт, говорящий о том, что арабские авторы также знали город под именем Варачан. Я'Куби, описывая поход арабского полководца Маслама против хазар, говорит, что он завоевал страны: Джурзан (Картли), Ширван, Маскат, страну лакзов (Куба, Самур) и Таба(р)саран, заключив со всеми этими странами мир, «затем пустился в страну и шел, не встречая никого, пока не достиг Вар(а)сана (ورثان). И встретил хакана, царя хазар».[3] В приведенном тексте ясно указывается путь Масламы, который пролегал через нын. Шемаху (Ширван), побережье Каспийского моря, в районе Девечи и Худат (Маскат, resp. Маскут-к, resp. Мускур), Куба, Самур («страна лакзов»), Табасаран (Табарсаран) и далее кумыкская низменность в Дагестане, на побережье Каспийского моря, что опять-таки нас приводит в район нын. Махач-Кала и дальше на север. Из этого ясно, что автор имеет в виду не Варсан на берегу р. Аракса — Варданакерт армянских авторов (где-то в районе нын. переправы Асландуз), а Варачан армянских авторов. В арабской транскрипции произошло смешение двух названий Варсан (resp. Вартан) и Варачан, что вполне естественно. Переводчик историка Я'Куби, проф. Жузе, приняв его за Варсан на Араксе (Варданакерт), остался в недоумении и поставил рядом знак вопроса. Факт сходства (или даже тождества) начертаний этих двух названий привел к тому, что как поздние арабские авторы, так и современные исследователи смешивали эти два названия, и для выявления тех мест в арабских источниках, где речь идет о Варачане, а не о Варсане, арабистам предстоит еще кропотливая работа.

[1] *Իսկ ի հիւսիսոյ նորա՝ Թագաւորութիւն Հոնաց հուպ ի ծով եւ ի մտից նորա առ Կաւկասով, Վարաչան քաղաք նոցին Հոնաց եւ Չունգառ եւ Մսընդըր։* Géographie de Moïse de Corène d'après Ptolémée par le P. Arsène Soukry. Venise, 1881, p. 27 (в дальнейшем — Soukry); см. также Патканов, «Из нового списка географии, прип. М. Хоренаци», ЖМНП, стр. 31.

[2] См. J. Marquart, «Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge», стр. 58, прим. 2.

[3] Я'Куби. История. Перев. Жузе, Баку, 1927, стр. 7.

Сведения об этом походе сохранил также армянский историк Вардан Бардзрбердский. Последний сообщает, что халиф «Хешм (Хишам, 724—743 гг.) отпустил в Армению Мервана, сына Махмеда» (в вышеприведенном тексте Я'Куби говорится, что Маслама начальником над своим авангардом назначил Мервана ибн-Мухаммеда), который вел войну с хазарами, и в числе прочих дел совершил поход «в город гуннов Варачан и вернулся с победой».[1]

Приведенные нами факты опровергают утверждение М. И. Артамонова, будто армянские источники знают лишь Варачан, а арабские — Семендер, на основании которого он пытается доказать, что оба эти названия относятся к одному и тому же пункту.[2]

Варачан упоминается также в известном письме хакана Иосифа. В последнем упоминается река В-р-шан, ודמאן ודשאן, около которой хакан со своим двором проводит лето,[3] и гора В-р-сан — хазарской книги Иехуды Галеви.[4] На это сходство Варачана в армянской передаче с Вршан и Врсан — в еврейской передаче обратил внимание еще Гаркави.[5] Вестберг думает, что р. В-р-шан тождественна с одним из волжских рукавов,[6] в дельте которого находилась (после завоевания арабами территории нын. Дагестана) резиденция хазарского хакана, г. Итиль. Акад. Коковцев вполне правильно считает это сопоставление необоснованным.[7] Письмо хакана Иосифа указывает, что около р. В-р-шан находилась летовка, т. е. летняя резиденция хазарского двора; летняя же резиденция могла находиться лишь в горах или ближе к ним, а не в знойной и нездоровой, особенно в летнее время, дельте Волги. Помимо этого, в письме говорится о предках хакана Иосифа, которые приняли иудейство и по времени относятся к доарабскому завоеванию, когда центры хазар находились на территории нын. Дагестана.

[1] *Մեծին Վարդանայ Բարձրբերդեցւոյ Պատմութիւն տիեզերական. Մոսկվա,* 1861, стр. 102 = перев. наш; см. также: «Всеобщая история Вардана Великого», перев. Эмина, М., 1861, стр. 95.

[2] М. И. Артамонов, ук. соч., стр. 90—93.

[3] Коковцев. Еврейско-хазарская переписка. Лгр., 1932, стр. 85—86 и 102. «Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней находятся т р и города. В одном из них) живет царица; это город, в котором я родился... Во втором городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне и, помимо этих (людей), рабы из всяких народов... В третьем городе живу (я сам), мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии» (Коковцев, ibid., стр. 102).

[4] Там же, стр. 183.

[5] Коковцев, ук. соч., стр. 86—87, прим. 4.

[6] С мнением Вестберга соглашается М. И. Артамонов, ук. соч., стр. 100.

[7] А. Я. Гаркави. Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве, 1874, стр. 54; см. J. Marquart, «Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge», Leipzig, 1903, стр. 19.

Наиболее правильным было бы думать, что В-р-шан в еврейской передаче тождествен Варачану — в армянской передаче, и сведение из письма хакана Иосифа вносит то новое, что разъясняет характер этого поселения: это была летняя ставка хакана — лагерь-город. Интересно, что в описании Табари один из хазарских городов Беленджер представлял собою временный лагерь кочевников, окруженный для защиты телегами (Дорн. Каспий, стр. 13).

Таким образом мы видим, что армянские источники знают города Варачан и С(е)м(е)нд(е)р, так же как арабские знают Варсан и Семендер, из чего ясно, что ни о какой тождественности этих названий не может быть речи. Следующий пункт — это вопрос тождественности упоминаемого Гевондом хазарского города Таргу с Семендером. Гевонд сообщает: «Сам Мслим, взяв множество войск, прошел через проход Чора, разоряя страну гуннов, и расположился лагерем при городе гуннов Таргу (Թարգու θargu). Жители той страны, увидев хищников, которые надвигались на них, немедленно уведомили царя хазар, который назывался хакан. Мслим, увидев новые силы хазар, вынужден был отступить и возвратиться»[1] (Гевонд, арм. текст, гл. XII, стр. 41, см. русск. перев. «История халифов», стр. 28).

Из этого отрывка мы видим, что Маслама с войсками из Дербента (= Чора) двинулся в «страну гуннов» и остановился у г. Таргу. Это в первую очередь нас наводит на мысль о том, что речь идет о пункте в нын. Дагестане, который был известен в поздние века, именно об укреплении Тарки, южнее г. Махач-Кала. Таргу являлся таким образом приморским городом. Дальше, Гевонд, говоря о походе Мервана против хазар, пишет: «Мерван, сын Махмета, собрав многочисленное войско и взяв с собою ишхана Ашота и других нахараров с их всадниками и соединившись с ними, разорили страну гуннов. И, осаждая город, разбили городские войска и овладели городом. Жители увидали, что неприятель одолел их, взяв город, почему многие из них стали бросать свое имущество в бездну моря, а другие предавали самих себя безднам моря, бросаясь в море, и погибали в пучинах его. Оставшихся в живых жителей и награбленное захватили войска исмаильские, и Мерван вместе с ишханом Ашотом возвратились из страны гуннов с великой победой и несметной добычей»[2] (Гевонд, арм. текст, гл. XXII, стр. 113—114; см. русск. перев., стр. 80—81). И в данном описании также мы видим, что речь идет о при-

[1] Перевод наш.

[2] Перевод наш.

морском городе и должно, очевидно, относиться к тому же Таргу, который не удалось завоевать предшественнику Мервана, Масламе. К. Патканьян думает, что это известие относится к г. Варачану, и это подкрепляет приведенным нами сведением Вардана Бардзрбердского о завоевании Мерваном Варачана.[1] Однако мы уже видели, что тот же Мерван был начальником авангарда войск Масламы (как это нам сообщает Я'Куби), во время его похода на Варачан, так что приведенное Варданом Бардзрбердским известие не связано с последним фактом.

Определив Таргу Гевонда на берегу моря, на месте нын. Тарки, выясним местоположение г. Семендера. У арабских авторов этот пункт фигурирует как приморский город. Ал-Истахри и Ибн-Хаукаль определяют расстояния от Семендера до Дербента и Итиля (нын. Астрахань). По их указаниям Семендер лежал в 8 днях пути от Итиля и в 4 от Баб-ул-Абваба (Дербента); в другом месте они определяют расстояние в 7 дней от Итиля и в 4 от Дербента.[2] Масуди же определяет расстояние от Семендера до Итиля 7 дней, а до Баб-ул-Абваба — 6 дней пути.[3]

Наиболее вероятным мы должны считать расстояние от Семендера до Дербента в 4 дня, что опять-таки нас приводит к тому же Тарки. Ал-Мукадасси сообщает о Семендере, как о большом приморском городе.[4] Наконец, приведем сообщение нарративного источника «Дербенд-намэ», который упоминает Samand, т. е. Семендер, на месте нын. Тарки.[5] Таким образом названия Таргу и Семендер относятся к одному и тому же городу на месте нын. Тарки (южнее порта Махач-Кала), так же как арм. Варачан, Баланджар и Варсан относятся к одному и тому же пункту, столице хазар, местоположение которой предстоит определить. Масуди, перечисляя города хазарского царства, указывает, что города Семендер и Баланджар являлись древними столицами хазар.[6]

Рассмотрение сведений армянских и арабских источников, таким образом, указывает, что они различали и не путали между собой города Варачан = Баланджар, resp. Варсан и Тарку = Семендер; ни в коем случае нельзя отождествлять их между собою, как это делает М. И. Артамонов.[7]

1 История халифов вардапета Гевонда. Перев. К. Патканьяна, СПб., 1862, прим. 174, стр. 155.

2 Караулов. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (в дальнейшем — СМОМПК), XXXVIII, стр. 118; XXXIX, стр. 55.

3 Караулов, СМОМПК, XXXVIII, стр. 43.

4 Там же, стр. 5.

5 Дорн. Каспий (карта), см. Дербенд-намэ.

6 Караулов, СМОМПК, XXXVIII, стр. 23.

7 М. И. Артамонов, ук. соч., стр. 92, 93.

Определив местоположение Семендера, resp. Тарку, выясним местоположение Варачана, resp. Баланджара.

Выше мы видели, что наиболее удобным проходом в районе нын. Напареули и Шилда является Кадорский перевал. Последний находится на высоте ниже 2000 м и в долине Ор-цхали (приток р. Андийское Койсу) понижается до 1000 м. Дальнейший путь определяется направлением р. Андийское Койсу, идущей все время по глубокому каньону, с обеих сторон которого возвышаются высочайшие вершины с вечными снегами, как, напр., Хиклос-мта (4276), Гако-Шани-Бетер (3619), Бочек (4134), Адала-Шиу-гхлел (4150), Кжени-Мер (3981), Чартла-Гохдзер (3564) и многие другие. Андийское Койсу, слившись с Аварским Койсу, образует р. Сулак, которая, выйдя из глубокого каньона, широко разливается по долине р. Терека на Северном Кавказе. Выше мы видели, что г. Варачан находился у «гор Кавказа».

Во время похода арабов против хазар степная часть Дагестана была занята хазарами, которые образовывали там царство Д ж и д а н (Масуди) или «царство гуннов» (*Թագաւորութիւն Հոնաց*) армянских авторов, а горная часть была занята, как и ныне, многочисленными горскими племенами, находящимися в состоянии постоянных военных столкновений с хазарами, а затем с арабами. Северо-западную часть современного Дагестана, нын. Аварию, занимало царство, называемое арабскими авторами Сахиб-ас-Серир или просто С е р и р. Арабские писатели это название этимологизировали от арабского «престол» и называли «страной престола», на самом же деле «Серир» должен означать то же, что грузинское Мтиулети (მთიულეთი Mϑıuleϑ-ı), т. е. «страна гор» или «страна горцев». «Серир» происходит от иранского корня sər. «гора» и, по всей вероятности, был популярен с эпохи Сасанидов. Полным эквивалентом иранского Sərir и грузинского Mϑıuleϑ-ı является нын. тюркское название этой страны «Дагестан» (Dağəstan). Царство Серир, собственно, занимало долины рек Андийское Койсу и Аварское Койсу, а правитель страны носил титул avar (Ибн-Рустэ),[1] откуда, несомненно, произошло этническое название современных а в а р ц е в. Авары и поныне количественно занимают преобладающее положение среди горцев Дагестана, их язык является средством для межплеменного общения многочисленных мелких народов. Естественной преградой между страной Серир и царством хазар являлся высокий хребет, служащий водоразделом между р. Аварское Койсу и мелкими

[1] Караулов, СМОМПК, XXXII, стр. 53.

реками равнинной части Дагестана, впадающими непосредственно в Каспийское море. Ал-Истахри говорит, что от столицы хазар г. Семендера до границ Серира всего 2 фарсаха, т. е. около 12 км, факт, не увязывающийся с топографией местности, ибо невозможно допустить, чтобы хазары владели лишь узкой полосой морского побережья; наоборот, в силу своей экспансивности они должны были загнать все равнинные племена в горы; «сериры» соседили с хазарами по указанному водораздельному хребту, расположенному к юго-западу от нын. города Буйнакска. Нам кажется, что ал-Истахрием допущена ошибка: вместо столицы Баланджар, resp. Варачан, он упоминает столицу Семендер, resp. Таргу, иначе говоря, он знал, что граница Серира находится где-то в 2 фарсахах от столицы хазар, но от какой столицы, он не знал, а так как Семендер был крупным торговым центром и был лучше известен, то он под столицей хазар подразумевал именно последний город. После сказанного должно быть ясно, что приведенное ал-Истахрием сведение относится не к Семендеру, а к Баланджару, resp. Варачану, который являлся летней резиденцией, военной ставкой хазарского хакана и находился, повидимому, в горах. Наиболее вероятным местом нахождения этого города должен быть район в верховьях р. Шура-узен (и ее приток Эрзали-узен), где находится г. Буйнакск.

В связи с этим возникает вопрос, не имеет ли какую-то связь с Баланджаром название одной из вершин — «Галанжар», находящейся к юго-западу от г. Буйнакска? И насколько правильно передается русскими картами это название? Может быть правильнее было бы «Баланжар»? Вопрос этот можно выяснить лишь на месте. Если бы это действительно было правильным, тогда этот факт послужил бы серьезной базой для нашего доказательства и указал бы пути, по которым следовало бы произвести археологические разведки для окончательного выяснения этого вопроса.

Если наше предположение правильно, тогда, действительно, от границы Серира до столицы хазар — Варачан — должно было быть не более 2 фарсахов или 12 км. Этот факт нам лишний раз говорит о том, что с течением веков на месте одних центров возникали другие, на том же месте или поблизости; так, недалеко от исчезнувшего Таргу — Семендера, возникает г. Махач-Кала, а около Варачана — Баланджара возникает Темир-хан-Шура, resp. Буйнакск. Мы думаем, что третий город, упоминаемый в армянской Географии VII в., приписываемой Моисею Хоренскому, Ч у н г а р (Չունգառ) следует исправить в *Ч у н д а р (*Չունդառ) и лока-

лизировать на месте развалин Ендери (от *Чендери?), нын. русского селения Андреево.[1]

Из сказанного ясно, что М. И. Артамонов ошибается, когда говорит, что «Варачан, Семендер и Баланджар или, точнее, Балкар означают один и тот же город, древнюю столицу хазарского царства в северном Дагестане» и дальше локализирует ее на месте развалин Ендери.[2]

Указанный район низовьев Дагестана, где были расположены интересующие нас города, являлся центром Хазарского царства; здесь скрещивались сухопутные пути караванной торговли с морскими. После Дербента, находящегося на рубеже Закавказья и Северного Кавказа, наиболее крупным торговым портом на Каспийском море являлся г. Семендер, значение которого падает после возвышения Итиля (= Астрахань).

Перейдем вновь к городу племени лбинов и к стране Лпни-к армянских авторов. Равнина в верховьях Алазани, где должны предположить город лбинов, в грузинских источниках называется Алон-и (ალონი).[3] К северу от Алон-и, за Главным Кавказским хребтом, жило племя дурдзуков (დურძუკნი, դուրձք, الدرزوقية), и тот горный проход, который вел из Кахети в страну дурдзуков, назывался «воротами дурдзуков» (კარნი დურძუკეთისა Kar-n-ı Durǰukeϑ-ıs-a). В древнейшем грузинском источнике «Мокцевай Картлисай», там, где говорится об окончательном утверждении Сасанидов в Картли, resp. Иберии, указывается, что Сасаниды в первую очередь принялись за укрепление горных проходов Главного Кавказского хребта, через которые хазары и другие горские племена часто вторгались и разоряли северные части Сасанидского государства, особенно Закавказье, что ослабляло их силы во время войн с Византией.

В числе «ворот», которые были укреплены Сасанидами, упоминаются также «(ворота) дурдзукетские Парчуана» (და ერთი კარნი . . . აიგნეს . . . ფარჭუ̃ანს დორძოკეთისსა).[4] Под «страной дурдзуков», «Дурдзукети» (დურძუკეთი Durǰuk-eϑ-ı) понималась не только нын. Чечня и вся северо-восточная часть Северного Кавказа. Название Парчуан, resp. *Парачован Partuan-ı, *Paratowan-ı), должно быть другой формой названия столицы хазар — Варачан, сохраненной в грузинской передаче. Эти «ворота дурд-

[1] См. «Дербенд-Намэ», а также J. Marquart, «Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge», стр. 58, прим. 2.

[2] М. И. Артамонов, ук. соч., стр. 93.

[3] ვახუშტი, საქართველოს გეოგრაფია, ტფილისი, 1904, стр. 166 = Вахушти, «География Грузии», перев. М. Г. Джанашвили, Тифлис, 1904, стр. 128.

[4] Е. Такайшвили. Описание рукописей Общества распространения грамотности среди грузинского населения, т. II, Тифлис, 1906—1912, стр. 723—724 (Челишский текст).

зуков» могли находиться в районе нын. Кадорского перевала; в указанном районе это наиболее удобный горный проход, с поныне сохранившейся башней.

Ни в коем случае нельзя локализировать эти ворота в районе Архотского перевала, как это думают некоторые, ибо в последнем наиболее удобным проходом являлось Дарьяльское ущелье — «Аланские ворота», при наличии этого ущелья не приходилось пользоваться таким труднодоступным проходом, как Архотский перевал, находящийся на высоте 2796 м. Более доступным для направляющегося из Кахети в Дагестан является нын. Кадорский перевал, находящийся на высоте ниже 2000 м. Об этой дороге, которая через Андийское Койсу и Аварское Койсу вела в низовья нын. Дагестана, к Каспийскому морю, знали в XVI в. представители Кахетинского царства при дворе московского царя. Разведка Московского государства интересовалась и этой дорогой для утверждения своей гегемонии на Кавказе. Так, напр., когда Москва и Кахетинское царство вели переговоры о согласовании военных действий обоих государств против шамхала, естественно возникал вопрос о кратчайшем пути между Кахети и Северным Кавказом. В 1588 г. об этих путях очень подробно расспрашивали бывших в Москве кахетинских послов, князя Каплана Вачнадзе и «старца» Кирилла. Последние могли сообщить сведения лишь о пути, который вел в Кахети через владения самого шамхала — на Кафир-Кумух (около него предполагается нами г. Варачан-Баланджар), Казаниш и Кази-Кумух. Эта дорога от Терека до Кахети, по словам Вачнадзе, требовала 15 дней. Другой путь, который предполагали бывшие там же в Москве «черкасские» послы Батай (от «окуцкого» — аухского мирзы Шиха) и Аслан-бек (от кабардинского князя Алхаза), пролегал почти по тем же районам, именно: «на окуцкие владения и на владения князя Аварского и Черного», т. е. на поселения аухов (между рр. Аксаем и Акташем в Чечено-Ингушской АССР) и дальше по рр. Аварское и Черное Койсу, который требовал также 15 дней. По их словам, эта дорога имеет большие удобства: «дорога добре добра, гор мало и воды не велики и государевым ратным людям... прокормиться мочно».[1] Конечно, говоря об этих путях, они подразумевали, что путешествия по ним совершаются в теплое время года, когда сравнительно легко доступны высокогорные области и когда на переход требовалось бы не более 15 дней. Зимой же, особенно в бурю и метели, когда пришлось пройти интересующему нас посольству албан-

[1] Проф. М. А. Полиевктов. Экономические и политические разведки Московского государства XVII в. на Кавказе. Тифлис, 1932, стр. 31.

ского князя Вараз-Трдата, конечно путь был очень долог — как выяснили выше, 39 дней. Посольство шло (от района нын. Напареули до района нын. Буйнакска) с 5 января до 11 февраля 685 г. — время года, когда в этих районах свирепствуют наиболее сильные бураны и снежные мятели.

Таким образом перевал этот был известен еще в древности и в средние века. Здесь, в верховьях р. Алазани, должны искать страну Ləφn-ı-q, resp. Leφın-q армянских авторов. Последний упоминается еще у Плиния: «...начиная от границ Албании, по всему челу гор живут дикие племена сильвов, а ниже племя лупениев, затем дидуры и соды» (В. В. Латышев). Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. II, СПб., 1904, стр. 182; Плиний, § 26. «Rursus ab Albaniae confinio tota montium fronte gentes Silvorum ferae et infra Lubienorum (Lupenorium) mox Diduri et Sodi». Plinius, N H, 6, 10, 11 (29). Упомянутые у Плиния племена сильвов, лупениев и дидуров соответствуют:

а) Σιλβανοί (греч. версия Агафангела)[1] = Ճիղբք tıl-b-əq армянских авторов;

б) Λιφίννιοι (греч. версия Агафангела),[2] Lupones (Tab. Peut. Segm., XI, 5),[3] Patria Lepon (Anonymi Ravennatis, Cosmographia ed. M. Pinder et Parthey, Berolini, II, 12, p. 68)[4] = Լփնիք Ləφn-ı-q, Լփինք Ləφın-q[5] армянских авторов;

г) დიდოელნი dıdo-el-n-ı (а страна დიდოეთი Dıdo-eϑ-ı) грузинских авторов,[6] Դիդոյք dıdoy-q армянских авторов,[7] الدودانية al-Dudanıϑ арабских авторов.[8]

1 Paul de Lagarde. Agathangelus und die Akten Gregors von Armenien, Göttingen, 1887, 9, 71.

2 Ibid.

3 K. Miller. Itineraria Romana, Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana. Stuttgart, 1916.

4 В настоящее время это издание является библиографической редкостью, почему приводим весь текст, в котором упоминается эта страна: 11, 12. Item iuxta supra scriptam patriam, quam diximus Mediam, diversae ponuntur patria, id est Armenia maior Ararat, id est tertia et quarta, item patria Armenia maior, id est prima et secunda, item patria Siania Caucusorum, item patria Albania, item patria Masageton, item patria Caspiae, item patria Lepon, patria Iberia, item patria Lazorum quae patriae infra, se habent diversas provincias, ex quibus aliquantas nominare volumus, id est..., p. 68—69. Упомянутый в тексте Siania Caucusorum Маркварт исправляет в Siunia Caucasorum. См. Dr. Jos. Markwart, «Skizzen zur historischen Topographie und Geschichte von Kaukasien. Das Itinerar von Artaxata nach Armastica auf der römischen Weltkarte», Handes Amsoreay, 1928, p. 831.

5 В арм. «Географии» (Soucry, p. 27) сохранилась в дефектном чтении Փւիք вместо правильного Լփնիք.

6 См. Вахушти, «География Грузии», стр. 120.

7 Ук. соч. Soucry, p. 27.

8 Баладзори, араб. текст, стр. 9.

Последние — племя дидойцев — известны и поныне и живут в верховьях р. Андийское Койсу, в долине ее притока — р. Ор-цхали. Племя сильвов, resp. чилбов, как сообщает М. Каланкатуйский, жило за племенем лбинов, ибо указанное посольство, выйдя из города лбинов, перешло «в страну (племени) чилб, у подошвы великой горы», т. е. Кавказского хребта. Если они перевалили Кадорский перевал, за которым жило племя дидойцев, то на южном склоне Главного Кавказа мы должны предположить местожительство племени чилб. Может быть, название этого племени сохранили наименование р. Чел-та (ჩელთა ϑ̣el-ϑ-a) и сел. Шил-да (შილდა šıl-da).[1]

Они, в таком случае, действительно живут по «челу» Кавказских гор, а «ниже» их, в долине р. Алазани (в верхнем течении), живут лупении, resp. липнийцы. Наконец, в подтверждение сказанного, приведем данные карты Птоломея. К югу, у подножия Кавказских гор (Caucasus mons), между Иберией и Албанией, указывается пункт — «деревня Лубион» (Λούβιον κώμη 75°40″ д. и 46°50″ ш.), недалеко от него, в горах Кавказа указан проход Sarmaticae Portae (Σαρματικαὶ Πύλαι, 77° д. и 47° ш.), оттуда же начинается река, впадающая в Куру (Cyrus fl.), которая должна быть р. Алазань.[2] Таким образом данные карты Птоломея указывают тот же географический район, и упомянутый проход Sarmaticae Portae должен соответствовать нын. Кадорскому перевалу.

Теперь обратимся к самому названию страны и племени Ləφ-nı-q, Lıφ-ın-oı, Lup-en-ii. В данном случае мы имеем усеченную форму того же названия Al-b-an, Alowan, аналогией чему может служить дериват последнего Aran ⟶ Ran. Сказанное нами подтверждается тем, что р. Алазань в армянской анонимной «Географии» называется Alowan (Աղուան, Soukry, p. 29), чему соответствует Albana fl. античных авторов, но та же река еще в XVI в. (во всяком случае, в верхнем течении) называлась «Лабан», как это нам сохранила «Книга Большого Чертежа» (изд. М. Спасского, 1846, стр. 60). Таким образом Alowan || Alban = Laban || Ləφ nı-q, Lıφın-oı, Lupenii. Следовательно, получаем следующий ряд:

Alow-an || Alb-an ⟶ Aran

Ləφ-ın || Lab-an ⟶ Ran.

Это сопоставление нам показывает, что мы имеем различные формы названия народа албанов, resp. алванов (= алов) и страны Албании, resp. Алованк (поздняя форма Ağowan-q «Агуан-к»), которые являются

[1] Эта форма соответствует деривату того же названия Ճիղբք ṭıl-b-q, Շիղպ-ք šıl-p-q, где вместо губного показателя множественности b имеем зубной d.

[2] Claudii Ptolemaei Geographia, ed. C. Müller, Parisiis, 1901, p. 927.

продуктом различных этнических образований и различных эпох. Исходя из этого, делаётся совершенно не случайным и обусловливается исторически присутствие в верховьях р. Алазани таких топонимических названий, как: Alvan-ı (ალვანი два сел. «Нижний» и «Верхний Алвани»), Alon-ı ალონი — весь указанный район, Aran-ϑa (არანთა — селение) и даже Al-av-er-d-ı (ალავერდი — селение и монастырь), рядом с ними существуют Laφan-eb-ı (ლაფანები — селение) и Lopota (ლოპოტა — река и селение); все упомянутые названия отнюдь не новые и почти все упоминаются в «Географии» Вахушти,[1] а Lopota упоминается еще у Джуаншера.[2] На месте одного из этих пунктов Аранта или Алвани должны предположить «город (племени) лбин», а последнему должна соответствовать Albana античных авторов. Наконец, племя лбинов упоминается единственный раз у арабских авторов при упоминании прохода Bab Lıban-šah у Ибн-Хордадбе. Грузинские источники не сохранили этого названия.

Итак, дорога, пройденная посольством Вараз-Трдата к хазарам, ни в коем случае не могла пролегать через Дербент, они прошли по маршруту: Барда — Евлах, Мингечаурская переправа — (Агдаш — Кабала — Хачмаз) — Нуха —Ках — Закатала — Лагодехи — Кварели, Напареули — Кадорский перевал — каньон р. Андийское Койсу — Буйнакск — Кафир — Кумух. Несмотря на все удобства дороги через Дербент, послы не могли при всем желании пройти. Последнее было обусловлено создавшейся политической ситуацией. После завоевания арабами столицы Албании, г. Партава в 654 г., арабы исключительное внимание обращают на Дербентский проход. Это было наиболее уязвимое место, откуда после падения Сасанидов производились периодические вторжения хазар, доходящих иногда до северных пределов Ирана. Это обстоятельство мешало арабам и расстраивало их планы захватить Константинополь и подчинить халифату всю империю. Арабские полководцы в течение VII в., вплоть до первой четверти VIII в., совершают постоянные военные походы против хазар, и укрепления Дербента постоянно переходят из рук в руки. В районе Дербента арабы концентрируют многочисленные военные силы, находящиеся в состоянии постоянных военных операций против хазар, в которые вовлекаются местные владетели — царьки многочисленных мелких племен нын. Южного Дагестана. Последних также постоянно приходилось усмирять. При таком положении вещей в районе Дербента, албанские феодалы, отложившиеся от халифата и просящие покро-

[1] См. Вахушти, «География Грузии», стр. 120—128; груз. текст, стр. 156—166.

[2] Histoire de la Géorgie (ქართლის ცხოვრება) в изд. M. Brosset, ч. I, 2-е стереот. изд. под ред. акад. Н. Я. Марра, Пгр., 1923, стр. 147.

вительства у хазарского хакана, очевидно не осмелились бы посылать свою миссию по этому обычному пути. Кроме всего прочего, сама по себе посылка посольства была направлена против арабов и вряд ли могла делаться открыто. С целью избежать столкновений с расположенными в районе Дербента арабскими военными силами и представителями власти халифата, посольство и выбрало эту довольно трудную дорогу, притом в зимнее время, когда она почти непроходима. Указанная дорога вряд ли вообще имела значение для торговых сношений: о ней вспоминали только в такие исключительные моменты. Она, по всей видимости, служила убежищем для всех антиарабски-настроенных элементов. Этим маршрутом, как видим, интересуется уже в XVI в. Московское государство.

Все эти факты достаточно убедительно доказывают, что нижеприведенный отрывок внесен в текст с целью показать освященное традицией место, где, согласно клерикальной истории албанской церкви, погиб ее основатель. «Изнуренные и утомленные они против воли свернули на другую дорогу, и после долгодневного пути прибыли в древнюю резиденцию царей, в то место, где сподобился (умереть) св. Григорис, католикос албанский.

Оттуда через несколько дней они достигли ворот Чога, недалеко от Дарбанда. И получив от жителей города помощь и почести...» Факты эти не связаны, как видели, органически с остальной частью текста и носят характер интерполяции, которая совершена если не самим автором, то во всяком случае его позднейшим компилятором М. Каланкатуйским.

Эта миссия к хазарскому хакану, на которую возлагалось столь много надежд албанской знатью, имела очень плохие последствия, которых последняя не предвидела. Как видно, Албания связалась вассальными обязательствами с хазарским хаканом и вносила последнему подати, на которые хазары претендовали тотчас же после падения в стране власти Сасанидов.

Сыну Мервана I (683—685 гг.), халифу Абдаль-Малеку (685—705 гг.) удалось усмирить продолжавшиеся уже пять лет междоусобия среди арабских племен в борьбе за власть, и для того, чтобы укрепить свое положение, он поспешил подписать мирный договор с Византией. По свидетельству византийского историка Феофана, согласно договору, заключенному Абдаль-Малеком с Юстинианом II (685—695 гг.), арабы и Византия должны были одновременно владеть островом Кипром и странами Армения и Иберия, т. е. доходы с этих стран подлежали дележу пополам. Мир был заключен на десять лет (685—695 гг.).[1] Хотя у Феофана Алба-

[1] Ю. Кулаковский. История Византии. Киев, 1915, т. III, стр. 254.

ния не упомянута, но несомненно, что и она находилась в числе поделенных стран. Это подтверждается косвенными свидетельствами сирийских летописцев.[1] Если Армении и Иберии пришлось быть вассалами обеих держав — халифата и Византии, то Албании пришлось подчиняться еще третьей державе — хазарскому хаканату, в соответствии с чем Албании, кроме того, пришлось платить еще хакану. По свидетельству М. Каланкатуйского, «князь Вараз-Трдат платил подать трем народам: хазарам, таджикам и ромеям»[2] (*. . . իշխանն Վարազ Տրդատ ընդ երիս հարկէր՝ Խազրաց, Տաճկաց և Հոռոմոց։ Մ. Կաղանկատ.* III, *ժբ*, стр. 356—357 = русск. пер. «Истории Агван», стр. 253). Таким образом в результате заключения указанного договора в стране снова восстанавливалась власть арабов, но временно.

Однако, несмотря на заключение мирного договора, Юстиниан II через три года (в 688 г.) посылает в Армению войска под начальством стратига анатоликов Леонтия. По свидетельству Феофана, Леонтий покорил Армению, Албанию, Буканию (должно быть: Муканию), всюду он истреблял арабские гарнизоны и обложил эти земли податями в доход казны.[3] Армянский же историк Асохик свидетельствует, что «Юстиниан в третий год своего царствования (т. е. в 688 г.) прислал в Армению ужасные войска, которые огнем и пленением разрушили 25 областей и взяв в плен 8000 дымов продали (в рабство)» (*Ասող իկ*, стр. 100 = русск. пер. Н. Эмина «Всеобщ. ист. Асохика», стр. 72). На следующий (689) год прибывает сам Юстиниан II с войсками в Армению и, разделив свою армию на три части, посылает их в Армению, Картли и Албанию. Он «вызывает к себе всех владетелей этих стран и они пошли к нему не по своей доброй воле, а по принуждению. А он (т. е. Юстиниан II) некоторых из князей увел с собою, а с других попросил в заложники их сыновей, в числе которых был также католикос Армении Сахак III (677—703), которого сослал вместе с пятью епископами» (Асохик, стр. 100—101 = русск. пер. там же). Этими мероприятиями он закреплял за собою Армению, Картли и Албанию, почему он стремится расположить к себе ту часть знати, которая была антиарабски настроена. По свидетельству того же Асохика, Юстиниан II «возвысил царскими дарами и назначил владетелями стран: Нерсеха, тэра (владетельного князя) Ширака, — комса Капойтира, ишхана Армении, и Вараздата (должно быть: Вараз-Трдат), которого возвысил патрицием-экзархом, т. е. вторым после царя ишханом Албании и, оставив им вспомогательное 30 000 войско,

[1] Ю. Кулаковский. История Византии. Киев, 1915, т. III, стр. 254.

[2] В перев. К. П. «грекам».

[3] См. Ю. Кулаковский, «История Византии», т. III, стр. 257.

возвратился в Константинополь» (Асохик, арм. текст, стр. 101 = русск. перев. Н. Эмина там же). Эти жестокости Византии вызвали восстание владетеля Лазики Сергия, сына Барнукия, который отпал от Византии и подчинился арабам.[1]

После низложения императоров Юстиниана II в 695 г. и Леона в 698 г. новый император Тиберий III Апсимар (698—705 гг.) преследовал всех сторонников низложенного Юстиниана II, в том числе и албанского князя Вараз-Трдата. По свидетельству М. Каланкатуйского, князь Вараз-Трдат с сыновьями Гагик и Вардан вынужден был отправиться в Константинополь в 699 г. Тиберий III Апсимар жестоко обошелся с пришедшими, они были отданы под стражу (М. Каланкатуйский, арм. текст, III, 12, стр. 358 = русск. перев. «История Агван», стр. 253). Это, очевидно, было связано с тем, что при Юстиниане II Вараз-Трдат пользовался особым вниманием; после бегства Юстиниана II к хазарам, с которыми он заключил союз и даже породнился и с их помощью собирался вернуть себе престол, мог быть использован для этой цели Вараз-Трдат, который, как видели, находился в вассальных отношениях с хазарами, поэтому нужно было убрать это нежелательное лицо.

Опасения Тиберия III Апсимара оправдались. В 705 г. Юстиниан II с помощью болгарского хана Тербела захватил Константинополь и снова провозгласил себя императором. Он жестоко отомстил как Тиберию, так и Леону, а Вараз-Трдата отпустил на родину, после 5-летнего заключения, сыновей же по некоторым соображениям оставил при себе заложниками.[2] Они были отпущены на родину лишь при Филиппике Вардане (711—713 гг.). Возвратившийся Вараз-Трдат встретил совершенно новое положение вещей. Внутренние раздоры, не прекращавшиеся в Византии, были на-руку халифату, который с этих пор идет в гору; арабы одерживают одну за другою крупные победы и окончательно завоевывают страны начиная от Средней Азии и северной части Индии и кончая Северной Африкой, вплоть до Испании и южной части Франции — в Европе. Они обратили внимание также на страны Закавказья, которые временно были оставлены на произвол Византии. В 701 г. халиф Абдель-Малек послал в Армению с войсками своего брата Мухаммеда ибн-Мервана, который расправился с армянской знатью за ее измену арабам и переход к Византии (Гевонд, VII, арм.

[1] ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, წ. II, ტფილისი, 1914, стр. 349.

[2] Кулаковский, ук. соч., стр. 285—289; см. Каланкатуйский, III, 12, арм. текст, стр. 357 = русск. перев. «История Агван», стр. 253; Гевонд, V, арм. текст, стр. 17 = русск. перев. «История халифов», стр. 11.

текст, стр. 19—20 = русск. перев. «История халифов», стр. 12). После второго похода в 703 г. Мухаммеду удалось усмирить армянскую знать, продолжавшую надеяться на помощь Византии. После этого Абдель-Малек назначил правителем Армении брата своего Мухаммеда ибн-Мервана, как говорит Баладзори, «снова подчинил всю страну, а тем (из армянской знати), кто остался в живых, он обещал увеличить льготы» (Баладзори, стр. 15); для этой цели он приглашает армянскую знать, как передает Гевонд, «под предлогом — внести их в список для получения жалованья», но запирает их в церквах Нахчавана и Храма и предает огню (Гевонд, X, арм. текст, 33 = русск. перев. «История халифов», стр. 22). Это случилось в 704 г., «после того, — по свидетельству М. Каланкатуйского, — (арабы) увели в Тарон и оттуда в Сирию князя албанского Шероиэ (699—705 гг.) вместе с азатами, на 153 г. армянской эры», т. е. в 705 г. (М. Каланкатуйский, III, 17, арм. текст, стр. 367 = русск. перев. «История Агван», стр. 260). Это был последний представитель Михранидов, имевший сюзеренные права над Албанией. После этого Михраниды низводятся на степень рядовых феодалов. Наступает эпоха высшего расцвета арабского халифата. В Партаве (Берда'а арабов) утверждаются арабские правители, которые чеканят свою монету. До нас дошли экземпляры этой монеты 708—709 гг. — от времени правления халифа Валида I (705—715 гг.).[1] Вернувшийся из Византии князь Вараз-Трдат навсегда отложился от Византии и хазар и «отдал страну таджикам и лишь им одним вносил подать» (М. Каланкатуйский, III, 12, арм. текст, стр. 357 = русск. перев. «История Агван», стр. 253). Конечно, он вынужден был примириться с установившимся в его отсутствие порядком вещей.

Окончательное утверждение арабов в Албании должно было сильно беспокоить хазар, которые снова вторгаются в Закавказье в 711 г. (М. Каланкатуйский, III, 17, арм. текст, 367 = русск. перев. «История Агван», стр. 260) и на несколько лет утверждаются в прибрежной части Албании. Это заставило халифат снова подумать об укреплении в первую очередь Дербентского прохода. В 717 г. полководец Маслама оттеснил хазар и взял Дербент (ук. соч., «История Агван»), но в 724 г. последовало еще более ужасное нашествие: хазарские полчища проникли вплоть до Ардебиля. После опустошения страны последовали чума и голод; в борьбе с хазарами пал арабский полководец ал-Джаррах (Баладзори, стр. 16; Гевонд, стр. 72; М. Каганкатваци, «История Агван», стр. 261).

[1] В. В. Бартольд. Место прикаспийских степей в истории мусульманского мира. Баку, 1924, стр. 27.

Халиф Хишам (724—743 гг.) назначил правителем Армении, Албании и Иберии (Картли) Масламу ибн-Абдул Малека (Баладзори, стр. 77), который покорил мелкие горские племена с их царьками и, заручившись их поддержкой, окончательно выгнал из Дербента хазар и, прочно обосновавшись в этом районе, возобновил крепостные укрепления города, которые оставались разрушенными со времени падения Сасанидов (Баладзори, стр. 17). Город был назван Баб-уль-Абваб (в 731 г. «История Агван», там же). Арабы здесь прочно укрепились и образовали пограничные военные поселения из 24 000 арабских солдат, переселенцев из Сирии, которым казна выдавала усиленное жалованье (Баладзори, там же). После этих оборонительных мероприятий, по свидетельству армянских и грузинских авторов (Гевонд, стр. 81; ჟუანშერი. «Картлис Цховреба», сп. цар. Марии, *433, стр. 221), был водворен полный мир, и начинается период строительства.

Укрепившись в Албании и Иберии (Картли), арабы не перестают воевать с горскими племенами и хазарами; последние почти перестали вторгаться в Закавказье. Последнее значительное вторжение в Закавказье относится к 764 г., когда хазары опустошили левобережную Албанию и Иберию, resp. Картли (Гевонд, стр. 92—93).

После этого нашествия в источниках не упоминается более о новых походах хазар. Непрестанные военные походы арабов в Хазарию сломили силы хазар, они обосновались в Итиле, у устья Волги. С этого времени начинается новый период в истории хазар, и территория Восточного Закавказья перестает быть объектом набегов северных номадов. Наоборот, отныне она становится узловым центром торговли северных стран — южнорусских степей, с югом — Ираном и Малой Азией.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правители Албании из рода Михранидов (Михракан) в период утверждения власти халифата в Албании

Вараз-Григор	628—636
Джуаншер	636—669
Вараз-Трдат	669—699
Шероиэ	699—705

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАД. НАУК СССР
Том VII

В. М. БЕСКРОВНЫЙ

Отклики индийской прессы на политику фашистских агрессоров

Часть I

Итало-абиссинская война и Индия

Агрессивные действия Муссолини в Африке, с помощью которых он принялся за претворение в действительность своего плана создания новой «римской империи», весьма ощутительно ударили по интересам британского империализма. Англию страшит не только эксплоатация вод озера Тана каким-нибудь захватчиком Абиссинии, но и потрясение всего гигантского здания Британской империи. Укрепление конкурирующего империализма в стране, соседящей с Египтом, Аравией, — колониями и сферами влияния Англии, — представляет для Англии угрозу коммуникациям к главному источнику силы и могущества британского империализма, к сердцу британской империи, — Индии, угрозу потери Индии тем или иным путем.

«Индия — стержень нашей империи. Если мы лишимся какого-нибудь другого доминиона, мы выживем, но если потеряем Индию, солнце нашей империи закатится», говорил в 1898 г. лорд Керзон.[1]

Известно, что в фашистских кругах Италии существует настроение, идущее гораздо дальше захвата одной Абиссинии и вытеснения Англии и Франции из Африки и нашедшее отражение, — если верить Альберту Витону, корреспонденту «Nation» — в словах одного из видных итальянских экономистов: «Италия будет процветать на могиле Британской империи».[2]

Сами итальянские газеты не скрывали того, что борьба за Абиссинию являлась лишь частью осуществления более широких планов, в частности

[1] Times, 3 XII 1898.

[2] Advance, 29 XI 1935. Журналистка Sylvia Saunders в «The New Statesman» пишет о виденном ею в Италии поезде с больными и ранеными солдатами с абиссинского фронта. На первом вагоне было написано «Мы сделаем Англию колонией» (Advance, 14 I 1936).

планов установления господства Италии в Средиземном море за счет подрыва старых позиций Англии. «Стампа» в корреспонденции из Хайфы писала:

«Англия, разрешая жизненную проблему имперского пути в Индию, неуклонно стремится увеличить имеющиеся у нее возможности, увеличить маршруты и варианты маршрутов, которые через африканский и азиатский материки сходятся к главному пути, т. е. к морскому пути. Получается двойная сеть сухопутных путей по обе стороны этого основного морского пути — со стороны Африки и со стороны Азии. Они укрепляют в огромных размерах оборону морского пути против каких-либо посягательств и в то же время могут быть использованы и сами по себе. Но подобная сеть неизбежно лишает остальные народы возможности дышать, лишает их свободы движения. И как раз Италия своими действиями в Абиссинии стремится закрепиться поперек одной из групп этих вспомогательных путей, а именно — поперек африканской группы. А между тем Италия представляет собой державу, которая уже закрепилась и расширяет свои позиции и на центральном морском маршруте».[1]

Понятно поэтому, что опасения за западные ворота Индийского океана — Аден, за Суэцкий канал и за важнейшую колонию — Индию заставляют Англию предпринять меры к самосохранению на азиатском материке.

Британский империализм всегда рассматривал Индию как резервуар средств и военных сил. Призвание индийской армии защищать интересы Британии четко сформулировано лордом Керзоном.

«Фактически индийская армия всегда обладала, и гордилась этим, тройной функцией: сохранение внутреннего мира в самой Индии; защита индийских границ; и готовность в любой момент отправиться на служение империи в другую часть земного шара. В этом третьем аспекте Индия на протяжении долгого времени была одним из важнейших элементов в схеме защиты Британской империи, снабжая британское правительство боевой силой, всегда готовой, удивительной боеспособности и проверенной ценности».[2]

Длинная серия британских завоевательных войн эпохи становления империи и позже как в самой Индии, так и вне ее легла тягчайшим бременем на индийские народные массы. Сама Англия на защиту своего

[1] Известия ЦИК и ВЦИК, 24 XI 1935.

[2] B. Sapre. The growth of Indian constitution and administration. 1929, pp. 458—459. В 1921 г. индийское законодательное собрание приняло решение о том, что «organisation, equipment and administration (армии в Индии. *В. Б.*) should be thoroughly up to date with due regard to Indian conditions in accordance with present-day standards of efficiency in the British Army, so that when the army in India has to co-operate with the British Army on any occasion there may be no such dissimilarities of organisation which would render such co-operation difficult».

господства в нужной ей Индии не истратила ни одного шиллинга. Даже когда Англия посылала в Индию дополнительные войска для спасения своих позиций, то и тогда военные издержки черпались из доходов Индии и покрывались как правительственный долг Индии Англии. За подавление сипайского восстания Англия взяла с Индии 40 млн. ф. ст.[1]

Британским отрядам, подавлявшим восстание, было уплачено не только за время их действий в Индии, но и за 6 месяцев до отплытия из Англии.[2]

После 1858 г. британские многочисленные экспедиции — в Китай, Читрал, Тибет, Абиссинию[3] и др. — и вторая афганская война стоили Индии около 230 млн. рупий. Сама Британия, сделав единственное исключение, ассигновала 5 млн. ф. ст. на вторую афганскую войну.

На ведение своей войны с Германией в 1914 г. Англия взяла у Индии 250 млн. ф. ст.[4] и миллион солдат, хотя по конституции, согласно § 20 «The government of India act of 1915», она не имела права мобилизовать индийские средства для своих целей.

И в пору, когда укрепление итальянского империализма в Восточной Африке грозит ослаблением Великобритании на всем Востоке и в Средиземном море, выпадением Индии из состава Британской империи, Англия обращается к Индии, как к испытанному источнику своей силы.

Вопросы, связанные с Суэцким каналом, Восточной Африкой и Средиземным морем — вопросы бытия Британской империи. Поэтому естественно, что Англия в данном случае выступила формально в защиту устава Лиги Наций. Ее стремление не вступать самой в войну сейчас и разрешить для себя вопрос путем компромисса за счет Абиссинии, хотя бы ценой нарушения устава Лиги Наций, определялось сложным политическим положением как в Европе, так и на Дальнем Востоке. Победа Италии над Абиссинией была неприемлема и невыгодна для Англии. Но и победа Абиссинии тоже несла с собой неприятную для империи перспективу.

С одной стороны, в окончательно обанкротившейся фашистской Италии возросла бы опасность революционных взрывов, а с другой — победа Абиссинии, стяжающей к себе в период борьбы симпатии народов всех колоний, дала бы последним пример борьбы за независимость. Кроме этого

[1] K. T. Shah. The public debt of India. India Analysed, vol. III, L., 1934.

[2] R. Dutt. India in the Victorian age. L., 1906.

[3] Одна экспедиция в Абиссинию (1867—1868 гг.) стоила 8 000 000 ф. ст. J. Grant. British battles on land and sea, vol. III, p. 275.

[4] См. K. T. Shah, op. cit.

Англия — и не только Англия[1] — опасается, что в этом случае трудящиеся массы Востока придут к консолидации против хищников империализма, сильнейшим из которых является великобританский.

Вступление Англии в войну означало бы начало новой мировой войны, развязывание революционного движения в колониях и конец колониальной системы.

При такой ситуации Англия, готовясь к войне, использует Индию, готовую на крайний случай боевую силу, как средство для давления на агрессора, чтобы притти с ним к тому или иному компромиссу. Проект англо-французского соглашения 8 декабря 1935 г. был результатом такой политики Англии.

Вначале связь между приготовлениями к войне в Европе и планами военных контракторов насчет индийских ресурсов официально отрицалась, как это показали ответы секретаря по военным делам на запросы в индийском Законодательном собрании в начале сентября 1935 г.[2] Но на самом деле со стороны метрополии и ее индийских агентов велись зондирование и обработка индийского общественного мнения. Бенаресская газета «Aj» писала 27 августа:

«Корреспондент „Хиндустан Таймс" получил сведения, что британский кабинет министров очень желал узнать мнение индийцев относительно итало-абиссинского столкновения и что совет при вице-короле после совещаний в Симле и „Уайт Холле" принял решение послать в Аддис-Абебу один батальон индийских войск.

Говорят, индийское правительство сообщило британскому правительству, что в Индии общественное мнение на стороне Абиссинии и индийский народ поддержит британское правительство, если оно решит оказать помощь Абиссинии».

24 августа из Индии в Аддис-Абебу отправляется батальон одного из пенджабских полков с большим грузом хлеба и других продуктов.[3] Политический секретарь при индийском правительстве Гленси на заседании

[1] Под впечатлением итало-абиссинской войны и других событий на Востоке американский журналист Н. Пэффер в «New York Magazine» посвятил также вопросу о судьбе господства империализма в колониях свою статью, в которой предсказывает оживление национального движения в колониях в связи с потерей западными державами «своего лица» на Востоке. См. Известия ЦИК и ВЦИК, 10 V 1936.

[2] Mr. Tittenham, Army Secretary, denied Satyamurti's suggestions about preparations for a war in Europe or sounding army contractors regarding the capacity for provisions or increase of forces or distribution of armaments in India». Assembly Questions, Advance 7 IX 1935.

[3] Aj, 25 VIII 1935.

Государственного совета («верхняя палата» индийского правительства) 17 сентября аргументировал эту военную посылку необходимостью защиты индийцев и британских подданных и предупредительно подчеркнул, что все издержки по содержанию войск британское правительство взяло на себя.[1]

Стремление нащупать и подготовить почву чувствовалось и в выступлении главнокомандующего индийской армии фельдмаршала сэра Филиппа Четвуда на том же заседании Государственного совета. «Совершенно необходимо, чтобы мы были заблаговременно предупреждены в случае вступления Англии в войну, — сказал он. — Но бывают такие обстоятельства, когда... вопрос о посылке войск надо будет решать быстро. Вообще же для принятия решения будет предоставлено достаточно времени.

Мы хотим, чтобы Индия была с нами, если мы (Англия. *В. Б.*) начнем войну».[2]

Постепенная постановка британскими империалистами вопроса об участии Индии в войне объяснялась как незнанием еще размеров итальянских аппетитов (Англия надеялась, что Италия примет ее компромиссные предложения), так и обостренным политическим положением в Индии, где коммунистическая партия уже стала значительной силой в антиимпериалистической борьбе.

Согласно англо-итальянскому соглашению 1925 г. Англия предоставляла Италии свободу рук в Абиссинии: и до августа 1935 г. Британия ни в чем не проявила в Индии намерения отступить от нейтралитета. Об этом свидетельствует следующее сообщение из Бомбея от 20 августа: «сообщают, что итальянское правительство предприняло меры к вербовке индийских рабочих для итальянского Сомали и в связи с этим британским властям был представлен проект соглашения. Этот проект был одобрен индийским правительством. Но ввиду новейших событий в итало-абиссинском кризисе, план был аннулирован и возможность использовать индийский труд в итальянском Сомали прекратилась».[3]

Чем гуще собирались тучи войны над северо-восточной Африкой, тем яснее становилось, чего хочет Англия от Индии в создавшейся обстановке.

На заседании Государственного совета 24 сентября было выдвинуто предложение настаивать от лица индийского правительства перед правитель-

[1] Aj, 19 IX 1935. Согласно итальянскому манифесту, обращенному к Индии, в Абиссинии 2000 индийских резидентов (Civil and Military Gazette, 18 IX 1935); по словам индусов, вернувшихся в Индию после начала военных действий из Аддис-Абебы, их 4—5 тысяч (Aj, 8 IX 35).

[2] Aj, 19 IX 1935.

[3] Advance, 21 VIII 1935.

ством Англии, чтобы последнее взяло на себя содержание двух британских дивизий, пребывающих в Индии. Член совета Гусейн Имам, выдвинувший это предложение, указывал, что ни один доминион не имеет столько войск и не расходует на них столько средств, сколько Индия, и что 10 000 британских солдат в Египте Англия держит на свой счет. В ответ на это фельдмаршал Ф. Четвуд заявил: «...все же я возражаю сейчас против этого предложения, только потому, что оно не своевременно. Причина этого в том, что в настоящее время Англия противостоит тому миру, который потерял голову и помешался на войне... Англия поневоле вынуждена удвоить свои морские и сухопутные силы. Вместе с этим ей приходится нести тяжесть охраны империи. Если предположить на минуту, что Англия потерпит поражение в какой-нибудь войне, то в таком случае разве не останется Индия беззащитной? Индия не может защитить даже своих морей. Поэтому я прошу предложение взять обратно».[1]

Предложение было взято обратно.

Как только загремели итальянские пушки в Абиссинии, индийские войска получили приказ быть наготове для отбытия куда последует распоряжение, — в Восточную Африку, Египет или Аден. Известная пароходная компания в Карачи предоставила 20 пароходов для транспортировки войск. В начале октября из Индии должны были отбыть несколько тысяч войск, большая часть которых индийцы.[2]

16 октября Эссекский полк, предназначавшийся ранее для отправки в Судан в декабре, отбыл из Бомбея на транспорте «Nevasa» в «неизвестном направлении».[3] 13 октября из бомбейского порта в Карачи переправляется пароход «Ellora», приспособлявшийся для перевозки войск в Восточную Африку.[4] В это же время становится известным, что Цейлон призван стать важным пунктом в схеме защиты империи. Порт Тринкомали спешно превращается в первоклассную морскую базу, и идут разговоры о том, что Цейлон будет иметь собственный совет обороны (Defence Council).[5]

Закипела работа и в бомбейском порту. Часть пароходов стояла под парами, чтобы в любой момент по приказу британского военного министерства устремиться с пушечным мясом в сторону Африки.[6] Нанимались сотни

[1] Aj, 26 IX 1935.

[2] Aj, 7 X 1935.

[3] Advance, 17 X 1935; Bombay Chronicle, 17 X 1935, писал, что на этом пароходе отбыло 1000 солдат названного полка с назначением в Суэцкий канал.

[4] Bombay Chronicle, 17 X 1935.

[5] Advance, 4 X 1935.

[6] Aj, 4 X 1935.

рабочих для переоборудования пассажирских пароходов в пловучие лазареты. Суда, несшие во время мировой войны госпитальную службу и позже переделанные в пассажирские, вновь принимали вид, какой они имели два десятилетия назад. Для пополнения транспорта из Калькутты в Бомбей переводились дополнительно суда за грузом солдат и аммуниции.[1]

Индийское правительство объявило набор добровольцев — медиков и почтовых служащих, готовых «в случае войны в Абиссинии или на границе Индии» работать на фронте. В этом же плане муниципалитет Карачи принял решение за счет своего казначейства и добровольных взносов снарядить в Абиссинию отряд докторов.[2]

В конце ноября в Бомбее публикуется комюнике о предстоящих маневрах в районе гавани с целью отражения нападения с моря.[3]

Стоя перед перспективой крупных потрясений в результате роста итальянской агрессии, Англия старается использовать антиитальянские настроения в Индии. Путем спекуляции на сочувствии индийских масс к абиссинскому народу, Англия пыталась склонить Индию к участию в возможной войне и таким образом произвести давление на Италию, чтобы добиться компромисса на основе империалистических сделок за счет Абиссинии. Лишь после проведенной Англией реальной подготовки, в частности демонстрации военных приготовлений в Индии, могла состояться известная беседа Дреммонда с Муссолини, в которой была сделана «легкая ссылка» на возможность прекращения войны.

Стремление Великобритании использовать Индию в итало-абиссинской войне для защиты собственных интересов находило задушевный отклик среди индийской буржуазии.

Так, например, на собрании мусульманской буржуазии в Джанси некий Хан Мохаммед Рафик, судья и издатель местной газеты, выдвинул единогласно принятую резолюцию. В резолюции говорилось, что в случае войны между Италией и Абиссинией (собрание состоялось в первой половине сентября) мусульмане от всего сердца поддержат британское правительство. Верноподданный судья и издатель мотивировал это тем, что абиссинцы в свое время давали убежище мусульманам, преследуемым в Аравии.[4]

1 Aj, 11 X 1935.

2 Aj, 4 X 1935.

3 Advance, 30 XI 1935.

4 Advance, 10 IX 1935. Надо заметить, что антиитальянское настроение индийских дельцов подзадоривалось из Лондона. В одной из лондонских корреспонденций в калькутском экономическом журнале «Capital» предсказывалось «окончательное падение» индийской торговли в результате «авантюры Муссолини в Абиссинии» и превращение Абиссинии в итальянский источник сырья и продуктов, прежде ввозившихся в Италию из Индии.

Но подлинные мотивы рьяной готовности служить метрополии объясняются стремлением буржуазии к наживе. «Как олень жаждет свежей воды, так буржуазная душа жаждет теперь (во время кризиса. *В. Б.*) денег, этого единственного богатства» (К. Маркс, Капитал, т. I, Партиздат, 1937, стр. 154). Кроме того, этот индийский «олень» сам нуждается ради своего благополучия в британской охране.

Годы кризиса довели индийский народ до крайне низкого жизненного уровня. Хронически мизерная в колониальных условиях покупательная способность масс представляет большое затруднение для индийской буржуазии на внутреннем рынке. Поэтому война для индийских купцов и промышленников означала бы поправку своих дел и возможность создания условий для выторговывания уступок от метрополии. В погоне за барышами они отнюдь не декларируют свою верность какому-либо одному избранному империализму, как сделали мусульмане Джанси. Деятельность бомбейских купцов в этом отношении достаточно показательна.

Уже одно приближение военных событий в Восточной Африке имело результатом оживление на хлебных и зерновых бомбейских рынках. За три месяца, кончая 15 августа, из Бомбея в Италию было вывезено 8000 т семян клещевины (идущих на авиационное масло) и большое количество пищевых продуктов в Аден.[1] Оптовые цены за это время значительно поднялись. Известие о начале военных действий еще выше подогнало цены и курсы на бомбейской бирже.

Торговые магнаты Бомбея, поставлявшие итальянцам в Африку рис, пшеницу, просо, обувь и пр., учредили в конце августа синдикат, заключавший сделки с итальянским правительством. Но деятельность бомбейской буржуазии не ограничилась только итальянскими поставками. Купцы, ведшие до тех пор индивидуально торговлю с Абиссинией, учредили параллельный синдикат, снабжавший Абиссинию всеми необходимыми товарами. Между прочим участниками его явились японские трикотажные фабриканты, захватившие монополию на бомбейском рынке. Синдикат приложил все усилия, чтобы перебросить по назначению как можно больше товаров через

«При данной ситуации следует, в особенности индийским вождям, отбросить политические предубеждения и смотреть прямо в глаза экономической действительности», советовал лондонский корреспондент (Capital, 12 IX 1935).

В pendant к этому звучат речи даже некоторых рабочих вождей. На состоявшемся 1 сентября в Бомбее в здании Национального конгресса собрании индусов и мусульман выступил Мехер Али, который напомнил об «исторических и религиозных узах, связывающих мусульманскую Индию и Эфиопию», и отметил экономические интересы индийцев в Эфиопии.

[1] Advance, 17 VIII 1935.

Джибути до возникновения трудностей, связанных с началом военных действий.[1]

Еще до начала войны, предвкушая хорошие барыши, индийские торговцы стали увеличивать на своих складах запасы пищевых продуктов и предметов широкого потребления. С началом военных действий на бомбейском рынке поднялся ажиотаж, цены устремились вверх. Цены на льняное семя, пшеницу, касторовое семя в один день поднялись в среднем на 4 анны, тогда как раньше, даже в самую благоприятную конъюнктуру, они поднимались не более как на $^1/_4$—$^1/_2$ анны. Цена на хлопок повысилась на 6 рупий.[2] В один из октябрьских дней на хлопчатобумажном рынке Бомбея продается 100 000 тюков товара, — рекордное количество за ряд лет.[3] Под предлогом сокращения запасов вследствие военного спроса индийские капиталисты занялись спекуляцией. Были вздуты цены на все предметы первой необходимости. В ноябре масло уже стоило на 4—6 анн дороже за 2 $^1/_2$ сира (мера веса), сахар на 1 рупию за маунд; растительное масло — на 1 анну за сир. Мыло, стоившее в сентябре 5 рупий, в ноябре стоило 5 $^1/_2$—6 рупий. Спекулянты распространили свою активность на металлические изделия, химикалии и медикаменты. Глицерин, например, подорожал в три раза.[4]

Наглая спекуляция вызывала справедливое возмущение трудового населения, и индийская пресса вынуждена была обратить на это внимание правительства. «Aj» от 23 X 1935 г. пишет: «Долг благожелательного к народу правительства обратить на это внимание. Иначе из народа будет высосана вся кровь и в стране поднимется беспорядок». Бомбейское правительство в октябре наблюдало за движением цен, но никаких мер к регулированию их не принимало.

Вступление в действие экономических санкций против Италии в торговых кругах было встречено с некоторой тревогой. Экспорт из британской Индии в Италию в 1933/34 г. и 1934/35 г. равнялся приблизительно сумме 5 $^3/_4$ крор рупий или 4 025 000 ф. ст. в год; импорт из Италии за эти же годы — 3 крорам рупий или 2 100 000 ф. ст. в год.[5]

[1] Advance, 22 VIII 1935.

[2] Advance, 4 X 1935.

[3] Advance, 31 X 1935.

[4] Advance, 11 XI 1935; Aj, 19 X 1935.

[5] Great Britain and the East, 5 XII 1935. Стоимость итальянского импорта в Британскую Индию: 1933/34 г. — 29 128 490 рупий, 1934/35 г. — 30 143 368 рупий. Стоимость экспорта из Британской Индии в Италию: 1933/34 г. — 57 537 344 рупий, 1934/35 г. — 57 320 724 рупий (Capital, 7 XI 1935). Италия в Индии имеет значительный текстильный рынок. В 1933/34 г.

Самой большой статьей индийского экспорта в Италию является хлопок. В 1933/34 г. его было вывезено на 23 878 000 рупий, что почти равнялось сумме всего импорта Италии в Индию в том же году, — 29 128 000 рупий.[1] Торговый баланс между Италией и Индией благоприятен для последней, и возможные потери в результате санкций были довольно значительны. Председатель бенгальской торговой палаты N. R. Sarker в одном из выступлений высказал опасение, тревожившее индийских купцов. Он сказал, что если не будет найдено другого компенсирующего рынка для сбыта индийских товаров, то экспортная торговля может прийти к кризису.[2] Вице-король, выступивший на заседании объединенных торговых палат 16 декабря, заявил, что «Индийское правительство всеми средствами, которые будут в его распоряжении, смягчит эффект санкций на Индию».[3]

Со времени вступления санкций в действие, с отменой всех финансовых кредитов Италии, экспорт из Индии пшеницы, риса, муки и других продуктов сильно сократился вследствие неуверенности индийских купцов в выгодном сбыте. Но, стремясь к наживе, торговцы ищут пути обхода препятствий, налагаемых санкциями. Когда стало известно, что санкции вводятся с 18 ноября, они сильно форсировали экспорт. За 10 дней, с 8 по 18 ноября, они экспортировали из Карачи 9000 тюков пшеницы и хлопка, тогда как за два месяца, сентябрь и октябрь, было вывезено 6275 тюков.[4] Очевидно, изыскивались способы снабжения Италии и после 18 ноября. Как только санкции вступили в действие, два торговых дома экспортировали из Карачи через Аден в неизвестный адрес 25 000 мешков пшеницы.[5] Весьма вероятно, что Италия использовала в качестве посредников арабских купцов в Карачи, которые вели торговлю через порт Макалла в Аденском заливе (до санкций товары, закупаемые Италией для своих нужд в Восточной Африке, ввозились через Джибути, Массауа и Магадису). Индийские газеты высказывали предположение, что посылаемый из Карачи на имя арабских купцов товар прямо в Аденском заливе будет перегружаться на пароходы итальянских компаний.[6] Эти дела индий-

она вывезла в Индию пряжи искусственного шелка на 3 757 000 рупий, шерстяных материй на 6 103 000 рупий и хлопчатобумажных тканей и из искусственного шелка на 1 603 000 рупий (Capital, 21 XI 1935).

[1] Capital, 21 XI 1935.

[2] The Indian Trade Journal, 24 XI 1935.

[3] Bombay Chronicle, 17 XII 1935.

[4] Daiuik Pratap, 27 XII 1935.

[5] Advance, 25 XI 1935.

[6] Aj, 24 XI 1935.

ской торговой буржуазии расходились со словами. За две недели до вступления санкций в силу Ману Субедар, председатель индийской торговой палаты, сказал на квартальном заседании палаты в Бомбее: «Индийские коммерческие круги должны осудить бесчинную агрессию Италии против Абиссинии». Р. Чиной, вице-председатель, заявил: «Италия, один из членов основателей Лиги, действует, как настоящий разбойник».[1] В свете последовавших за этим действий коммерческих кругов, это было скорей похвалой, чем порицанием Италии. Отсюда ясно, что все антивоенные заявления торговой буржуазии и, как дальше будет видно, всей индийской буржуазии, носят декларативный характер и используются как монета, за которую с Англии кое-что причитается. «Advance» в статье «Должны ли индийцы поддержать санкции Лиги Наций?» писал: «Индийцы думают, что Лига проявляет себя слишком медлительной и слабой в введении санкций и что если бы они были хозяевами своей страны, то никакую жертву не сочли бы слишком тяжелой для пресечения фашистского нападения. Но даже при этом их поддержка принятых индийским правительством санкций, хотя и не представляющихся тяжелыми, не идет от всего сердца».[2]

* * *

С большой симпатией наблюдали индийские народные массы за героической борьбой Абиссинии за независимость. Они протестуют против втягивания Индии в возможную новую империалистическую бойню. Индийские трудящиеся единым фронтом заявили об этом на многочисленных антивоенных собраниях. В конце сентября в Бомбее под председательством Мехта (правый национал-реформист) состоялось заседание по вопросу об организации большой антивоенной конференции. Была принята резолюция следующего содержания:

«1) Мы категорически считаем, что необходимо защищать независимость и неделимость Абиссинии. Долг Лиги Наций принять меры против Италии.

2) Мы против империалистической войны и не хотим, чтобы Индия участвовала в ней».[3]

Для организации конференции был избран провинциальный комитет, куда вошел упомянутый Мехта, Дзоглекар (представитель революционных организаций) и др.

[1] Bombay Chronicle, 2 XI 1935.
[2] Advance, 11 XI 1935.
[3] Aj, 20 IX 1935.

Народное антивоенное движение в Индии вливается в широкое русло движения национально-освободительного. Индийский рабочий класс, как передовой и на деле доказывающий свою революционность, влечет за собой на борьбу все слои индийского населения, возмущающиеся повседневными проявлениями империалистического колониального гнета. Примером своей борьбы индийский пролетариат пробуждает в отсталых массах революционное сознание и организует их.

С началом военных действий антивоенные рабочие демонстрации, ставшие фактором объединения рабочих масс, преследуются полицией. 7 октября бомбейская полиция не допустила демонстрации протеста против итальянского нападения на Абиссинию, которую хотели провести рабочие Бомбея. В ответ на это было организовано огромное народное собрание, осудившее препятствия, чинимые правительством, и агрессию Италии и выразившее сочувствие Абиссинии.[1]

Запрещение рабочей демонстрации бомбейским правительством было решительно осуждено на общих собраниях в других городах, например в Нагпуре 12 октября.[2]

12 октября в Бомбее на митинге была принята резолюция, в которой между прочим требовалось от торговцев прекращение помощи Италии в виде снабжения ее хлебом и аммуницией.[3]

Попытки индийской буржуазии внушить массам мысль, что Британии в случае нужды надо помочь, так как этим путем Индия приобретет доверие Англии, т. е. получит независимость, не находили сочувственного отклика среди индийских трудящихся. Многочисленные и многолюдные митинги прекрасно отразили антивоенные настроения и стремления к организованным формам протеста. Выступавший на бенаресской конференции молодежи соединенных провинций рабочий лидер Данге говорил: «Поможем ли мы избиению миллионов рабочих и крестьянских юношей, если даже нам дадут „обещание“, обещание сваражда. Некоторые вожди соблазняют нас этой надеждой на обещание. Мы должны ответить недвусмысленным „нет“. Мы ни за что не присоединимся к империалистической резне. Но для всего этого мы должны иметь ясность мысли и здоровую организацию».[4]

Как показали современные события, социалистическая партия Национального конгресса, учитывая настроение масс, стремясь удержать свое

[1] Aj, 10 X 1935.
[2] Aj, 15 X 1935; см. также «The Mahratta», 20 X 1935.
[3] Aj, 15 X 1935.
[4] Advance, 4 2 1936.

влияние среди рабочих, не раз бывала вынуждена возглавлять или подготовлять забастовки. Так, в данном вопросе социалистическая партия Национального конгресса, партия мелкой буржуазии, не заинтересованной в империалистической войне, развила большую деятельность по организации собраний. В ознаменование «дня Абиссинии» 3 сентября она организовала в Бенаресе большой митинг, принявший резолюцию, осуждавшую итальянскую агрессию и выражавшую сочувствие абиссинцам. «Индийский народ выражает им (абиссинцам. *В. Б.*) свои братские чувства и симпатию, в особенности потому, что эта война абиссинцев есть часть антиимпериалистической борьбы всех эксплоатируемых наций», говорится в резолюции.[1]

Через полтора месяца в Бенаресе устраивается второе собрание бенаресских граждан, посвященное «дню Абиссинии», на котором выступавший социалист Сампурианана отметил необычность того, что Лига Наций занялась вопросом защиты слабого государства — Абиссинии. «Из выказывающих сочувствие Абиссинии только русская симпатия представляется вполне искренней», сказал он.[2]

6, 7 и 8 ноября калькуттская «Лига против итало-абиссинской войны» провела в Калькутте общие собрания граждан, где были приняты резолюции, осуждающие империалистическую войну и призывающие индийский народ бороться против империалистической агрессии по отношению к колониальным странам.[3]

На открытии всеиндийской конференции социалистической партии Национального конгресса в Мируте 19 января 1936 г. председательница заявила в интервью для «United Press»: «Социалистическая партия считает военный вопрос весьма важным и имеет ясное мнение, что Индия не должна сотрудничать или помогать в какой-либо империалистической войне; наоборот, она должна использовать случай для усиления своей борьбы за свободу».[4]

Сочувствующий конгрессистским социалистам вождь Национального конгресса Джавахарлал Неру издал воззвание провести 9 мая 1936 г. «День Аддис Абебы» в знак протеста против газовых атак, практикуемых фашистскими войсками. В ряде городов 9 мая были проведены большие собрания, где кроме выражения сочувствия выставлялось требование бойкота итальянских товаров.[5]

[1] Aj, 4 IX 1935.
[2] Aj, 23 X 1935.
[3] Advance, 11 XI 1935.
[4] Advance, 20 I 1936.
[5] Aj, 14 V 1936.

На свой манер или, вернее, на хозяйский использовала волну народного возмущения империалистической агрессией правая партия Национального конгресса — партия конгресс-националистов. 3 сентября в заседании ассамблеи Нилаканта Дас (член парламентской коллегии конгресса) выступал с протестом против посылки в Аддис-Абебу 5-го батальона 14-го пенджабского полка, произведенной без согласования с индийским правительством. В ответ на этот протест выступили Шаукат Али, Мангал Синг и лидер конгресс-националистов Малавия. Малавия объявил отправку батальона похвальным поступком и сказал, что «он, в действительности, хотел бы, чтобы правительство Индии просило правительство его величества начать войну против Италии в защиту Абиссинии, а не просто интересоваться вопросом какого-либо озера или дороги». Далее Малавия заявил, что «Ассамблея имеет право от имени Индии, являющейся действительным членом Лиги Наций, сказать, что она хотела бы начать войну с Италией с целью предупредить ее агрессию против Абиссинии».[1]

В то время как конгресс-социалисты выступают против войны, а правые конгресс-националисты, близкие англо-индийскому правительству буржуа и помещики изъявляют готовность «сами» пойти солдатами «на защиту слабых» (Шаукат-Али), само буржуазно-помещичье руководство Национального конгресса хранит молчание, не высказываясь официально и занимая явно выжидательную позицию. Как объясняют свое нейтральное отношение к итало-абиссинской войне вожди индийского национализма Ганди и Рабиндранат Тагор, видно из приводимых выдержек из письма C. F. Andrews'а, профессора университета Тагора.

«Я остро чувствую нелепость, — пишет мне Рабиндранат, — поднимать свой голос против действий этого неразборчивого в действиях и злобного империализма, когда он (голос. *В. Б.*) жалко слаб во всех тех случаях, которые жизненно касаются нас самих».

Дальше C. F. Andrews пишет: «Я навестил Ганди и он употребил почти те же самые слова, что и Тагор. Он сказал, что не хочет публиковать лишь условные и добрые пустые слова, выражающие симпатию и не несущие с собой действующего принципа помощи (active principle of help).[2]

Национальный конгресс целиком стоял на этой точке зрения под тем предлогом, что Индия сама находится в состоянии угнетенной

1 Advance, 4 IX 1936.
2 Advance, 30 XI 1935.

нации,[1] у нее самой в связи с этим есть жизненные вопросы, которыми и следует заняться. Отсюда видно, что молчание Национального конгресса содержательно и является намеком: «Когда будет устранено то, что обессмысливает выражение нашего сочувствия Абиссинии, тогда можно будет поговорить о реальных, действенных его формах». Индийская буржуазия хорошо помнит военные и послевоенные годы, когда, благодаря сложившейся обстановке, она выторговала у британского империализма большую, чем до тех пор, долю в эксплоатации индийского народа. В годы империалистической войны в обмен за куцую так наз. конституцию Монфорда, проповедник ненасилия Ганди нашел слова симпатии Англии, не пустые слова, а, как он сам говорит, «несущие с собой действующий принцип помощи»—1 миллион индийских солдат, снабженных его благословением. Итальянская агрессия для индийской буржуазии не кровавое деяние итальянского фашизма, не фашистское порабощение абиссинского народа, а лишь разменная монета в ее торговле с британским империализмом.

Индийская буржуазия не хочет даром оказать поддержку Англии в случае нужды. «Было бы опасно поддерживать Англию, основываясь на резолюциях симпатии»—раздается ее голос в одной из корреспонденций.[2] Во время мировой войны индийская буржуазия получила слишком мизерные подачки и теперь стремится не пропустить случая и назначить цену повыше.

Неоднократно руководители Национального конгресса отводили обсуждение вопроса об отношении к итало-абиссинской войне и резолюции сочувствия Абиссинии. Ссылаясь на сложность положения, они хотели дать понять Англии, что она может не особенно рассчитывать на индийский тыл. 15 октября на заседании работающего комитета конгресса правый конгрессист Калесваро Рао выдвинул резолюцию о выходе Индии из Лиги Наций, о неучастии Индии «ни в какой войне» и о сочувствии Абиссинии. Резолюция была отклонена руководством с тем объяснением, что, к сожалению, Индия сама под гнетом и ничем конкретно помочь не может. Отвод резолюции был формулирован следующим образом: «работающий комитет полагает, что резолюция не достигает своей цели, поскольку... всякое выражение симпатии к Эфиопии со всей вероятностью может быть использовано Бри-

[1] Эта позиция бесит многих мусульман. Один из них пишет в редакцию Advance'а: «The above opinion of the Congress elicited a laughter... I protest against this view of the Congress and appeal to my co-religionists if the latter is put into trouble in rescuing the innocent nation» (Advance, 12 X 1935).

[2] Mahratta, 20 X 1935.

танией для прокламирования того, что даже конгресс с ней в ее политике в итало-абиссинской путанице».[1]

17 октября на заседании Всеиндийского комитета конгресса было отклонено предложение Мехер-Али (конгресс-социалиста) обсудить вопрос об итало-абиссинской войне и ее последствиях для Индии.

С. Боз, видный лидер и один из кандидатов в президенты Национального конгресса, в своем сообщении, опубликованном 1 сентября 1935 г. в «Manchester Guardian», по вопросу об индийской помощи Англии в случае войны ясно раскрывает смысл позиции Национального конгресса и политики индийской буржуазии. Не являясь официальным выразителем мнения индийского Национального конгресса, даже стоя к нему в оппозиции и упрекая его лидеров за то, что они упускают случай начать торг с британским империализмом,[2] С. Боз говорит как раз о тех условиях, выполнение которых устранило бы «нелепость» поднимать голос против итальянского империализма, так «остро» чувствуемую Ганди, Тагором и другими лидерами индийского национализма.

«Если индийская поддержка должна иметь какую-либо ценность в нынешнем кризисе, то Британия продемонстрирует свое моральное превосходство над Италией прекращением бомбардировки пограничного населения и предоставлением Индии „большой“ (но не сложной) меры самоуправления. Другими словами, если Индия будет вынуждена воевать против своей воли, то не следует рассматривать, как нечто невероятное, что конгресс может дать практическое осуществление своим антивоенным резолюциям в духе ненасильственного несотрудничества».[3]

Позже «Advance» публикует ряд статей в духе заявления Боза, но более конкретных:

«Индия, как „зависимое владение“ Англии, почти не имеет или не имеет выбора в случае, если Англия объявит войну Италии. Но британские политики, которые будут принудительно мобилизовать человеческие и денеж-

[1] Bombay Chronicle, 17 X 1935.

[2] В другом своем заявлении С. Боз восхваляет египетских националистов за то, что они поставили вопрос о независимости, как условие поддержки ими Англии, и пишет: «В то время, как Британия была прижата в угол, мы могли бы сделать попытку торговаться. Но мы не только этого не сделали, но позволили британской дипломатии использовать нас (далее Боз пишет о посылке в Аддис-Абебу именно индийских войск с целью демонстрирования поддержки Англии Индией). Наши лидеры не в состоянии справиться с положением. Они не начали в нужный момент торговаться с правительством, они не сумели использовать английские заявления в Женеве о том, что «обращение Британии с Индией дает аргументы для доказательства британского морального превосходства над Италией» (Advance, 20 X 1935).

[3] Advance, 12 X 1935.

ные ресурсы в этом „зависимом владении", не должны к вреду прибавлять оскорбление, пытаясь убедить цивилизованный мир, что Индия обладает избытком симпатии к Абиссинии или к Лиге и добровольно пожертвовала бы своими людьми и деньгами для защиты политической свободы эфиопов...

Если Британии нужны добровольная поддержка и сотрудничество Индии в выполнении своих задач, как члена Лиги, или в охране своих особых интересов, то она должна поднять Индию до положения, совершенно равного положению самоуправляющихся доминионов. Она должна доверять Индии точно так же, как доминионам. У Англии нет другого способа получить добровольную помощь и сотрудничество Индии в час нужды».[1] В другом месте тема о доверии развивается еще конкретнее.

«Если возникнет надобность, — а такой случай, кажется, не очень далеко, — цветные народы Индии будут призваны взяться за оружие на защиту британской империи. Они должны будут явиться не тысячами, а миллионами... Если ресурсы Индии смогут быть мобилизованы и использованы для защиты Британской империи, мечты Муссолини или амбиции Японии не будут тревожить Великобританию. Но имеется застарелое недоверие к „подчиненным" нациям. Повидимому, англо-саксы не обладают той же верой в цветные расы, как Франция или Италия. Беспокойство сэра Филиппа Четвуда о „постоянном пополнении" молодежью военных школ[2] показывает, что он осознал, что политика недоверия должна быть смягчена до некоторой степени под давлением обстоятельств... Чтобы Индия могла быть для Англии потенциальным источником силы, а не затруднений, индианизация армии должна быть быстрой и эффективной. Трюизм утверждать, что доверие порождает доверие.

Если британское правительство поднимется на высоту событий и абсолютно положится на индийцев, то ему, конечно, нечего будет бояться со стороны Японии, Италии или Германии. Миллионы индийцев возьмутся за оружие для защиты своей родины и окажут несокрушимое сопротивление нападающим ордам, откуда бы они не были. Ни Муссолини, ни кто-либо еще не осмелится нарушить мир, если он знает, что индийцы больше не недовольный народ, страдающий от чувства ужасной несправедливости, совершенной над ними, а, оказывается, действительные друзья и союзники Великобритании. Политика доверия, которая нашла бы свое выражение

1 Advance, 25 X 1935.

2 Уходя в отставку, перед отъездом в Англию бывший главнокомандующий индийской армии сэр Philip Chetwood вынул 100 рупий из своего бумажника на организацию военных школ для индийской молодежи.

в радикальном изменении политического положения и военных прав индийцев и повела к постоянному миру и довольству в стране, установила бы величайший оплот против имперских амбиций Рима или Токио»[1] и т. д. и т. п.

На позицию конгрессистской верхушки и Ганди бросает свет заявление последнего, опубликованное в «Bombay Chronicle» 18 X 1935: «Я не могу оставаться безразличным в отношении войны, которую Италия ведет против Эфиопии. Но я сопротивлялся настойчивым приглашениям выразить свое мнение и дать руководство стране... Если бы Индия была действительно проникнута идеями ненасилия, то я не поколебался бы дать руководство. Но, несмотря на некоторое влияние, которое я оказываю на миллионы в этой стране, я знаю очень серьезные и явственные границы этого влияния». Ганди и его сторонникам хорошо памятны годы революционного подъема 1919—1922 гг., когда они становились во главе революционно-освободительного движения, чтобы направить его по руслу пассивного сопротивления и использовать в интересах индийской буржуазии. Они помнят, как часто революционная энергия измученных колониальной эксплоатацией масс рвала рамки гандистского ненасилия и Ганди самому приходилось жаловаться в полицию. Немного лет прошло с тех пор, но последние годы показали ряд революционных крестьянских восстаний, рост активности пролетариата, общее обострение антиимпериалистической борьбы и сужение границ влияния Ганди и Национального конгресса и расширение влияния компартии. Понятно, почему обстановка для Национального конгресса кажется сложной и он не решается выступить сейчас, ожидая более удобной для себя ситуации. С массовой кампанией ненасилия ему опасно выступать и потому, что это ненасилие может превратиться в нечто противоположное, и потому, что англо-индийское правительство вернуло национальному конгрессу легальное положение с условием не возобновлять кампаний неповиновения.

Поэтому Ганди приходилось ограничиться изложением в сослагательном и условном наклонениях общей методологии ненасилия в применении к итало-абиссинской войне. Приводим выдержки из его ответов на вопросы, заданные ему друзьями.

1. «Что могла бы сделать плохо вооруженная Абиссиния, если бы она придерживалась ненасилия против хорошо вооруженной Италии?

— Если бы Абиссиния придерживалась ненасилия, то она не имела бы оружия и не хотела бы его. Она никогда бы не дала повода для жалоб.

[1] Advance, 30 XI 1935.

А Италии нечего было бы завоевывать, если бы абиссинцы не оказывали вооруженного сопротивления, а также не сотрудничали по своей воле или по принуждению...

2. Что могла бы сделать Англия, — величайший и сильнейший член Лиги, — против решительной Италии, если бы она (Англия) придерживалась ненасилия в вашем смысле?

— Если бы англичане, как нация, стали искренно придерживаться ненасилия, они бы отбросили империализм, они перестали бы употреблять оружие. Моральная сила, порожденная таким актом отречения, склонила бы Италию к добровольному отказу от своих планов...

3. Что могла бы сделать Индия, если бы она внезапно стала придерживаться ненасилия в вашем смысле?

— Я уже сказал, Индия как нация — ненасильственная (non-violent) в полном смысле этого слова... Ее ненасилие — ненасилие слабых, она разоблачает свою слабость во многих своих повседневных действиях. В настоящее время она предстает перед миром, как приходящая в упадок нация (decaying nation) не только в политическом смысле, — я подразумеваю, — а по существу в ненасильственном моральном смысле (in the non-violent moral sense)...

Если бы Индия была ненасильственной с сознанием своей силы, то англичане лишились бы своей роли недоверчивых завоевателей. Мы можем говорить политически, как нам угодно, и часто законно хулить английских правителей. Но если бы мы, как индийцы, могли бы хоть на один момент посмотреть на себя, как на сильный народ, презирающий борьбу, то мы перестали бы бояться англичан как солдат, купцов или администраторов, а они перестали бы недоверять нам...»[1]

* * *

Итало-абиссинская война, как одна из войн кануна новой мировой войны, затронула крупнейшую метрополию и крупнейшую колонию. При этом выявились характерные предвоенные черты британской колониальной политики и политической жизни Индии. Англия, проводящая во время фашистских агрессий нашего времени тактику сговора с агрессорами, тактику попустительства этим агрессорам, стремится укрепить свое колониальное положение испытанным путем, путем включения в возможную войну колонии Индии.

[1] M. K. Gandhi. The Great Force. «Harijan», October, 12, 1935.

Так же как во время итальянского нападения на Абиссинию, одновременно не препятствуя агрессорам и подрывая принципы коллективной безопасности, Англия обращается к Индии в дни японского налета на Китай. Теперь Англия без согласования с индийским правительством, нарушая индийскую конституцию, послала индийские войска в Шанхай на защиту своих имперских интересов, что вызвало новую волну протестов в Индии. Развитие японской агрессии на Дальнем Востоке подстегнуло британское правительство также к мерам модернизации индийской армии, отстающей от технического уровня современной британской армии. В конце 1937 г. английское правительство решает отпустить индийскому правительству 600 000 ф. ст. на механизацию индийской армии.

Еще раз проявилась служебная роль индийской армии по отношению к британскому империализму, которую она играть может в грядущей войне. Англия при настоящих условиях не может ждать, пока само индийское правительство найдет средства на механизацию армии, на приведение ее в боеспособное в современном смысле состояние. Основные тенденции имперской политики в колонии в атмосфере готовящейся фашистами «тотальной» войны пока те же, что и два года назад.

Вопрос об участии в войне, возникающий перед Индией, вызывает к себе разное отношение двух социальных лагерей, — лагеря надеющейся на поправку и расширение своих дел в военной обстановке буржуазии, выражающего безусловно или с некоторыми оговорками свою готовность служить британскому империализму, в лице которого он видит своего телохранителя перед грядущей революцией, и лагеря индийских трудящихся масс, протестующего против империалистического нападения на Абиссинию, Испанию, Китай и против втягивания колоний в войну.

Новая война несет с собой лишь усиление колониального гнета и дальнейшее революционизирование эксплоатируемых масс. Борьба индийских трудящихся за мир будет способствовать разрешению главной сегодняшней задачи индийского революционного движения — задаче развертывания широкого движения антиимпериалистического народного единого фронта за национальное освобождение Индии. Эта борьба будет способствовать раскрытию политической сущности различных партий и даст уроки, которые будут учтены трудящейся Индией.

1936 г.

И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

Формула отрицательного сравнения в древне-арабской поэзии

Около 40 лет тому назад вышло в свет исследование А. Н. Веселовского о психологическом параллелизме.[1] За четыре десятка лет наука, конечно, значительно двинулась вперед, но в области изучения восточных литератур по затронутым А. Н. Веселовским направлениям и теперь, в сущности, сделано так же мало, как в его время.

Работа А. Н. Веселовского интересна не только по своему построению и схеме выводов, но и по той широте материала, который у него привлечен. Он сам говорит, что брал свои примеры «отовсюду», и хотя тут же прибавляет, что делал это «может быть недостаточно широко и равномерно»,[2] но тем не менее востоковед очень часто найдет у него параллели из своей области. Диапазон у автора очень широк: подряд на трех страницах[3] мы видим примеры, взятые из литератур — грузинской, турецкой, китайской, малайско-полинезийской, пракритской, татарской, башкирской. Аналогичное соотношение остается на всем протяжении работы.

Быть может одной из наиболее обделенных в смысле внимания оказалась арабская поэзия: единственный раз, когда пример приводится со ссылкой на нее, ясно по содержанию и по форме, что в основе здесь произошло какое-то недоразумение и пример относится вероятно не к арабской, а к персидской поэзии.[4]

Едва ли такое отношение к арабской поэзии случайно; значительное количество материала в европейских переводах могло быть в распоряжении

[1] Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического стиля. ЖМНП, 1898, ч. CCXVI, отд. 2, стр. 1—80. Цитируется по Собранию сочинений А. Н. Веселовского, т. I, СПб., 1913, 130—225.

[2] Op. cit., стр. 153.

[3] Op. cit., стр. 151—153.

[4] Стр. 151: «Снег тает на горах Испагани; как ты ни хороша, не будь горделива. Аман! Аман! Аман!». Указание источника, к сожалению, отсутствует.

А. Н. Веселовского (достаточно напомнить известный перевод Ḥамāсы Rückert'а и различные переводы муʻаллаḳ), и если он не считал нужным его привлечь, то это объясняется общей установкой работы. Она основана преимущественно на народной песне и остается в ее сфере; искусственная поэзия, к которой мы должны отнести и известные нам памятники арабской, привлекалась им только попутно в такой же мере, как, напр., отдельные поэты XIX в.

Таким образом вопрос о психологическом параллелизме в арабской поэзии остается открытым и теперь; исследование его отражения на этой почве еще впереди. В настоящей статье я хочу ограничиться только одной разновидностью, проанализированной А. Н. Веселовским: формулой отрицательного сравнения, близко связанной с отрицательным параллелизмом.[1]

Ограничивая тему, я до возможных пределов ограничиваю и материал. Число памятников древне-арабской поэзии, находящихся теперь в нашем распоряжении, сравнительно велико; привлечение их полностью потребовало бы совершенно иного объема работы, и поэтому я останавливаюсь исключительно на одном достаточно типичном памятнике — сборнике стихотворений поэтов племени Хуẕейль. Этот выбор может быть определенно обоснован соображениями и внешнего и внутреннего порядка. Самый памятник закончен изданием только в 1933 г.[2] и только теперь доступен науке в полном виде. Опубликование его было начато более 80 лет тому назад J. G. L. Kosegarten'ом (1854), продолжено J. Wellhausen'ом (1884) и на наших глазах с большой выдержкой доведено до конца J. Hell'ем (1910—1933). Литература об этом памятнике за восемьдесят лет достаточно разбросана и обширна,[3] но серьезное изучение его стало возможным только теперь.[4] Сборник был составлен в конце IX в. н. э. и сохранил нам произведения поэтов племени Хуẕейль, время жизни которых относится к эпохе зарождения ислама и первых десятилетий халифата, т. е. ко второй половине VI в. и первой половине VII в. Племя в эту эпоху жило в полуоседлом состоянии около Мекки; интересно отметить, что оно и теперь сохранило не

[1] Op. cit., стр. 206—209.

[2] Neue Huḏailiten-Diwane, herausgegeben und übersetzt von Joseph Hell, II, Leipzig, 1933. Первая часть издана им же в Ганновере в 1926 г.

[3] Основные работы по изданию и изучению текста указаны у J. Hell, Neue Huḏailiten-Diwane, II, XI—XIII. Полная библиография значительно обширнее.

[4] Мой интерес к этому памятнику связан с одним личным обстоятельством: диваном Хуẕейлитов в молодости занимался В. Р. Розен, даже скопировавший в 1873 г. неизданную тогда часть лейденской рукописи (См. ИАН, 1918, стр. 1334, № 40). В 1907 г. — последнем в его жизни — В. Р. Розен прочитал со мной части, изданные Kosegarten'ом и Wellhausen'ом.

только свое имя, но и приблизительно ту же территорию около г. Таифа.[1] Большим преимуществом с точки зрения арабской поэзии является то обстоятельство, что вопрос о подлинности этих стихотворений стоит сравнительно благополучно: одно из важных исследований Hell'а[2] убедительно показало, что большинство их при детальном анализе параллельных источников оказывается с несомненностью принадлежащим к эпохе раннего ислама.

Большая традиционность и строгая схематичность древне-арабской поэзии позволяют выделить без особого труда те субъекты, к которым по установившемуся уже и в эту эпоху канону применяется отрицательное сравнение. С одной стороны, это — красавица, дама сердца поэта, с другой стороны — восхваляемый герой, который иногда бывает идентичен с автором произведения. И в том и в другом случае сравнения бывают общего порядка или же специфицируемые по какой-нибудь детали. В первом случае основная формула проста: «газель не красивее ее». Конечно в таком сухом виде формула почти не встречается; разрастание обыкновенно идет в сторону первой части, значительно удаляемой от своего субъекта.[3] «И не (была) мать газеленка в ал-ʻАлā̄е,[4] одинокого, который хватает плоды арāка, когда можно достать ветку, опоясанная двумя полосами; от нее близки плоды рощи, в которой свисают над ней короткие ветки; там она паслась целиком два весенних месяца и заметен на ней жир и следы урины;[5] сок арāка вычернил ее рот и цвет его точно цвет сажи, а сама она светлокоричневая, — красивее, чем она (= Умм ʻАмр),[6] когда встала и отвернулась, скрывая слезы, когда усилился их поток» (Абӯ З̱у'айб 5, 6—10). Этот пример достаточно типичен и по содержанию и по грамматической кон-

1 См. J. Schleifer в Enz. d. Islam, II, 349—350.

2 Der Islam und die Hud̲ailitendichtungen, Festschrift Georg Jacob, Leipzig, 1932, 80—93. Тему этой статьи теперь разрабатывает шире диссертация Omar A. Farrukh. Das Bild des Frühislam in der arabischen Dichtung von der Hiǧra bis zum Tode des Kalifen 'Umar. Leipzig (und Erlangen, 1937).

3 Произведения поэтов, вошедших в состав изданной Kosegarten'ом и Wellhausen'ом части, цитируются мной под общим порядковым номером, указанным в этих изданиях, без имени поэта. Изданные Hell'ем и Bajraktarević'ем поэты цитируются под именем, с указанием порядкового номера произведений каждого в отдельности.

4 На объяснении географических названий я не останавливаюсь, так как они в данном случае не имеют значения и кроме того, как вообще в арабской поэзии, носят иногда условный характер. Любопытно, что как раз об ал-'Алā̄е составитель известного географического словаря Йāкӯт говорит (III, 710): «Я не знаю, что это за поселение; как название места его упоминает Абӯ З̱у'айб хузейлит».

5 Объяснение специфического значения последнего обстоятельства см. у J. Hell, Neue Hud̲ailiten Diwane' I, 19, прим. 1.

6 Конструкция грамматически связана с «не была» в начале отрывка.

струкции: по такому образцу всегда строится отрицательное сравнение. Грамматически выдерживается как бы одна фраза, но отрицание отделено от сравнительной степени несколькими стихами, и построение иногда оказывается довольно запутанным. Изредка первая часть дает двучленное сравнение: «И не (была) светлокоричневая, которая гонит вперед газеленка.., и не (была) мать газеленка в ал-ʿАлāе, которая пасется... красивее, чем она в тот день, когда сказала с кокетством: „Разрываешь ты мою веревку или остаешься в связи со мной?“» (ib., 6, 4—8). Иногда и для поэта конструкция остается непосильной и в его произведение вводится формулой отрицательного сравнения описание газели, но дальше оно повисает в воздухе, так как связанного с ним упоминания о красавице уже нет (Сāʿыда 10, 5—7).[1] Иногда в сравнение вводится известная спецификация с упоминанием, напр., шеи газели, ее глаз и т. д.

Несколько более уточненной является формула типа «сад не благоуханнее красавицы». Конечно, и она всегда приводится в более развитой форме, главным образом в первой части; развитие второй редко выходит за пределы одного стиха. «И не (бывает) сад в аль-Х̱азме с влажной землей, который после холодов оросили вторичным дождем облака „Водолея“ — лаванда и ʿарāр источают росу на холме, где не оставила следов поступь идущего на водопой, — благоуханнее ароматом и свежестью, чем Сулейма, когда чаша дремоты напоила всякого спящего» (253, 9—11). Иногда вместо сада появляется вино (Абӯ З̱у'айб 9, 11—17); но обыкновенно вино вводит более детализированную формулу, едва ли не самую распространенную при описании красавицы: «вино не благоуханнее ее рта».

Здесь допускается наибольшее разнообразие и наибольшее расширение картины: вино фигурирует смешанным с медом (Абӯ З̱у'айб 2, 8—28; 6, 19—30), вместо вина появляется мед (иногда с водой — Абӯ З̱у'айб 12, 10—19, Сāʿыда 3, 1—9), встречаются двучленные сравнения — мускус и вино (Абӯ З̱у'айб 2; 7 сл.). Самое сравнение разрастается и переходит часто в самостоятельную бытовую картину, что вообще хорошо нам известно в древне-арабской поэзии (Абӯ З̱у'айб 6, 10—31):

19. И не бывает выдержанное из Аз̱риʿāт, с которым устремляется похожая на самца (верблюдица), крепкая, как утес в потоке,

20. вино из первого сока, которое поручено бурдюку, вымазанному смолой, прикрепленному сзади седла...

[1] Ср. Hell, op. cit., II, 20, прим. 1.

21. Запасся им от жителей Босры и Газзы (всадник) на твердой с высоко поднятым хвостом и подседельником.

22. Он прибыл с ним в ʻУсфāн, а потом пришел с ним в Миджанну, — в глиняных сосудах оно прозрачно и не бродит.

23. Вечером он отправился с ним из З̱ӯ-ль-Маджāз, опережая первых (верблюдиц), поспешающих к аль-Х̱аблю.[1]

24. Пришли оне и пришла среди них она; и вот он вытирает ее околоушные кости (от поту), а она ревет, как самец.

25. И пришел он с ней, чтобы завершить свой ḥаджж, сотрапезник благородных, не слабый и не назойливый.

26. И провел он ночь в сборище, а потом закончил (обряд), отправившись в Мину, и на утро захотелось ему поискать меду за деньги.

27. И пришел он с медом, подобного которому люди не видали: он — смех,[2] но только он изделие пчел...

28. (пчел) йеменских, для которых оживил гранаты Ма'бида и аль-Ḳарāса ливень темных облаков...

29. И вот, не (бывают) оба они (вино и мед) в чаше из Бāрика, новой, которая сделана тонкой и тесалом и полировкой,

30. благоуханнее, чем ее речи, когда ты придешь ночью, в то время как еще не различить света на проясняющемся горизонте,

31. когда громадный одинокий (пастух) склонил свою голову; это ему позволяет обилие длинноухих овец.[3]

При таком разрастании первой части сравнения и здесь возможен грамматический разрыв: начав ее с отрицательной частицы, поэт забывает, что она повисла в воздухе, и заканчивает сравнение новой самостоятельной конструкцией («И не бывает белый мед... Вот с чем я сравню рот Умм Маʻмар...», Сāʻыда 3, 1—9).

Фигура героя или прославляемого лица в такой же мере окружена традиционными формулами отрицательных сравнений. Они не менее, а может быть даже более разнообразны, хотя несколько реже переходят в самостоятельные картины. Объектами сравнения привлекаются как неодушевленные, так и одушевленные предметы. Сравнение обыкновенно идет не в общей форме, а по линии отдельных качеств или свойств. Одна из любимых формул гласит: «поток не щедрее героя». Картина и здесь

[1] Большинство упоминаемых местностей связано с обрядами ḥаджжа.

[2] Бел как зубы, показывающиеся при смехе.

[3] Пастух может спать спокойно, так как для большого стада пропажи неощутимы.

развивается в первой части: «И не (бывает) волнующийся шумный поток, черный, с полосами (от ветра), заливающий холмы, — жители Боҫры от его стремительности унеслись, а жители Джоуфа думали переехать, — щедрее, чем дары племени Асӣд» (262, 27—29, см. еще 263, 26—27). Из животных для сравнения привлекается лев, который не храбрее героя (165, 14—15; Са̄'ъıда 8, 12—17), верблюд, который не вынесет такой ноши, как он (Абӯ З̱у'айб 27а, 1—4; 27а, 5). Своеобразную группу отрицательных сравнений с животными представляют те, которые характеризуют быстроту бега. Арабский герой, как известно, должен был уметь не только хорошо сражаться, но и хорошо убегать от врага в случае нужды. Быстротой бега обыкновенно хвалится сам поэт; для сравнения в большинстве случаев привлекается дикий осел (176, 11; Абӯ Х̱ыра̄ш 8, 4—9; 19, 4) или страус (82, 4—7; Абӯ Х̱ыра̄ш 8, 4 сл.). Развитие сравнения идет по известным нам уже направлениям в сторону самостоятельной картины. Иногда происходит перестановка частей и поэт выражается коротко (176, 11): «Но нет, клянусь Аллахом, не спасется, как спасся я в утро аль-Джауза, темный, искусанный (осел)». Из области человеческих отношений для характеристики героя или автора в отрицательном сравнении привлекается осиротелая или страдающая мать. Простейший пример таков: «И клянусь Аллахом, не (бывает) старуха, мать единственного, более страждущей, чем я, за то, что унизили ее маленького» (Са̄'ыда 10, 14). Сложная форма и здесь вырастает в большую самостоятельную картину, занимающую иногда больше 20 стихов (261, 4—27); нередко и при ней возникает разрыв грамматической конструкции, либо с окончанием сравнения самостоятельной фразой, не связанной с первой частью (261, 27), либо даже с совершенным опущением всей второй части (Абӯ З̱у'айб 23, 5 сл.).

В особую группу надо выделить один стилистический прием древнеарабской поэзии, родственный не столько с отрицательным сравнением, сколько с отрицательным параллелизмом, хотя формально он и представляет другой тип. Применяется он исключительно в произведениях на смерть какого-нибудь героя и возникает из стремления утешиться в его гибели тем доводом, что все преходяще, все живые смертны. Как герой не спасся от судьбы, так не спасаются и все другие существа. Характерным для этого приема является то, что все приводимые в подтверждение параллели вводятся обязательно с отрицательной конструкцией. Диапазон этих параллелей очень широк и, как всегда, строго традиционен. В нем фигурируют различные предметы в природе, но обыкновенно даже сам поэт предваряет

свое изложение неким перечнем. «О Мейя, ведь гибнут на земле львы и пепельные (газели) и большеглазые (коровы) и белые (антилопы) и люди» (77, 3). Обыкновенно, однако, и этот перечень вводится уже в отрицательной конструкции. «Уходи же, — говорит поэт погибшему, — какого героя среди людей сохранили от его гибели темный мрак или гора? И не (спасут его) обе звезды Симāк; если он даже поднимется к ним, то все же встретит день, который ему сужден со все искореняющим злом. И не (спасется) страус в долине, где он бродит, ни дикий осел, ни газель, ни горный козел» (ал-Мутанаххыль 6, 12—14). Этот перечень с достаточной полнотой указывает объекты, привлекаемые для сравнения. Люди фигурируют редко, хотя в одном стихе в параллель погибшим говорится про витязя: «И не устоит против превратностей судьбы облекшийся в железную кольчугу, надевший шлем» (Абӯ З̱у'айб 1, 49 сл.). Также редко фигурирует лев (77, 12—15); излюбленный состав — дикие животные и птицы, горный козел,[1] различные антилопы и газели,[2] дикий осел,[3] страус,[4] орел,[5] сокол.[6] Все они обыкновенно гибнут или от охотника или от других хищных животных. Параллель, как и всегда, разрастается в самостоятельную картину, которая трактуется иногда очень широко. «И вижу я, что дни не оставляют благородного и горных диких (козлов), и страусов, и черных, укрывающихся в скалах, которые облачены белизной у низа ног. У них источники, но они отходят оттуда по скалистым тропам; передовые там изнывают от жажды. Сужден им был приземистый в лохмотьях (охотник); когда они идут по скользким склонам гор, идет и он (за ними). Пряча свою фигуру, он захватывает их и потоком направляет яд им в животы. Он опережает их к водопоям и стреляет в смертельные места, и напаивает их внезапной смертью» (16, 5—10). Аналогичны картины, в которых рисуются птицы (2, 17—25):

17. И (не устоит против судьбы) с мягкими крылами орлица, которая кормит двух своих птенцов мясом зайцев.

18. Сердца (растерзанных) птиц посреди ее гнезда точно косточки сухих фиников, брошенные на каком-то пиру.

[1] 2, 4; 16, 5—10; Абӯ З̱у'айб, фрагмент 6, 1; Сā'ыда 2, 8—16; 8, 18—23; ал-Мутанаххыль, 6, 14—15; Усāма, 4, 8—20 (ср. Hell, op. cit., II, 53, прим. 1).

[2] 77, 4—11; 116, 12—18; Абӯ З̱у'айб, 1, 36—48; 3, 9—17; Сā'ыда, 2, 17—27; 8, 24; ал-Мутанаххыль, 6, 14.

[3] 16, 11—22; Абӯ З̱у'айб 1, 15—35; 3, 1—8; Абӯ Х̱ырāш 1, 17—18; 16, 5—13; ал-Мутанаххыль 6, 14; Усāма, 4, 8—28 (ср. Hell, l. cit.); Абӯ Кабӣр 4, 4—15.

[4] 16, 5; ал-Мутанаххыль, 6, 14.

[5] 2, 17—25.

[6] Абӯ Х̱ырāш, 1, 19—24.

19. И низверглась она на газель, которую заметила лежащей около дерева салам около бурой пасшейся (матери).

20. И промчалась она над пиком скалы и тот повредил ей что-то и упала она на лапы безуспешнее безуспешного[1]

21. в губительной пустыне. Крыло ее, когда она взлетает в воздух, точно тряпка у игрока.

22. И были покинуты оба птенца ее в недрах гнезда, в месте, где нет близкого, и не у добывающего пропитание.

23. Оба птенчика шевелятся на заре всякий раз, как заслышат шорох ветра или голос ворона.

24. И не увидели ее птенцы после того вечера и не успокаивались они в гнезде от перекликания.

25. Вот что производит судьба — ведь ей (принадлежит) всякий преследуемый быстрый и преследователь.

В этих параллелях поэт не бывает связан необходимостью построения одной грамматической фразы, и поэтому недоразумений бывает меньше, чем в предшествующих случаях. Однако и тут иногда картина развивается так широко, что автор забывает, о чем шла речь, и не заканчивает начатой параллели (напр. относительно льва — 77, 12—15, сокола — Абӯ-Х̱ырāш 1, 19—24).[2]

Таковы, в основном, формулы отрицательного сравнения, которые можно извлечь из дӣвāна хузейлитов. Они без особого труда укладываются в определенные схемы, вне которых не встречаются. Несомненно, что привлечение других памятников умножило бы количество примеров, но с полной уверенностью можно сказать, что это расширение пойдет только по линии отдельных деталей, увеличения числа объектов, привлекаемых для сравнения, большего или меньшего искусства в построении картины. Общий тип останется неизменным, и все разновидности его исчерпаны приведенными примерами. Еще раз они показывают, что уже в ту, самую раннюю эпоху, от которой мы располагаем памятниками, арабская поэзия обладала строго установленным каноном. Талант и индивидуальность поэта, однако, не подавлялись этим и, оставаясь в рамках канона, умели создавать

[1] Я не считаю нужным систематически указывать все недоразумения в немецком переводе Abicht'a; примеры Wellhausen'a в DLZ, 1886, 1373 показали всю его неудовлетворительность. Для образца привожу перевод этого стиха, совершенно им непонятого: «und fliegt hinüber nach einer Klippe und vertilgt einen Teil davon, und schlägt rauschend die Flügel über den beiden Schenkeln, Betrüger eines Betrogenen». В связи с таким неожиданным пониманием стиха, весь смысл отрывка от Abicht'a ускользнул.

[2] Ср. J. Hell, op. cit., II, 26, прим. 3.

картины, которые и теперь привлекают нас своим разнообразием и живостью.

Приведенный анализ не бесполезен для истории поэзии вообще. Если А. Н. Веселовский говорил, что собранные им примеры позволяют ограничить некоторые обобщения, установившиеся относительно отрицательного параллелизма,[1] то расширение наблюдений в сторону близкую нам говорит о большой устойчивости предложенной им самим классификации.

Сентябрь 1934 г.

[1] Op. cit., 210.

Н. Н. ПОППЕ

Современное состояние изучения монгольской литературы за границей

I

Современное монголоведение характеризуется ярко выраженным лингвистическим уклоном этой отрасли востоковедения, и наиболее крупные достижения его относятся именно к области изучения разговорного монгольского языка и исследования языка монгольской письменности. Так обстоит дело в СССР и за пределами его. Лингвистические работы являются в монголоведной литературе наиболее многочисленными и в смысле метода стоят в общем и целом значительно выше исследований в других монголоведных областях, из которых одною из наиболее отсталых является изучение монгольской литературы.

История изучения монгольской литературы не богата фактами и именами. Изучение ее сводилось в прошлом в основном к собиранию произведений монгольской литературы и публикованию текстов. Исследований произведений монгольской литературы с иных точек зрения, кроме как только с лингвистической, мы почти не имеем. Литературоведные проблемы до сих пор выдвигались лишь в качестве редчайших исключений, и не будет преувеличением, если мы скажем, что монгольская литература в широком смысле этого слова находится еще на начальной стадии изучения.

В прошлом своем монголоведение знает отдельные случаи, когда те или иные исследователи близко подходили к изучению монгольской литературы, но именно только близко подходили, не дав ни одного исследования, которое полностью могло бы удовлетворить литературоведа. В этом отношении не представляет собою исключения даже такая выдающаяся работа, как «Монгольский сборник рассказов из Pañcatantra» Б. Я. Владимирцова, которая, казалось бы, по теме своей всецело должна была бы относиться к литературоведным произведениям. Но и она представляет собою лишь издание текста с переводом, а в исследовательской своей части касается

главным образом вопроса о периодах развития языка монгольской письменности и особенностях языка разных периодов в сравнении с классическим. Не меняет общего положения и наличие нескольких исследований в области монгольского фольклора, которому, по сравнению с другими областями, после монгольского языкознания особенно посчастливилось стать объектом пристального внимания со стороны собирателей, а также исследователей, уже сделавших несколько попыток дать анализ произведений устного творчества монголов. Повторяем, наличие в монголоведной литературе таких трудов, как «Образцы народной литературы монгольских племен» А. Позднеева и «Монголо-ойратский героический эпос» Б. Я. Владимирцова, существенно не меняет положения вещей, ибо, относясь к довольно специфической области фольклора, эти работы имеют лишь косвенное отношение к изучению монгольской литературы, несмотря на то, что письменную литературу и устное творчество соединяют разнообразные связи.

Исследований произведений письменной литературы иных, чем носящих строго лингвистический характер и вообще относящихся лишь к внешней стороне их, — критика текстов, филологический аппарат и т. п., мы в монголоведении не имеем.

Точно так же лишь в чрезвычайно слабой степени расчищено и подготовлено поле будущей деятельности монголистов-литературоведов. Говоря об этой стороне дела, следует прежде всего указать на то обстоятельство, что значительное большинство произведений на монгольском языке еще даже не выявлено и не приведено в известность. Монгольскую литературу еще мало знают, и те произведения ее, которые известны, сравнительно малочисленны, а сведения о них носят весьма неполный и случайный характер.

Дело собирания и хранения, каталогизация и описание литературных произведений на монгольском языке поставлены еще очень слабо. Отсутствие напечатанных каталогов и случайный характер описаний лишь некоторых и притом отнюдь не всегда лучших коллекций монгольских рукописей и ксилографов не способствуют успеху дела и не позволяют заменить многие уже устаревшие взгляды на монгольскую литературу более правильными. Существующие обзоры памятников монгольской литературы — «Лекции по истории монгольской литературы» А. Позднеева и «Очерк монгольской литературы» Б. Лауфера — очень далеки от полноты, с одной стороны, и представляют собою не столько обзоры произведений монгольской литературы, сколько библиографии европейской литературы о них, с другой. Неполнота их объясняется не только общей неудовлетворительностью сведений о произведениях монгольской литературы, но также

тем, что они ставят себе безусловно слишком широкие цели охватить всю литературу в целом. Отсюда фрагментарность, неполнота сообщаемых сведений о каждом данном виде литературы. В этом отношении значительно более удачным является очерк «Монгольская литература» Б. Я. Владимирцова,[1] в котором главное внимание уделяется одному виду литературы, а именно художественной литературе.

Вслед за неудовлетворительным состоянием учета произведений монгольской литературы, почти полным отсутствием каталогов и описаний, следует среди причин, тормозящих развитие изучения монгольской литературы, отметить незначительность изданий текстов и почти полное отсутствие таких изданий их, которые удовлетворяли бы современным требованиям, предъявляемым к критическим изданиям текстов.

Основным тормозом в деле успешного развития изучения монгольской литературы является, таким образом, неподготовленность почвы для исследовательской работы.

Обрисованное выше положение характерно для изучения монгольской литературы и в СССР и в еще большей степени за границей, где, кроме Монголии, условия для процветания монголоведных изысканий значительно менее благоприятны. Тем не менее, изучение монгольской литературы велось и за границей и теперь еще продолжает вестись. По понятным после сказанного причинам оно ведется преимущественно в рамках учета и описания рукописей и книг и издания текстов.

II

Приступая к рассмотрению иностранных работ в области изучения монгольской литературы за последние 5 лет, начнем с описаний рукописей и ксилографов. К этой категории работ принадлежит статья Louis Ligeti «La collection mongole Schilling von Canstadt à la Bibliothèque de l'Institut»,[2] представляющая собою, как показывает ее заглавие, описание произведений, входящих в коллекцию Шиллинга фон-Канштадта, находящуюся в Париже. Коллекция эта, состоящая главным образом из ксилографов и содержащая лишь несколько рукописей, при сличении списка заглавий входящих в нее произведений, не содержит чего-либо нового по сравнению с коллекцией того же Шиллинга фон-Канштадта, хранящейся в Институте Востоковедения Академии Наук СССР.

[1] Литература востока, вып. II, Петербург, 1920, стр. 90 и сл.

[2] T'oung Pao, 1930, pp. 119—178.

Сообщая подробности об этом описании, необходимо указать, что оно отличается значительной полнотой и подробностью сообщаемых в нем сведений: кроме монгольских заглавий описываемых сочинений, сообщаются тибетские и санскритские заглавия, даются все необходимые сведения о внешней стороне книг, приводятся колофоны с упоминаемыми в них именами и датами и т. д.

В особенности удачным является метод описания крупных сборных сочинений, как, напр., описание Сундуя (стр. 134 и сл.), в котором довольно подробно говорится о каждом отделе. Автором привлекается большой дополнительный материал — китайский и тибетский, разъясняющий ряд вопросов, связанных с переводом тех или иных произведений. Все монгольские названия и отрывки текстов приводятся в общепринятой монголоведческой транскрипции. Описание сделано очень хорошо и может служить образчиком для других подобных работ; в частности кое-что из него можно будет с успехом заимствовать, когда будет предпринято полное описание монгольских ксилографов и рукописей, принадлежащих советским востоковедным библиотекам и хранилищам рукописей. Из мелких недочетов, не отражающихся на существе работы, следует указать не совсем правильную передачу некоторых монгольских слов в транскрипции; так, напр.: на стр. 125 в нижнем абзаце приводится заглавие тибетско-монгольского словаря *nere udq-a-yi tutudγaγči* (неправильно, следует *todudqaγči* 'разъясняющий') *saran-u gegen gerel kemegdekü tokijan bičig*. На стр. 127 слово *delgerenggüi-e* 'пространно' неправильно передается как *delgerengküi-e*. На стр. 130 (строка 7) вм. *quriyan* 'собирая' автор пишет *qoriyan*; вм. *aγui* 'обширный' (строка 8) — *aqui*; вм. *tuγuluγsan* 'совершенный' (эпитет будды, строка 18) — *toγuluγsan* и там же вм. *dötügertür* 'в четвертых' — *dütügertür* и т. д. Снижая несколько общее качество работы, эти недочеты все же не настолько серьезны, чтобы на почве их могли возникнуть какие-нибудь недоразумения. В связи с этим укажем, что подобного рода недостатки присущи большинству работ, в которых монгольские слова приводятся только в транскрипции, так как для того, чтобы дать правильную транскрипцию слова, необходимо точное знание его произношения, а это, особенно в Западной Европе, имеет место далеко не всегда.

Следующей работой, частично примыкающей к названной, является отчет Louis Ligeti об экспедиции во Внутреннюю Монголию.[1] Эта интерес-

[1] Rapport préliminaire d'un voyage d'exploration fait en Mongolie Chinoise 1928—1931. Budapest, 1933. Рецензии: N. Poppe, OLZ, 1934, № 3, pp. 193—194 и его же: Библиография Востока, № 5—6, стр. 98—100.

ная и ценная работа по своему общему типу напоминает аналогичную замечательную работу Б. Я. Владимирцова «Этнолого-лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районе»[1] и, как последняя, отличается высокими достоинствами. Сведения о различных произведениях на монгольском языке, виденных автором на месте и вывезенных в Европу, сообщаются, начиная с 20-й страницы, почти на протяжении всего отчета.

Свой отчет о занятиях в области изучения монгольской литературы Louis Ligeti начинает с описания исторических произведений, из которых на первом месте им упоминается *Boγda činggis qaγan-u čedig*, теперь уже хорошо известное сочинение, представляющее собою не что иное, как летопись *Altan tobči*, к которой приложен ряд мелких эпических сочинений, после чего автор переходит к *Yeke Yuwan ulus-un manduγsan törü-yin köke sudur* «Синяя книга о поднявшейся державе великой Юаньской династии» (стр. 22—24). Далее сообщается (на стр. 22) о виденной автором отчета в Куку-хото рукописи исторического сочинения *Qaγan-u šira debter*, два экземпляра которого имеются в Ленинградских книгохранилищах. Кроме исторических сочинений Louis Ligeti уделяет в своем отчете много внимания монгольско-китайским словарям и другим пособиям для изучения монгольского языка (стр. 44 и сл.), и им сообщаются также сведения об его занятиях Ганджуром и отдельными буддийскими сочинениями. Особенно ценными приобретениями Louis Ligeti несомненно являются рукописи *Pañcarakṣā* и *Subhāṣitaratnanidhi* (стр. 58—59).

III

Следующую категорию работ в области изучения монгольской литературы образуют издания текстов. В силу отсутствия в типографиях Западной Европы монгольских шрифтов, тексты издаются в транскрипции. По поводу этого следует указать, что текст, изданный в транскрипции или транслитерации, даже при очень большом знании языка со стороны подготовившего его к печати, неизбежно страдает большими недостатками. Прежде всего, транскрипция или транслитерация неспособны воспроизвести текст в полном соответствии с подлинником: издавая текст в транслитерации, мы лишены возможности отмечать наличие или отсутствие диакритических точек при знаках алфавита и т. д., в результате чего многие особенности рукописи, порою даже имеющие принципиальное значение, пропадают. Издания текстов в транскрипции для палеографии, для истории письма, для изуче-

[1] Северная Монголия, II, Л., 1927, стр. 1 и сл.

ния почерков и т. д. не представляют собою никакой ценности, а в силу того, что порою то или иное слово может быть прочтено по-разному, транскрибируя его одним способом, мы устраняем всякую возможность прочесть его иначе, чем это делаем мы. Это — один недостаток. Другой недостаток таких изданий вытекает из недостаточного знания языка. Дело в том, что, предпринимая издание того или иного текста не знаками алфавита оригинала, а в транскрипции, исследователь обязуется дать безусловно правильное чтение текста.

Известно однако, что разнообразие фонетических значений того или иного знака монгольского алфавита не всегда дает возможность абсолютно правильно прочесть и транскрибировать то или иное слово даже лицам, прекрасно владеющим языком. Наибольшие трудности, как известно, доставляет вопрос о том, когда писать *ö* и когда *ü*, в каких случаях *o* и в каких случаях *u*. Редкие и мало засвидетельствованные слова могут быть поэтому прочтены по-разному и притом без гарантии в правильности своего чтения даже крупными специалистами своего дела. Естественно, что в Западной Европе, где монголоведение вообще значительно слабее, чем в СССР, и где отсутствует, как правило, практическое владение языком (единственное, что дает возможность правильно читать по-монгольски), на этот счет особенно неблагополучно. От недостатков этого рода не свободны даже прекрасные в остальных отношениях вышеназванные работы Louis Ligeti.

Из изданий текстов укажем в первую очередь издание ойратской версии «Сутры золотого блеска», опубликованное проф. E. Haenisch'ом.[1] В свое время в рецензии на это издание мы указали на ряд технических недочетов этой работы, из которых наиболее существенным является непоследовательность транскрипции: *ц* передается знаком *ts*, *з* — знаком *ds*, *ч* — знаком *c* (почему не *tš*, раз *ц* передается знаком *ts*?). Неисправленные описки подлинника, воспроизведенные в транскрипционном издании текста, сильно мешают пониманию, как, напр., *ökükseṅ* 'давший' (стр. 5) вм. *ögüqseṅ*. Особенно большие сомнения вызывают имена собственные, передаваемые в подлиннике знаками галика, для которых в латинской транскрипции, используемой проф. E. Haenisch'ом, эквивалентов нет.

Такое же издание буддийского текста в транскрипции представляет собою работа доктора Fr. Weller'a *Brahmajālasūtra*,[2] опубликованная им

[1] Erich Haenisch. Altan Gerel. Die westmongolische Fassung des Goldglanzsūtra. Nach einer Handschrift der Kgl. Bibliothek in Kopenhagen herausgegeben. Leipzig, 1929.

[2] Friedrich Weller. Brahmajālasūtra. Tibetischer und mongolischer Text. Leipzig, 1934.

в связи с другими работами его об этой сутре.[1] Говоря об этом издании монгольского текста сутры *Brahmajāla*, следует сказать, что на достоинствах ее особенно сильно сказывается отсутствие у автора практического знакомства с монгольским языком, вследствие чего очень многие слова им вполне последовательно транскрибируются неправильно. Автор, правда, делает в предисловии оговорку, что он не стремился транскрибировать и что в его намерения входила лишь транслитерация текста, не претендующая на фонетическую точность, все же некоторые ошибки в передаче монгольских слов не могут быть оправданы таким подходом. Так, напр., на стр. 19 (passim) и в других местах слово *möngke* 'вечный' неправильно транскрибируется *müngge;* на стр. 23 (§ 59) слово *olangki* 'большинство' передается как *olanggi;* на той же странице (§ 60) *yegüdkeǰü* 'умирая' передается как *yeküitkeǰü*, несмотря на то, что в живой речи этой форме соответствует калмыцкое *ǰūdəxə* с долготой гласного, ясно указывающей на то, что в соответствующем слоге был *g*, а не *k*.

По поводу этого и предыдущего издания текста можно заметить, что общее представление о подлиннике они дают и делают возможным понимание текста и перевод его, но и только. Филологическая ценность их поэтому невелика. И возможно, что первоначальный план доктора Weller'а дать только транслитерацию, для чего каждому знаку монгольского алфавита, независимо от его фонетического значения, был бы приурочен один знак латинского алфавита (монгольские *o* и *u* передавались бы по этой системе всегда только знаком *o*; *t* и *d* всегда только знаком *t* и т. п.), в данном случае был бы более целесообразным.

IV

Особое место занимает среди произведений старой монгольской литературы знаменитое «Сокровенное сказание», старейший памятник монгольского героического эпоса, переработанного в целях стать историей дома Чингис-хана, и старейший памятник монгольской литературы вообще. Над приготовлением к печати монгольского текста, переводом и исследованием этого памятника уже много лет трудится акад. Paul Pelliot, опубликовавший до настоящего времени несколько статей, в которых затронуты некоторые вопросы, связанные с изучением этого произведения. Так как эти, до сих пор опубликованные работы его не имеют непосредственного отношения

[1] Über das Brahmajālasūtra. Asia Major, vol. IX, fasc. 2, pp. 195—332; fasc. 3, pp. 381—440.

к изучению «Сокровенного сказания» как литературного памятника, мы на них здесь не останавливаемся.[1]

Большую работу о «Сокровенном сказании» опубликовал проф. E. Haenisch.[2] В ней разбирается ряд вопросов, связанных с изучением этого произведения. В первой главе, представляющей собою предисловие ко всему труду, дается краткий очерк истории изучения памятника. Во второй главе дается отрывок восстановленного текста, переложенного с китайской иероглифической транскрипции на латинскую. Начало его совпадает с 22-й страницей Позднеевского литографированного издания текста. Третья глава содержит примечания к монгольскому тексту, преимущественно лингвистического характера. В следующей главе дается перевод изданного отрывка. В седьмой главе сообщаются подробности об оригинальном тексте в иероглифической передаче и о подстрочном переводе. Последняя глава посвящена особенностям языка памятника. Только пятая и шестая главы (V — Zum Titel; VI — Sachliches) представляют собою непосредственный интерес для изучающих это произведение со стороны его содержания, как произведение литературное. В первой из них даются разъяснения, касающиеся заглавия. По поводу их укажем, что соображения проф. Haenisch'а о связи слова *tobčiyan* со словом *tobči* 'пуговица' вызывают большие сомнения. Не разрешен им также вопрос о том, следует ли слово, передаваемое в китайской иероглифической транскрипции как *t'o ch'a an*, читать как *tobčiyan* или как *tōča'ān*. Между тем, *tōča'ān* является закономерным соответствием письменно-монгольского *toγačaγan* = халх. *t'ōcō* 'перечисление' (от глагола *toγača-* 'перечислять'). Во второй из названных здесь глав дается краткий анализ содержания отрывка и указываются различные произведения, имеющие отношение к предмету исследования. Среди них упоминается со слов акад. Pelliot рукопись одного исторического сочинения, которое содержит в себе почти половину всего «Сокровенного сказания». В настоящее время нам известно, что это — одна из версий летописи *Altan tobči*, действительно содержащая множество отрывков из «Сокровенного сказания».

Кроме этой работы о «Сокровенном сказании» мы имеем в настоящее время еще полное издание монгольского текста его, выпущенное в свет

[1] См.: A propos des Comans. Journal Asiatique, 1920, Avril—Juin, pp. 125—185; Notes sur le «Turkestan» de M. W. Barthold. T'oung Pao, 1930, 12—56; Un passage altéré dans le texte mongol ancien de l' Histoire Secrète des Mongols. T'oung Pao, 1930, p. 199—202.

[2] Erich Haenisch. Untersuchungen über das Yüan ch'ao pi-shi, die geheime Geschichte der Mongolen. Des XLI Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften № IV, Leipzig, 1931.

тем же автором.[1] Эта работа представляет собою только издание текста и перевода не имеет. Общий характер ее ясно показывает, что автор не учел ни одного замечания рецензентов, обнаруживших многочисленные погрешности в первой из названных работ. Транскрипция, применяемая в этом новом издании, представляет собою нечто среднее между транскрипцией китайских иероглифов и научной монголоведной транскрипцией, и монгольские слова транскрибируются так, что не понять, хотел ли автор ограничиться одним лишь переложением иероглифов на латинский алфавит или дать транскрипцию монгольского текста, представив текст в том виде, как он действительно читался. Как показывает дальше произведенное проф. Haenisch'ом разделение предложений и абзацев, автор большей части текста не понял.

Таким образом можно констатировать, что первые опыты издания текста «Сокровенного сказания» безусловно неудачны. Задачей монголоведения попрежнему остается изучение этого замечательного произведения и подготовка, в первую очередь, доброкачественного издания текста.

Институтом Востоковедения Академии Наук СССР подготовка нового издания уже предпринята, и надо надеяться, что работа, выполненная С. А. Козиным, явится большим шагом вперед.

V

Каких-либо литературоведных проблем вышеназванные работы в своем большинстве не ставят и разрешить их не пытаются. Они представляют собою лишь описания рукописей и ксилографов и простые издания текстов, причем издания довольно примитивные и, кроме первой работы проф. Haenisch'а о «Сокровенном сказании», лишенные комментариев и филологического аппарата.

Давая общую оценку этим работам, являющимся лишь подсобным материалом для изысканий в области монгольской литературы, можно сказать, что наилучшими из них являются описания рукописей и ксилографов, что остальные представляют собою лишь самые первоначальные опыты, не удовлетворяющие даже скромным требованиям современной техники издания текстов и филологического комментирования их.

Неудовлетворительный характер носят и примечания к тексту «Сокровенного сказания». Их немного, и малочисленность их объясняется

[1] Manghol un niuca tobca'an (Yüan-ch'ao pi-shi). Die geheime Geschichte der Mongolen. Von Erich Haenisch, Leipzig, 1937.

безусловно тем, что автор, недостаточно знакомый с особенностями древнего языка, не имел критерия в вопросе о том, что принадлежит к наиболее интересным особенностям языка памятника.

Примечания, по существу, ничего не дают. Так, напр., прим. 9 состоит из одного только слова *horilalduju* (в основном тексте *ḥorilalduju*), и читателю предоставляется судить о том, чем эти варианты существенно отличаются друг от друга. Между тем, можно было бы сказать, что *horilalduju* вероятно следует понимать, как *χoriγlalduju*, ибо от глагольной основы *χori-* образование с отыменным суффиксом *-la-* невозможно.

В прим. 18 говорится «Das Wort ist unbekannt» (относительно *uyeḥaya*, точнее *üye χaya*). Слово это известно и состоит из *üye* 'поколение' и *χaya* 'родня' (дальняя); отсюда образованы слова *üyegeli* «племянник», а в словаре Голстунского дается *üyelid* «двоюродные братья» и *χayalid* «сын двоюродного брата».

К прим. 19, n⁰ 3, следует добавить, что *sa'ul-* «сажать» является интересной формой побудительного глагола от *saγu-* «сидеть» и что в памятниках XIII в. вместо суффикса *-γul-* употребляется суффикс *-l-*, формы с которым засвидетельствованы во многих старых рукописях, и т. д.

Фактически примечания ничего не объясняют и могут служить вспомогательным средством для перевода лишь в весьма небольшой мере.

VI

Остается подвести некоторые итоги результатам изучения монгольской литературы за границей. Как видно, большинство работ, произведенных за последнее время, носит попрежнему характер лишь вспомогательных для подлинного исследования работ. Это — описания рукописей и ксилографов и издания текстов. Если описания рукописей и ксилографов, вышедшие в свет за последние годы, не оставляют желать много лучшего и представляют собою в целом вполне доброкачественные работы, то этого нельзя сказать про издания текстов, ибо они страдают очень большими дефектами, объясняющимися недостаточным знанием монгольского языка. В связи с этим следует сделать замечание по поводу того, что в Западной Европе еще не изжит взгляд на монголоведение, как на такую отрасль востоковедения, по отношению к которой позволено все, вплоть до писания работ без знания монгольского языка. Особенно относится это к германской монголистике, в высшей степени невыгодно отличающейся от крепко ставшей на ноги французской.

Исследовательских проблем в области изучения литературы западноевропейское монголоведение не ставит, и изучение литературы носит характер лишь подсобной дисциплины. До сих пор нет даже правильного взгляда на то, чем и в особенности как должно заниматься литературоведение.

Большой подъем в деле изучения всего монгольского наблюдается за последнее время в дружественной нам Монгольской Народной Республике. В течение последних нескольких лет там было сделано очень много в смысле издания различных произведений художественной литературы. Но научных, отвечающих требованиям филологии, изданий текстов мы там еще не видим, и нам известно лишь, что вышло в свет издание одной старой версии летописи *Altan tobči*.

Однако наличие талантливых писателей и поэтов является гарантией того, что в этой области в скором времени кое-что будет достигнуто.

Предпосылок для развертывания исследовательской работы в области изучения монгольской литературы в большинстве зарубежных стран на данном этапе нет: недостаточное, за редкими исключениями, знание монгольского языка в странах Западной Европы, филологическая слабость тамошних работников и немногочисленность национальных научных кадров в Монгольской Народной Республике не дают возможности поднять в настоящий момент работу на более высокую ступень.

Иначе обстоит дело в СССР, где возможности для этого налицо. Существующие богатейшие коллекции рукописей и ксилографов представляют собою неисчерпаемый источник для литературных изысканий. Марксистско-ленинский метод советских литературоведов дает возможность нам,— монголистам — учиться у них и применять этот метод на монголоведной практике.

В этом направлении кое-какая работа уже ведется: за последнее время Институтом Востоковедения Академии Наук СССР много сделано в области приведения в порядок рукописных собраний и приступлено к составлению научного каталога монгольских книг. Оживилась издательская деятельность, и уже удалось выпустить в свет несколько филологических изданий исторических текстов.

Подготовляется издание некоторых летописей, как, напр., летописи Саган Сэцэна, и сдан в печать такой крупный труд, как «Сокровенное сказание» С. А. Козина. Наконец, ведется работа в области разрешения некоторых теоретических вопросов, не говоря уже о больших успехах советской монголоведной фольклористики.

В связи с той краткой информацией, которую мы сделали относительно работы Монгольского кабинета, в той или иной мере способствующей углублению наших литературоведных исследований, мы позволим себе коснуться некоторых принципиальных вопросов, имеющих, на наш взгляд, большое значение.

До сих пор зарубежное монголоведение не выработало правильной точки зрения по вопросу о том, чтó является объектом литературоведения. До настоящего времени не изжита неразбериха в вопросе об отношении литературы к письменности в целом и об отношении литературоведения к изучению литературы в широком смысле этого слова.

На непонимание этого вопроса со стороны прежних монголистов впервые было указано в одной из наших статей,[1] и теперь можно было бы к этому вопросу, как совершенно ясному и бесспорному, больше не возвращаться, если бы он не всплывал все снова и снова. Если мы возьмем «Лекции по истории монгольской литературы» А. Позднеева или «Очерк монгольской литературы» Б. Лауфера, то мы заметим, что авторы этих работ не делают разницы между посланиями ильханов, стэлой Буянту-хана, разными сутрами и тибетско-монгольскими словарями, с одной стороны, и рассказами «Волшебного мертвеца» и «Повестью о Викрамадитья», с другой стороны, хотя первые названные представляют собою образцы дипломатической переписки, эпиграфики, религиозной и филологической литературы, а последние — произведения художественной литературы. Таким образом мы видим, что для прежних монголистов, а теперь для зарубежных монголистов характерно неразличение задач изучения литературы в широком смысле, всей письменности в целом и литературоведения. Это неразличение объясняется непониманием того, что такое литературоведение.

В самом деле, что такое литературоведение?

Как известно, литературоведение — наука, изучающая художественную литературу, хотя: «в течение многих веков под литературой, или еще иначе под „словесностью“.., разумели все памятники устного и письменного творчества человека, в каких бы областях общественной и социальной деятельности и знания оно ни проявлялось. В состав литературы в одинаковой степени включали и сборники древне-русских государственных законов („Русская правда“) и феодальные нормы семейного права и быта („Домострой“), исторические хроники и летописи, политические речи, религиозные проповеди, философские сочинения и мн. др. Но впоследствии,

[1] Проблемы бурят-монгольского литературоведения. Зап. Инст. Востоковед., т. I, стр. 13—14.

по мере усложнения общественной жизни и по мере усложнения порожденных классовыми отношениями идеологических форм, начинается процесс дифференциации идеологий. От общей „словесности“ отделяются те или другие области. Им присваиваются специфические определения: философия, история, право и т. д. и т. п. Термин „словесность“, „литература“ сохраняется преимущественно за художественной литературой. Однако еще совсем недавно буржуазными учеными издавались такие курсы истории литературы, которые, не устанавливая ни точных границ своего предмета, ни его достаточной спецификации, включали в предмет своего ведения памятники, весьма отдаленно касающиеся художественной литературы».[1]

В связи с этим, уместен следующий вопрос: «А как же быть с нехудожественной литературой? Ее не изучать?» Конечно, нет. Ее необходимо изучать, но изучать с иных точек зрения, чем художественную литературу: летописи должны изучаться, но как памятники исторические, философские трактаты должны исследоваться именно как философские труды, и т. д. Конечно, если та или другая летопись содержит в себе отрывки художественных произведений, вроде фрагментов героического эпоса, как, напр., история Саган Сэцэна, летопись *Altan tobči* и т. д., то эти фрагменты подлежат изучению со стороны литературоведа. Все это настолько просто и понятно, что едва ли стоит особенно разъяснять это.

Следующим крупным недостатком немногочисленных высказываний о монгольской литературе является неправильное понимание значения переводной монгольской литературы. Согласно полностью еще неизжитой точке зрения, понимание переводной монгольской литературы возможно лишь в свете истории центрально-азиатской культуры, которая должна явиться важной вспомогательной для изучения монгольской литературы дисциплиной.

В свое время мы выдвинули тезис, что переводная литература для нас — монголистов — представляет собою интерес в том отношении, что изучение ее дает нам ответ на вопрос, с какой целью был сделан тот или иной перевод, чей социальный заказ был призван данный перевод выполнить.[2]

Иначе говоря, мы выдвинули необходимость изучения классовой сущности переводческой деятельности в феодальной Монголии и думаем, что были в этом вопросе совершенно правы, утверждая, что никому ненужного, никому ничего не говорящего произведения не станут переводить. Между тем еще не изжито мнение, что в монгольской литературе имеется много

[1] ЛЭ, т. VI, стр. 402—403.

[2] Проблемы бурят-монгольского литературоведения, стр. 17.

никому ненужных переводов, в частности в составе собрания сочинений Дзонхавы, в ряде крупнейших отделов Данджура, посвященных философии, мистике и дисциплине буддизма.

Мнение это, на первый взгляд безобидное (хотя оно и необоснованное и даже неверное), оказывается, однако, в методологическом отношении весьма порочным. Дело в том, что оно является неизбежным следствием превратного понимания социального заказа в феодальной Монголии, относительно которого высказывалось раньше мнение, что социальный заказ в феодальный период якобы отличается от социальных заказов послефеодальных периодов истории и что основной движущей силой в области переводческой деятельности в феодальной Монголии являлась буддийская теория так называемой «религиозной заслуги» (санскритская пунья, монг. буян), что всякая переписка или перевод священного текста представляет собою религиозную заслугу независимо от дальнейшей судьбы данного перевода, что манчжурские императоры, вроде Цянь-Луна, довольствовались репутацией «покровителей веры», снисканной ими этого рода добродетельными начинаниями, и о распространении переводов ни в какой мере не заботились.

Нечего и доказывать, что методологически совершенно порочными являются представления о существующей якобы принципиальной разнице между феодальной литературой и литературой послефеодальных периодов в том смысле, что первая из них выполняет предъявляемый к ней ее создателями социальный заказ в меньшей степени, чем призвана выполнять его вторая. Вся история является историей классовой борьбы. «Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что *вся* она, за исключением первобытного состояния, была историею борьбы классов, что эти борющиеся общественные классы являются в каждый данный момент результатом отношений в производстве и на транспорте — словом, *экономических* отношений своего времени».[1] Следовательно, вся литература, все искусство, вся наука и т. д. в антагонистических обществах являются классовыми. Каждый класс ставил себе свои задачи и цели, а поэтому наука, литература и искусство на службе у разных общественных классов отражают идеологию каждого данного класса. Отсюда разница в социальном заказе, скажем, литературы феодального общества и пролетариата в период капитализма, но в обоих случаях остается одно и то же, а именно, что социальный заказ этот дается определенным классом. Таким образом любое литературное произведение, как

[1] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Соч., т. XIV. Соцэкгиз. Москва—Ленинград, 1931, стр. 26.

оригинальное, так и переводное, в классовом обществе всегда выполняет социальный заказ какого-нибудь класса данного общества. Это замечание справедливо и в отношении Данджура, вопреки обратной точке зрения, неправильность которой объясняется полным непониманием классовой сущности теории «религиозной заслуги», как одного из орудий духовного порабощения масс господствующим классом феодальной Монголии. Общеизвестным является ведь, что господствующие классы в период и феодализма и капитализма пользовались религией и ее предписаниями в своих целях для воздействия на массы, в целях отвлечь их от борьбы за их освобождение от эксплоатации и гнета. Сущность теории «религиозной заслуги», как нам кажется, достаточно ясна. Что некоторых переводов никто не читал или не понимал, доказывает лишь, что цель, которую себе ставили благочестивые носители идеи буддийской добродетели, в данном случае не была достигнута. Последнее обстоятельство, однако, ни в коей мере не может служить доказательством того, что, делая перевод, переводчики ничьего социального заказа не выполняли: то, что они руководствовались идеей «религиозной заслуги» и брались за это дело, уже делало их исполнителями задания определенного класса, не говоря уже о том, что такие предприятия, как перевод на монгольский язык Ганджура и Данджура, явились мощным насосом для выкачивания средств из трудового аратства, шедших в пользу благочестивых ревнителей буддийской добродетели.

Следует, впрочем, заметить, что характеристика Ганджура и Данджура, как мертвых сокровищ, в корне ошибочна. Прежде всего, неправильным является утверждение, что значительное количество сочинений, вошедших в некоторые отделы Ганджура и Данджура, никогда и никем не читалось. Так, напр., большой популярностью пользовался даже такой отдел, как Vinaya, трактующий о правилах монашеской жизни, ибо он содержит множество художественных отрывков, из которых некоторые представляют собою своего рода уголовные романы. Особенно большим авторитетом пользовались многие медицинские трактаты, заключающиеся в Данджуре: методы лечения, рекомендуемые ими, считались среди широких кругов лечащихся особенно эффективными и предпочитались предписаниям даже таких известных руководств по медицине, как Джуд-ши. Говорить о том, что Ганджура и Данджура никто не читал, поэтому не приходится.

К мертвым сокровищам Ганджур и Данджур причислять нельзя и по той причине, что осуществление перевода их явилось крупным событием минувшей истории монгольской письменности и ее языка и всей истории монгольской культуры феодального периода, при этом, для своего времени, собы-

тием прогрессивным, хотя гипертрофия буддийской философской и религиозной литературы в дальнейшем обусловила собою одностороннее развитие монгольского языка и повлияла задерживающим образом на остальные отрасли монгольской литературы. Перевод Ганджура и Данджура потребовал проведения большой терминологической работы. Специально созданная в интересах осуществления его терминология в значительной части вошла в монгольский язык феодального периода. О переводе на монгольский язык Ганджура при Лигдан хане следует, кроме того, заметить, что это мероприятие вполне отвечало тем задачам, которые последовательно осуществлял Лигдан хан, являвшийся одним из ярчайших борцов за национальную независимость монголов. Перевод на монгольский язык Ганджура является одним из звеньев в борьбе Лигдана за независимость Монголии, ибо перевод религиозных сочинений и исполнения ритуалов на монгольский язык должен был ослабить религиозные связи Монголии с Тибетом, принявшие вскоре опасный для Монголии в политическом отношении характер, когда сговор манчжурских императоров с далай-ламой фактически решил вопрос о дальнейших судьбах Монголии. После этого становится совершенно ясным, что перевод Ганджура выполнял определенный социальный заказ, ибо осуществление его имело громадный политический смысл. Значение переводов Ганджура и Данджура поэтому очень велико, и литературовед мимо них пройти не может.

Так обстоит дело с Ганджуром и Данджуром. История центрально-азиатской культуры в данном случае, как и во всех других, ничего нам не объясняет и, наоборот, дело лишь запутывает. Только теория классовой борьбы поможет нам правильно разобраться в вопросе о том, какую роль выполняла, в частности, переводная литература и каково было ее значение в Монголии; и никакая «история центрально-азиатской культуры», ни паназиатская, ни пантуранская и т. д. ключа к правильному разрешению проблемы не дает и может служить лишь орудием империалистической политики тех, кто уже пытается начать «объединение» стран «центрально-азиатской культуры».

В самом деле, что такое центрально-азиатская культура? Существует ли Центральная Азия как экономическое целое? Существует ли она как некое единство в смысле своего общественного развития? Существует ли она как лингвистическое целое? На все эти вопросы мы отвечаем: «Нет», ибо в смысле своего общественного развития некоторые страны Центральной Азии стоят, правда, на ступени феодального развития, но феодализм этот всюду обладает своей спецификой и находится в разных

фазах своего развития. Следовательно, предпосылок для существования такой центрально-азиатской культуры нет. И если попытаться выяснить, что все-таки объединяет страны Центральной Азии — Синь-Цзян, Монголию, Тибет и т. д., то остается лишь буддизм. Следовательно, центрально-азиатская культура есть не что иное, как буддизм.

К вопросам, решаемым иногда в свете все той же «центрально-азиатской культуры», относится также проблема о взаимоотношении между монгольской литературой, с одной стороны, и многими монгольскими литературами — с другой. В свое время нами было отмечено, что единой монгольской литературы нет, что вместо таковой мы должны говорить о бурят-монгольской, ойратской, халха-монгольской и т. д., поскольку единой литературы у этих народов нет ни теперь, ни в прошлом, и что об единой монгольской литературе можно говорить, имея в виду лишь тот период, когда часть монгольских народностей была политически объединена в одно целое.[1]

Нами же было показано, что языковое единство монгольских литератур лишь очень относительное. Полное единство представляет собою лишь буддийская религиозная, философская и т. д. литература, отличающаяся единством содержания и языка, в то время как светские литературы монгольских народностей совсем не образуют единства. Полному единству буддийской литературы, отличающейся так называемым классическим языком, иначе говоря, языком специфическим и характерным только для ксилографических изданий буддийских сочинений, единству как со стороны содержания, так и со стороны языка противостоит ряд монгольских светских литератур, отличающихся друг от друга как по содержанию, так и по языку.

Вопрос о том, что представляет собою литература монгольских народностей, решается поэтому для разных периодов и в отношении светской и духовной литературы по-разному. И совершенно не соответствует истинному положению устарелый взгляд, что общая монгольская литература, за вычетом ойратской, должна трактоваться, как таковая, вплоть до конца XIX в. Центрально-азиатская культурно-историческая точка зрения и в данном случае оказывается порочной, и введение ее в монгольское литературоведение явилось бы именно препятствием на пути правильного решения проблемы.

Выше нами уже было указано, что стержень «центрально-азиатской культуры» образует буддизм.

[1] Проблемы бурят-монгольского литературоведения, стр. 14—15.

Буддизм шел, однако, в Монголию через Тибет, и понятно при таких условиях, что все наиболее значительное, что является проявлением этой «центрально-азиатской культуры» в Монголии, представляет собою именно тибетские ламайские элементы, в оценке роли которых мы не всегда сталкиваемся с полной объективностью. Говоря о том, что умственная культура феодальной Монголии имела свой центр тяжести в монастырях и что языком этой культуры был тибетский, иногда склонны переоценивать прогрессивное значение этой тибетско-буддийской культуры, результатом чего является неправильная, реакционная и враждебная трудовому аратству точка зрения, согласно которой наиболее ценным в истории культуры Монголии являются буддийско-ламские элементы, т. е. та самая ламайщина, которая на деле была реакционной силой, тянущей Монголию назад, ведшей к уничтожению всего национального, установившей свое мрачное господство в результате сговора манчжурских монархов с далай-ламой, против которой выступали лучшие носители национальной идеи феодальной Монголии, как, напр., Лигдан хан, и от которой Внешнюю Монголию раз и навсегда избавила Революция.

Таковы, как нам кажется, должны быть установки в отношении некоторых литературоведных проблем. Литературоведческая работа находится у нас еще только в первоначальном периоде своего развития, но она может быстро развиться при условии, если она изберет правильные пути разрешения стоящих перед ней вопросов.

А. П. БАРАННИКОВ

Проблема прозаического хинди

Для обозначения κοινή, общего языка современной Индии, на котором говорят свыше 200 миллионов населения этой страны, в лингвистической литературе и в широких кругах Индии употребляется три термина: урду, хинди и хиндустани.

В своем более узком значении термин урду (اردو) употребляется для обозначения литературного языка мусульман. Так как этот язык представляет собою литературную надстройку над индийским κοινή — общеиндийским разговорным языком, то индийские мусульмане называют и эту последнюю идиому также урду. Благодаря им этот термин получил свое более широкое значение.

Но урду не является единственной литературной надстройкой на базе разговорного κοινή: на нем основан также хинди (हिंदी), литературный язык индуистов, индусов, и на этом основании индусы обозначают индийскую lingua franca термином хинди, тем более, что этот термин, имеющий значение «индийский язык», весьма подходит, по их мнению, для обозначения общего языка Индии, возвышающегося над местными провинциальными языками Индии, каковыми являются бенгальский, маратский, панджабский, гуджаратский, урья, ассамский и др.

Каждая из названных литературных форм может быть весьма близкой к разговорному языку, и этим в известной мере оправдывается факт обозначения одним и тем же термином как литературной формы языка, так и разговорной идиомы. Литературный урду и литературный хинди, близкие к разговорному κοινή Индии, на котором основаны оба эти языка, весьма близки друг к другу и отличаются друг от друга лишь некоторыми элементами словаря.

Однако как урду, так и хинди, редко проявляются в формах, близких к разговорному индийскому κοινή. В силу высокого удельного веса феодальных элементов вообще и религиозных элементов в частности во всех

областях общественной жизни Индии, оба названных литературных языка обычно выступают в формах, в сильной мере оснащенных элементами литературных языков феодальной Индии, т. е. соответственно санскрита и персидского языка.

Оснащенность литературного хинди элементами, заимствованными из санскрита, может быть настолько сильной, что в некоторых произведениях как в области поэзии, так и в области прозы, элементами современного хинди являются только формы связки — है hai 'есть', था thā 'был' и т. д.

С другой стороны, некоторые произведения на литературном урду в такой мере насыщены элементами персидского языка, что путем простой замены индийской связки ہے hai персидской связкой است эти произведения переводятся из области литературы урду в область персидской литературы. Таковы некоторые газели крупнейшего поэта литературы урду XIX в. — Галиба.

Таким образом как литературный хинди, так и литературный урду часто весьма сильно отдаляются от общеиндийского κοινή, причем хинди практически иногда совпадает с санскритом, а урду — с персидским языком.

В силу этого делаются попытки, пока не имеющие большого практического значения, создать литературный язык, близкий к разговорному. Как этот литературный язык, близкий к общеиндийскому κοινή, так и само это κοινή получили название хиндустани, т. е. «индийский язык».

Таким образом общеиндийское κοινή обозначается тремя терминами — урду, хинди, хиндустани. Этими же терминами обозначаются соответственно: а) литературный язык мусульман, в) литературный язык индусов (индуистов) и с) литературный язык, свободный, по крайней мере в идее свободный от узко конфессиональных рамок, в которые втиснуты оба вышеназванных литературных языка.

Хиндустани, как литературный язык, проникает в литературное употребление лишь в конце XIX в., и до настоящего времени на нем не успела развиться литература, которая могла бы иметь сколько-нибудь заметное влияние на общественную жизнь Индии. На ряду с этим, однако, как литературный хинди, так и литературный урду у многих авторов, особенно у авторов, принадлежащих к левому крылу индийской буржуазии, в весьма заметной степени приближается к разговорному языку, т. е. к хиндустани.

Литературный язык мусульман имеет весьма длительную историю. Впервые он появляется в литературе в XIII в. Его употребление в литературе упрочилось в XV—XVII вв. культивированием литературного урду

на Декане. С XVIII в. он входит в широкое литературное употребление на севере Индии и в настоящее время является межнациональным литературным языком всех индийских мусульман.

Литературный урду не является однообразным в течение всего длительного периода своей истории. Его южная, деканская форма, которая получила специальное название дакхни (دکھنی), в весьма заметной степени отличается от северной формы рядом особенностей. Однако эти различия относятся преимущественно к области лексики, выражаются в сохранении значительного числа архаизмов и привнесении незначительных диалектических вариаций, которые частично употребляются позднее и на севере. Таким образом особенности дакхни, отличающие его от северного урду, не выходят за рамки обычных в истории феодальных литературных языков отклонений, объясняющихся локальными влияниями. В своих основных чертах урду на всем протяжении своей истории представляется единым.

Вплоть до начала XIX в. урду употребляется исключительно в поэзии, так как в области прозы в течение нескольких веков индийские мусульмане пользовались персидским языком, который был государственным языком могульской империи и утратил свое значение лишь после крушения этой империи.

В самом начале XIX в. индо-мусульманские авторы под руководством Гилькриста (Gilchrist), директора College of Fort William, создают прозаический урду, и с этого времени на урду развиваются, помимо богатейшей поэтической традиции, также и обширная художественная прозаическая литература, публицистика и т. д.

Третий из названных литературных языков — хинди — имеет наиболее длительную и наиболее оригинальную историю. По свидетельству индийских историков литературы, начало литературной традиции на хинди относится к VIII в. н. э., и его употребление в литературе небрахманских каст идет параллельно с употреблением санскрита брахманами. От древних авторов литературы хинди дошли до нас лишь незначительные фрагменты, и непрерывная литературная традиция на этом языке идет лишь с XII в., к каковому времени относится грандиозная эпопея Чанда Бардаи «Притхви Радж Расо».

Характерной особенностью литературы хинди является то, что она развивается на ряде диалектов, часто весьма сильно отличающихся друг от друга. Эти отличия выходят за рамки различий, естественных в историческом развитии языка, либо незначительных локальных вариаций, свойственных авторам, выходцам из различных провинций. Литературные диа-

лекты, обнимаемые понятием литературного хинди, восходят к разной локальной диалектической подоснове.

Все формы литературных диалектов, употребляемые на протяжении длительной истории литературы хинди вплоть до начала XIX в., можно разбить на три типа.

1. Западные диалекты, на которых с древнейших времен создавались эпические поэмы. Этот тип диалектов, отличающихся один от другого рядом мелких особенностей, можно назвать эпическим диалектом или, точнее, группой эпических диалектов хинди.

2. Брадж (ब्रज) — лирический язык, или, точнее, группа лирических диалектов, в основе которых лежит диалект дистриктов Матхуры, Агры и т. д. Эти близкие друг другу диалекты, локально связанные с теми местами, которые почитаются ареной деятельности мифического героя-пастуха Кришны, выступают в лирике, посвященной воспеванию подвигов этого героя. Исключительное для поэтической литературы хинди значение мифа о Кришне привело к тому, что диалект брадж перестал сознаваться как чисто локальный диалект и получил значение лирического диалекта вообще. В силу этого почти вся лирика на хинди вплоть до конца XIX в., а частично и в настоящее время, пользуется диалектом брадж.

3. Диалект авадхи (अवधी), локально и типологически являющийся одним из диалектов восточного хинди, весьма сильно отличающийся от ранее названных литературных диалектов, принадлежащих западному хинди. Этот диалект, впервые введенный в литературное обращение поэтом XVI в. Джаяси в его поэме «Падмават», упрочил свое существование в литературе благодаря деятельности крупнейшего поэта не только литературы хинди, но и всех индийских литератур вообще, Тульси Даса. Все важнейшие поэтические произведения Тульси Даса, написанные на литературном авадхи, посвящены другому мифическому герою Индии — Раме. Важнейшее из произведений Тульси Даса — его Рамачаритаманаса или Рамаяна. В силу этого все эпические, а отчасти и лирико-нравоучительные произведения литературы хинди после Тульси Даса пишутся на авадхи.

Таким образом вплоть до начала XIX в. в литературе хинди употреблялось три поэтических диалекта, которые, утратив свой локальный характер, сделались средствами выражения разного типа идей и впоследствии стали своеобразными стилистическими средствами.

За самыми редчайшими исключениями, на всех этих диалектах создается только поэзия. Проза в литературе хинди до начала XIX в. практически не существовала.

Только в начале XIX в. под руководством того же Дж. Гилькриста ученые индусы создают первые произведения на прозаическом хинди. В этих произведениях весьма четко выступают те трудности, с которыми приходилось бороться их авторам в деле преодоления поэтической традиции на языке хинди. Эти трудности состояли не только в преодолении воспитанной веками тенденции к стиху, к ритму, но и в преодолении старых литературных диалектов, так как прозаический хинди создается на новом для предшествующей литературной традиции, четвертом диалекте, который получил название *khaṛī bolī*. Этот диалект является литературным оформлением разговорного κοινή Индии — хиндустани.

Таким образом на основе одного и того же разговорного языка в начале XIX в. были созданы две прозаические литературные формы языка — литературный урду, который в отношении характера диалекта, лежащего в его основе, продолжает давние традиции поэтического урду, и литературный хинди, который по своей диалектической основе является принципиально новым для литературы хинди, ее четвертым литературным диалектом.

Этот вновь созданный литературный диалект принципиально отличается от диалектов, ранее употреблявшихся в литературе хинди, своей живой связью с разговорным языком. В этом его сила. Он в короткое время встречает всеобщее признание и развивает огромную экспансию. В течение XIX в. на нем развивается прозаическая художественная, публицистическая и научная литература, с начала XX в. (частично и раньше) на нем начинает развиваться и поэзия, оттесняя на задний план все ранее существовавшие литературные диалекты хинди.

С развитием свараджистского движения в Индии эта форма хинди, называемая просто хинди (हिंदी), т. е. язык Индии, провозглашается национальным языком, точнее, межнациональным языком Индии (सार्वदेशिक भाषा, (राष्ट्रीय भाषा), который, по идее конгресса, должен сделаться и общегосударственным языком Индии, вытеснив из центральных правительственных органов английский язык. Уже и в настоящее время литературный хинди всемерно пропагандируется и изучается не только в северной, но и в южной Индии, и в ряде газет на различных национальных языках (бенгальском, маратском и т. д.) появляются статьи на хинди.[1]

Такое исключительное значение языка хинди для всей страны вызывает естественный интерес к его истории, в частности к вопросу о его

---

[1] В качестве иллюстрации можно указать на маратскую газету *Kesarī* (केसरी), выходящую в Пуне.

возникновении. Целый ряд положений, относящихся к этому моменту его истории, подвергается пересмотру, тем более что некоторые из этих положений весьма устарели и носят явно тенденциозный характер.

В английской лингвистической литературе до недавнего времени был широко распространен взгляд, что современный прозаический хинди или кхари боли (खड़ी बोली) или, как его называют англичане, High Hindi был изобретен англичанами.

Эта точка зрения одно время поддерживалась также и таким высокоавторитетным ученым, каким является Г. А. Грирсон, крупнейший специалист по вопросам индологии нашего времени. Так, в предисловии к своему труду по истории литературы хинди он говорит:[1] «The first half of the XIX-th century... was the period of the birth of the Hindi language, invented by English, and first used as a vehicle of literary prose composition in 1803, under Gilchrist's tuition, by Lallu Ji Lal, the author of the Prem Sagar».

Факт изобретения англичанами в течение очень короткого времени литературного языка сам по себе вызывает некоторое сомнение. Уже a priori представляется мало вероятным, чтобы можно было легко изобрести литературный язык для страны с многомиллионным населением, особенно же имея в виду страну с давней культурой и весьма длительной литературной традицией. Это сомнение особенно возрастает в виду того, что, во-первых, в начале XIX в. европейцы только приступили к планомерному изучению индийских языков, во-вторых, этот якобы новоизобретенный англичанами язык очень быстро нашел всеобщее признание и сделался орудием литературного общения для многомиллионных масс населения Индии.

В другом месте названного труда Г. А. Грирсон объясняет, в каком смысле должно понимать употребляемый им термин «изобретение» (invention).[2] Он говорит: «In 1803, under Gilchrist's tuition Lallu Ji Lal wrote the Prem Sagar in the mixed Urdu language... with this pecualiarity that he used only nouns and particles of Indian, instead of those of Arabic or Persian, origin. The result was practically a newly invented speech; for though the grammar was the same as that of the prototype; the vocabulary was entirely changed. This new language, called by Europeans Hindi, has been adopted all over Hindustan as the lingua franca of Hindus, for

---

[1] G. A. Grierson. The modern vernacular literature of Hindustan, Calcutta, 1889, Introduction, p. XXII (разрядка наша. *А. Б.*).

[2] Op. cit., ch. X, p. 107.

a want existed which it fulfilled. It has become the recognized medium of literary prose throughout Northern India».

Дальнейшие исследования в области истории индийских языков, исследования, в которых столь большое участие принимал сам Г. А. Грирсон, показали, что история хинди и урду значительно сложнее, чем это предполагалось даже в конце прошлого столетия. В соответствии с результатами, добытыми этими исследованиями, Г. А. Грирсон в значительной мере изменяет свой взгляд на образование современного хинди.

В своей статье «Indo-Aryan Vernaculars» Г. А. Грирсон говорит:[1] «The present form of literary Hindi or High Hindi is a reversion to the type of the non-Persianized vernacular of the Upper Doab, brought into the use by the teachers at the College of Fort William in Calcutta in the early years of the nineteenth century. It was desired to create a Hindustani for the use of Hindus, and this was recreated by taking Urdu, the only form then known, as the basis... Owing to the popularity of the Prem Sagar of Lallu Ji Lal, one of the first books written in this newly devised speech and also owing to its supplying the need for a lingua franca which could be used by the strictest Hindus... it has become the recognized medium of literary prose throughout Northern India».

Несмотря на весьма заметное изменение во взглядах Г. А. Грирсона на образование современного литературного хинди, кхари боли, целый ряд европейских авторов повторяет его старую мысль об изобретении нового языка англичанами. Особенно широко распространена эта точка зрения среди индологов, стоящих далеко от проблем новоиндийской филологии.

Однако после выхода в свет вышеназванной статьи Г. А. Грирсона обычно говорится об изобретении литературного хинди не самими англичанами, а преподавателями колледжа в Форте Вильяма (современная Калькутта), действовавшими под руководством англичан. Так, в Encyclopaedia Britannica» мы читаем: «The Hindi form of Hindustani was invented simultaneously with Urdu prose by the teachers of Fort William...» etc.

Эта европейская точка зрения до последнего времени пользовалась широким признанием и в Индии не только среди мусульман, но и среди индусов, большая часть которых была подавлена авторитетом европейских ученых.

Для иллюстрации можно привести взгляд на этот вопрос братьев Мишра (मिश्र), высказанный ими в их истории литературы хинди

[1] G. A. Grierson. Indo-Aryan vernaculars. Bulletin of the School of Oriental Studies, 1918, v. 2, p. II, p. 52.

«मिश्रबंधुविनोद»,[1] которая является одной из важнейших справочных книг по истории литературы хинди.

Братья Мишра говорят: «वर्त्तमान गद्य के जन्मदाता सदल मिश्र और लल्लू जी लाल माने जाते हैं», т. е. «Основоположниками (точнее „родителями") современной прозы почитаются Садаль Мишра и Лаллу джи Лал». Братья Мишра, конечно, ни в коей мере не являются авторитетами в области лингвистических проблем, но мы приводим их мнение потому, что в этих словах отражается мнение, широко распространенное в самой Индии.

В настоящее время в области научной мысли весьма заметно стремление освободиться от господствующего авторитета европейских ученых и дать свою индийскую трактовку исторических проблем, взамен европейских взглядов, часто принимавшихся на веру.

После войны, с обострением экономических, политических, национальных и конфессиональных противоречий, старое понимание возникновения современного литературного хинди было подвергнуто пересмотру со стороны ученых индусов.

Должно сказать, что эта критика не была бесплодной, так как благодаря ей удалось выяснить ряд исторических фактов, ранее неизвестных науке.

Вместе с тем, однако, необходимо признать, что эта критика велась и ведется в форме, весьма далекой от объективного рассмотрения исторических фактов. Весьма часто целый ряд положений высказывается не на основании тщательного изучения исторических фактов, а только на основании личных впечатлений и эмоций, вызванных подогретым национальным или конфессиональным самолюбием.

Вопрос о возникновении современного литературного хинди невозможно рассмотреть в пределах небольшой статьи в его полном объеме, и потому я остановлюсь здесь только на главнейших высказываниях Бабу Шьям Сундар Даса (बाबू श्यामसुंदर दास), одного из крупнейших знатоков хинди, главного редактора большого толкового словаря хинди, हिंदी शब्दसागर, изданного Бенаресским обществом «Нагари Прачарини Сабха» (नागरी प्रचारिणी सभा), автора первого на хинди курса по общему языкознанию (भाषाविज्ञान) и ряда других важных научных работ, а также на взглядах сотрудника Шьям Сундар Даса по названному словарю Рама-

[1] मिश्रबंधुविनोद अथवा हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन. द्वितीय बार, द्वितीय भाग, लखनऊ, सं० १९८४, pp. 852.

чандра Шукла (रामचंद्र शुक्ल), выраженных им в кратком очерке по истории литературы хинди, приложенном к вышеназванному словарю, и на взглядах Шри Джаганнатха Прасад Шарма (श्रीजगन्नाथप्रसाद शर्मा), автора очерка о развитии прозы хинди. По вопросу о возникновении современного литературного хинди все три упомянутых автора вполне согласны между собой и все они отражают точку зрения, господствующую в настоящее время среди ученых индусов.

Главнейшие возражения этих ученых по этому вопросу сводятся к следующему.

В истории развития языка хинди ни проза, ни диалект khaṛī bolī (खड़ी बोली), на котором основан современный прозаический литературный язык, не представляются явлениями новыми. Проза на хинди существовала и до начала XIX в. Что касается диалекта khaṛī bolī, то он имеет весьма давнюю историю и известен в литературе уже с XIII в. Khaṛī bolī создан не мусульманами, как это утверждают индо-мусульманские ученые, а за ними и значительная часть европейцев, а представляет собою разговорный язык образованных индусов — купцов, ученых, проповедников и т. д. Мусульманам принадлежит только заслуга широкого распространения этого языка. Основанный на нем литературный язык мусульман, урду, является диалектом хинди. Урду есть чисто искусственный язык, и потому не может считаться основой литературного хинди. Честь «изобретения» или, точнее, введения в широкое литературное употребление прозаического хинди принадлежит не только Лаллу джи Лалу и Садал Мишре, но в значительно большей мере авторам, работавшим совершенно независимо от них, причем язык этих последних авторов значительно лучше, чем язык Лаллу джи Лала, и потому этот последний не может почитаться основоположником современного прозаического литературного языка.

Вышеназванные ученые индусы, равно как и целый ряд ученых, писавших до них и после них, указывают, что проза на хинди, ведущая непрерывную традицию с начала XIX в., не есть явление абсолютно новое в литературе хинди. Правда, памятники на литературных диалектах брадж (ब्रज) и авадхи (अवधी) в своей подавляющей массе написаны стихами, но на ряду с этим известны памятники, написанные прозой. Так, Шри Джаганнатх Прасад Шарма вслед за историками литературы хинди указывает,[1]

[1] श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा. हिंदी की गद्य शैली का विकास. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग ११ — अंक २, संवत १९८७, pp. 187.

что одно из произведений, приписываемых Горакхнатху (गोरखनाथ), автору XIV в., хотя и написанное, повидимому, одним из его последователей, представляет наиболее ранний образец прозы на брадже. На этом же прозаическом языке написаны в XVI в. варты (वार्ता) Viṭṭhalnāth'a (विट्ठलनाथ), а также комментарии некоторых из его последователей.[1] Однако сам Джаганнатх Прасад Шарма указывает, что эта проза на брадже не развивалась далее. Проза немногих комментаторов, последователей Виттхальнатха, настолько бесформенна и беспомощна, что скорее затемняет смысл оригинала, чем объясняет его. Неопределенность и бесформенность этой прозы были одной из причин того, что традиция прозы на брадже скоро заглохла и впоследствии не возобновлялась.

Еще менее удачной явилась попытка создать прозу на *khaṛī bolī,* т. е. на том диалекте, на основе которого впоследствии в XIX в. получил свое развитие современный литературный хинди. Поэт Ганг (गंग), состоявший при дворе императора Акбара, написал небольшой рассказ на прозаическом *khaṛī bolī*. Эта попытка Ганга не была поддержана последующими авторами и осталась единичным явлением.

По этой причине Шьям Сундар Дас совершенно правильно замечает,[2] что существование прозы на khaṛī bolī до XIX в. было лишь номинальным (नाम मात्र).

Причины неудачи этих ранних попыток создать прозаический язык на брадже и кхари были совершенно понятны: многочисленные авторы литературы хинди этого периода принадлежали почти исключительно к высшим кастам. Брахманы, ранее державшиеся в стороне от культивирования в литературе новоиндийских языков, в том числе и хинди, увидели в нем могучее орудие пропаганды и, начиная с XVI в., массами приходят в литературу хинди. Однако они пишут только стихами, так как прозаическим языком их был санскрит. Для брахманов, таким образом, не было нужды создавать другой прозаический язык, который в то время не мог обладать такой стандартной формой, какой обладал санскрит, и который, с другой стороны, не обладал возможностями столь широкого распространения, как санскрит в XVI—XVIII вв.

Таким образом по вопросу о прозе сами индусские ученые, по крайней мере наиболее авторитетные из них, приходят к заключению, что ранние

[1] См. F. E. Keay. A history of Hindi literarure, pp. 30, 100 etc.

[2] श्यामसुंदरदास. आधुनिक हिंदी गद्य शैली का आदि आचार्य, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ६—अंक १, संवत १६८१, p. 13.

единичные спорадические попытки писать на хинди прозой, интересные сами по себе и с точки зрения истории этого литературного языка, не имели практического значения и ни в коей мере не могли влиять на последующее оформление принципиально нового для литературы хинди литературного языка, построенного к тому же на основе диалекта, который в предшествующей литературе хинди употреблялся, как будет сказано ниже, в ничтожных размерах в качестве своеобразного стилистического приема.

Значительно сложнее обстоит дело с вопросом о диалекте *kharī bolī*.

Индусские пандиты заявляют, что с вопросом о его развитии связано много заблуждений и что история его представляется обычно совершенно неправильно. Шьям Сундар Дас многократно заявляет, напр., в своем курсе общего языкознания:[1] «इसकी व्युत्पत्ति के विषय में जो बहुत से विचार फैल रहे हैं वे भ्रमात्मक हैं», т. е.: «Весьма многие мысли о его происхождении, которые пользуются широким распространением, основаны на заблуждении». Это мнение разделяет и целый ряд других ученых.

Эту же мысль Шьям Сундар Дас повторяет в ряде своих других работ, в частности в очерке по истории языка, приложенном к большому словарю хинди «हिंदी शब्दसागर».[2] За ним следует также ряд других ученых, напр. Рамачандра Шукла в своем очерке по истории литературы хинди, приложенном к названному словарю.

Следует признать, что в вопросе о *kharī bolī* индусы правы по целому ряду пунктов.

Во-первых, среди индийских мусульман до последнего времени широким распространением пользовался взгляд, что урду возник из смешения различных языков и диалектов, носители которых стекались ко двору могульских императоров. Эта точка зрения, зафиксированная, в частности, в известном труде Мир Аммана, была воспринята и некоторыми европейскими учеными, часть которых еще и поныне считает урду чисто искусственным языком, возникшим из смешения различных диалектов и языков.

Во-вторых, в отношении образования *kharī bolī* представители этой точки зрения заявляют, что литературный хинди возник из урду путем механического исключения персидских и арабских слов и замены их словами санскритскими, чистыми tatsama или tadbhava.

В-третьих, до самого последнего времени среди самих индусов довольно широко был распространен взгляд, что современный хинди возник

[1] श्यामसुंदरदास. भाषाविज्ञान, काशी, संवत १९८९, p. 342.

[2] हिंदी भाषा का विकास, p. 38.

из браджа, причем перестройка его произошла под влиянием мусульманского языка урду. Рамачандра Шукла указывает, что такого рода мысли высказывались еще совсем недавно (в 1928 г.) самим председателем общества «Ассоциация литературы хинди» (हिंदी साहित्य सम्मेलन).

С целью показать ошибочность этих взглядов индийские ученые совершенно справедливо указывают, что kharī bolī не есть новый язык. В частности Шьям Сундар Дас говорит:[1] खड़ी बोली का प्रचार भी उसी समय से है जब से अवधी या ब्रज भाषा का है. भेद केवल इतना ही है कि ब्रज भाषा तथा अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है और खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने लगी है, т. е.: «Kharī bolī существует в употреблении с того же времени, как и языки авадхи и брадж. Различие лишь в том, что литературное творчество развивалось на языках брадж и авадхи с очень давнего времени, меж тем как литературное творчество на кхари боли началось лишь весьма недавно».

Как сам Шьям Сундар Дас, так и Рамачандра Шукла и Джаганнатх Прасад Шарма указывают, что, помимо употребления в качестве разговорного языка, кхари боли с древнейших времен просачивался в художественную литературу.

Так, Амир Кхусро (1256—1325), более известный как персидский поэт, написал ряд мелких произведений, загадок и т. д. на кхари боли. При этом не только историки языка и литературы хинди, но и историки литературы урду считают стихи Амира Кхусро более близкими к хинди, чем к урду. Так, в частности, Рам Бабу Саксена говорит[2] о стихах этого поэта: «These verses though they employ Hindi words are scanned according to Sanskrit Prosody and can scarcely be regarded as Urdu verses though Persian words are found there and here».

После Амира Кхусро элементы кхари боли спорадически наблюдаются и у позднейших поэтов, а именно: Кабира, Нанака, Даду, у Бхушана в его «Шива Бавани», в одном из стихотворений Лалит Кишори, у Сатала Кави, в прозаическом рассказе уже названного Ганга, состоявшего при дворе императора Акбара, у Джатмаля (около 1624) в его «Gora badal kī kathā» и у других авторов.

Рассмотрение произведений названных авторов показывает, что на основании кратких фрагментов, вкрапленных в произведения, написанные на других литературных диалектах, мы можем говорить о существовании

[1] भाषाविज्ञान, p. 342.

[2] Ram Babu Saksena. A History of Urdu Literature, Allahabad, 1927, p. 10.

и развитии кхари боли с XIII в. Он является здесь в качестве одного из маловажных диалектов литературы хинди, причем этот диалект в литературе хинди употребляется в весьма ограниченных размерах, и лишь в единичных случаях, как мы наблюдаем это у Амира Кхусро и у поэта Ганга, он употреблялся как самостоятельный диалект, а не в качестве особого стилистического средства, каким он является у Бхушана и ряда других авторов индусов.

Факт употребления кхари боли в литературе хинди и урду с несомненностью свидетельствует также о том, что кхари боли употреблялся также и в качестве разговорного языка. Конечно, известны весьма многочисленные случаи, когда язык, весьма часто и долгое время употребляющийся в литературе, не является разговорным языком. Кхари боли, однако, стоит в непосредственной связи с разговорным языком, так как он вкладывается, как разговорный язык, в уста различных персонажей, выступающих в различных произведениях названных выше авторов. Весьма часто он используется как стилистическое средство выделить речь мусульман.

Таким образом древность кхари боли мы можем считать доказанной. В силу этого совершенно отпадают представления о кхари боли как о языке, возникшем либо из смешения различных диалектов, либо основанном на бradже. Кхари боли является самостоятельной идиомой, возникшей на основе одного из местных диалектов. Основан ли он на одном из диалектов, употребляемых близ Дели, Агры и Мерата, как то полагают индусские ученые, или же на основе одного из диалектов панджаби, как то полагает T. Grahame Baley,[1] не входит в задачу рассмотрения настоящей краткой статьи.

Однако индусские ученые при рассмотрении взаимоотношений кхари боли, современного литературного хинди, урду и хиндустани приходят к выводам, с которыми вряд ли можно согласиться.

Так, Шьям Сундар Дас, один из крупнейших знатоков хинди, с одной стороны, говорит:[2] इस खड़ी बोली के तीन रूप वर्तमान हैं—(१) शुद्ध हिंदी—जो हिंदुओं को साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उर्दू—जिसका प्रचार विशेषकर मुसलमानों में है और जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोलचाल की भाषा है। और (३) हिन्दोस्तानी—जिस में साधारणतः हिंदी उर्दू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसे सब लोग बोलचाल में लाते है। इसमें अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है।», т. е.:

[1] T. Grahame Baley. Urdu; the Name and the Language. JRAS, 1930, April, pp. 391—400.

[2] श्यामसुंदरदास. भाषा विज्ञान, p. 342.

«Существует три формы кхари боли: 1) чистый хинди, который является литературным языком индусов и который употребляется среди индусов; 2) урду, который употребляется специально в среде мусульман и является их литературным языком, а также разговорным, употребляемым вне дома языком образованных мусульман и некоторых индусов и 3) хиндустани, в котором без различия употребляются слова обоих языков — хинди и урду — и которым пользуются все как разговорным языком. До настоящего времени литературная продукция на нем незначительна».

В приведенной цитате Шьям Сундар Дас рассматривает кхари боли как понятие более общее и в литературном прозаическом хинди, урду и хиндустани видит разные виды, разные формы языка, основанные на кхари боли.

С другой же стороны, несколько ниже в том же труде[1] Шьям Сундар Дас, следуя за пандитом Candra Gulerī, утверждает, что «उर्दू कोई भाषा नहीं है हिंदी की विभाषा है.», т. е.: «урду не есть язык, он является диалектом хинди».

Повидимому, Шьям Сундар Дас в пылу полемики, имеющей столь давние корни в отношениях между индусской и мусульманской буржуазией, поставил знак равенства между кхари боли и хинди, так как, если бы он понимал в данном случае термин «хинди» как совокупность диалектов от Бихара до Панджаба, то в этом случае он должен был бы признать, что его диалектом является не только урду, но и литературный хинди и сам кхари боли.

Каким образом примирить эти два противоречащие положения, т. е., что, во-первых, хинди и урду являются диалектами кхари боли, и во-вторых, урду есть диалект хинди, — непонятно.

Эта подмена содержания, вкладываемого в понятия хинди и кхари боли, имеет решающее значение для всего последующего хода рассуждений о первоначальном этапе развития литературного хинди не только самого Шьям Сундар Даса, но и целого ряда других авторов индусов.

Именно с этой точки зрения урду, имеющий многовековую литературную традицию, представляется названным ученым чисто искусственным диалектом (कृत्रिम विभाषा).

Индусские ученые признают, что именно мусульманам принадлежит заслуга широкого распространения кхари боли по всей северной Индии и на Декане. Они признают также тот факт, что мусульмане первые

[1] Op. cit., pp. 346—347.

использовали кхари боли в качестве основы своего литературного языка и тем самым в течение нескольких столетий культивировали кхари боли как литературную форму. По их мнению, однако, кхари боли в руках мусульман получил чисто искусственный облик. Благодаря введению большого количества иноземных — персидских и арабских — элементов, урду утратил свой национально индийский характер, тем более, что урду воспринял и ряд весьма важных элементов персидской грамматики, благодаря чему его морфология и синтаксис могут весьма сильно отдалить его от хинди, приближая его, с другой стороны, к персидскому языку. Этот факт подробно освещен в одной из моих предшествующих работ.[1]

Нельзя отрицать, что в руках мусульман кхари боли, приняв форму урду, подвергся весьма значительным изменениям, сильно удалившим его от разговорного языка. Тем не менее эти изменения были вполне естественны, поскольку эта литературная форма стала употребляться для выражения не индусской, а мусульманской культуры, круг понятий которой весьма отличен от круга понятий, свойственных индуизму. Кроме того, диалект кхари боли, модифицированный мусульманами и обращенный в урду, представляется не более искусственным, чем этот же кхари боли в руках некоторых писателей индусов, которые иногда почти совершенно изгоняют элементы tadbhava, заменяя их элементами tatsama и нагромождениями сложнейших композит, из которых некоторые состоят из десяти и больше компонентов.

Как перегруженность мусульманскими элементами, так и перегруженность санскритскими элементами, в особенности же сложными композитами, совершенно несвойственными духу кхари боли, придает ему искусственную форму. Индусы, вводя в хинди огромное количество санскритских tatsama, находят для себя оправдание в том, что санскритские элементы все же являются элементами национальными, но для индийских мусульман, живущих в этой стране в течение многих веков и воспитанных на арабской и персидской культуре, заимствования из арабского и персидского языков также представлялись и представляются «национальными» элементами.

Это положение приобретает особую значимость по той причине, что огромному большинству образованных индусов не вполне ясно понятие национальности. Во взаимоотношениях различных групп населения Индии вплоть до настоящего времени вместо принципа национальности решающее значение имеет принцип конфессиональный или кастовый. Ведь в Индии

[1] A. Barannikov. The Persian elements in the Urdu language. Изв. Акад. Наук СССР по отделению Гуманитарных Наук, 1929, № 3, стр. 181—200.

даже в настоящее время в большом ходу фразы, совершенно нелепые, если их перевести на европейские языки, вроде قوم کا مسلمان قوم کا هندو, т. е. «по национальности» мусульманин, «по национальности» индус (!).

Лишь немногие индусские ученые, особенно те из них, которые занимаются специально современной формой хинди, видят взаимоотношения урду и хинди в их надлежащей форме. Так, Kāmtāprasād Guru[1] говорит: «हिंदी और उर्दू मूल में एक ही भाषा है। उर्दू हिंदी का केवल मुसलमानी रूप है», т. е. «Хинди и урду в своей основе один и тот же язык; урду является лишь мусульманской формой хинди».

Большинство же авторов, обращаясь к начальной стадии в развитии непрерывной литературной традиции на прозаическом хинди, в частности рассматривая первое крупное произведение на этом языке «Прем Сагар» Јаллу джи Лала, находят в нем некоторые моменты, якобы оскорбляющие их «национальное» индусское самолюбие, и потому стараются доказать, что Лаллу джи Лал не может считаться родоначальником литературной традиции на прозаическом хинди.

Индусские ученые настаивают на искусственном, ублюдочном характере урду особенно потому, что, видимо, многие из них толкуют выражение Лаллу джи Лала, употребленное им в предисловии к «Прем Сагару» «यामनी भाषा छोड़... खड़ी बोली में कह»,[2] т. е. «исключив мусульманские элементы... и поведя повествование на чистом языке» (*kharī bolī*), в том смысле, что современный литературный хинди создан Лаллу джи Лалом из урду путем исключения из него мусульманских элементов.

Следует сказать, что такая упрощенческая точка зрения довольно широко распространена не только в широких кругах индианистов, но даже и среди тех, кто специально занимается хинди или урду. Об этом говорит, предостерегая от такого понимания фактов, Kellog в предисловии к своей грамматике хинди.[3]

Стремясь опровергнуть указанное выше положение, индусские ученые стараются доказать, во-первых, что кхари боли имел самостоятельное существование, совершенно независимое от мусульман и их «искусственного» языка; во-вторых, что Лаллу джи Лал, состоявший на службе у англичан, не является основоположником современного литературного хинди.

[1] कामताप्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की आज्ञा से प्रकाशक इंडियन प्रेस, प्रयाग, सं० १९८४, pp. 24—29.

[2] Lallu Lal. Prem Sagar. A new edition by E. B. Eastwick Hertford, MDCCCLI, p. 1.

[3] Kellog. Hindi Grammar.

Бесспорно, что возражения индусов против упрощенческого, чисто механистического понимания образования современного литературного хинди, образования, якобы совершившегося исключительно путем замены одних лексических элементов литературного языка другими, вполне понятны и законны.

Необходимо указать, однако, что Лаллу джи Лал в предисловии к своей книге не говорит, что он, создавая свой труд, ориентировался на урду. Он говорит, что пишет «दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में», т. е. «на чистом языке Агры и Дели». Иными словами он ориентировался на чистый разговорный язык названных городов. Если бы он имел в виду письменный урду, то ему было бы незачем называть эти два города, так как в конце XVIII и в начале XIX вв. литературная традиция на урду развивалась с большим успехом и в других городах, напр. в Лукнове.

Так как Дели и Агра, на ряду с Лукновом и другими крупными городами северной Индии, были центрами мусульманской культуры и разговорный язык этих городов испытывал весьма сильное влияние со стороны литературного урду, индусские ученые стремятся доказать, что чистый кхари боли культивировался не в мусульманской среде, и даже не в среде, подверженной мусульманскому влиянию: этим языком якобы пользовались индусы-пандиты, садху, купцы и т. д.

Такого рода утверждения, высказываемые, правда, в пылу индусского патриотизма, приводят к тому, что индусские ученые противоречат самим себе, так как им же самим приходится признать, что древнейшие образцы *kharī bolī* сохранились либо в произведениях авторов мусульман (Амир Кхусро, Кабир), либо в тех частях произведений авторов индусов, где представлены мусульмане.

Так, Шьям Сундар Дас в своем курсе общего языкознания[1] пишет «हिंदू कवियों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रायः मुसलमानों की बातचीत वे खड़ी बोली में लिखते थे», т. е.: «Поэты-индусы также пользовались этим кхари боли. Обычно разговор мусульман они передавали на кхари боли».

Равным образом Рамачандра Шукла в вышеназванном очерке развития литературы хинди[2] говорит, что с точки зрения поэтов-индусов кхари боли представлялся специально языком мусульман: «इस से भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमानी दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों

[1] श्याम सुंदरदास, भाषाविज्ञान, p. 343.

[2] रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का विकास, p. 207.

के भाषण में इस बोली का व्यवहार किया है», т. е.: «Поэтому Бхушан, Судан и другие поэты при изображении мусульманских дарбаров или в языке мусульманских персонажей (своих произведений) употребляли этот язык».

Из этих слов обоих авторов с полной очевидностью вытекает, что старые поэты-индусы видели в кхари боли специальный разговорный язык индийских мусульман; иначе никак нельзя понять, почему они применяли этот стилистический прием, т. е. заставляли мусульман, изображаемых в их произведениях, говорить на том же диалекте, которым сами мусульмане пользовались в своей литературе.

Несомненно, конечно, что кхари боли был также языком весьма значительной части образованных индусов, проживавших в центральной части северной Индии. Однако весьма важно помнить факт, отмечаемый пандитом Гулери и другими авторами, что индусы пользовались языком кхари боли только вне дома, так как разговорный язык, употреблявшийся ими дома, был в большей или меньшей мере окрашен местными диалектическими особенностями, разными в разных провинциях.

Несмотря на то, что кхари боли с весьма давнего времени употреблялся мусульманами не только как разговорный язык, но и в мусульманской поэзии, где он являлся, правда, большею частию в форме, обильно оснащенной персидскими и арабскими элементами, названные ученые индусы полностью игнорируют употребление элементов кхари боли в литературе урду, хотя у некоторых авторов литературы урду элементы санскритских tadbhava занимают весьма почетное место.

Полностью игнорируя употребление элементов кхари боли в индомусульманской литературе, индусы говорят о существовании одной лишь разговорной формы его. Очевидно, что под кхари боли они понимают исключительно такую форму его, в которой элементы tadbhava выступают в сочетании с элементами tatsama. Но при таком понимании кхари боли становится совершенно невразумительным, каким образом кхари боли может проявляться в трех формах — литературного хинди, урду и хиндустани, о чем, как отмечено выше, говорит сам Шьям Сундар Дас.

Из истории любого языка мы знаем, что при отсутствии литературного языка соответствующая разговорная форма не обладает стабильностью ни в отношении лексики, ни в отношении грамматики, так как разговорная форма всегда в сильной мере подчиняется местным, локальным влияниям. Этого ни в коем случае нельзя утверждать о разговорном кхари боли, употреблявшемся образованными кругами в разные периоды его развития. Кхари боли выступает в весьма единообразном оформлении у различных

авторов, поэтов-индусов, спорадически употреблявших его в своих поэмах, написанных на брадже. Кроме того, при отсутствии единообразия в разговорной форме, кхари боли не мог явиться в столь сходной литературной форме в самом начале XIX в. у авторов, писавших в различных частях страны, т. е. у Лаллу джи Лала, Лал Садасукха и Инша Алла Кхана.

До XIX в. единственной формой литературного языка, которая в известной мере направляла свободное развитие разговорного кхари боли и сообщала ему некоторую устойчивость и стабильность, является литературный язык индийских мусульман-урду. В этом его большая историческая заслуга, вполне рельефно выступающая для всякого, кто рассматривает данные лингвистические факты объективно, в их исторической связи.

Наше утверждение о стабилизирующей роли литературного языка мусульман-урду, сообщавшего более или менее стандартную форму разговорному кхари боли, имеет в виду только язык господствующих классов населения северной Индии и Декана. Язык ремесленников и рабочих не только в прошлом, но и в настоящее время характеризуется разнодиалектностью и весьма ясно выраженными проявлениями влияния местных, локальных диалектов, как это прекрасно показал Сунити Кумар Чатерджи в своей статье о калькуттском хиндустани.[1]

Высказанное выше признание чрезвычайно важной роли урду как литературного языка, воздействовавшего в течение нескольких веков на разговорный кхари боли, сообщавшего ему стабильность и предотвращавшего распадение кхари боли на ряд диалектов, ни в коей мере не означает утверждения, что современный литературный хинди произошел из урду. Как урду, так и литературный хинди, оба основаны на разговорном кхари боли. Различие лишь в том, что урду развился значительно раньше и в силу этого мог проявлять весьма сильное влияние на развитие разговорного кхари боли, сообщая ему большую устойчивость. Аналогичного влияния на кхари боли не могли проявлять разные формы, употреблявшиеся в литературе хинди до начала XIX в., так как любая из них основана на диалектической базе, отличной от той, на которой построен разговорный кхари боли, являющийся основой хинди и урду.

Несомненное влияние урду на образование литературного хинди доказывается также и тем, что основоположники современного хинди, т. е. Лаллу джи Лал, мунши Садал Мишра, Лал Садасукх и Инша Алла Хан, были прекрасными знатоками урду, причем первенство в этом отношении

[1] Suniti Kumar Chatterji. Calcutta Hindustani. Indian Linguistics, vol. I, p. 111.

принадлежит, конечно, Инша Алла Хану и Садасукху, из которых первый является одним из крупнейших поэтов литературы урду, второй же — автором нескольких книг на урду и на персидском языке.

Вполне понятно, что литературный язык мусульман, урду, воздействовал на оформление литературного хинди не непосредственно, а через посредство разговорного кхари боли, который у названных авторов получил свою законченную форму только благодаря их прекрасному знанию урду.

«Патриотизм» индусских ученых проявляется не только в их стремлении отрицать очевидный факт воздействия мусульманского урду на образование литературного хинди, но также и в том, что они стараются умалить роль Садал Мишра и особенно Лаллу джи Лала.

Так, хотя в предисловии к изданию «Прем Сагара» Лаллу джи Лала, выпущенному Nāgarī Pracāriṇī Sabhā, издатель, отражая широко распространенное мнение, говорит, что «ये (т. е. Лаллу джи Лал) हिंदी गद्य के आदि और उसके आधुनिक स्वरूप के प्रथम लेखक माने जाते हैं», т. е.: «Он (т. е. Лаллу джи Лал) почитается начальным автором прозы хинди и первым писателем на хинди в его современной форме».[1] Шьям Сундар Дас и другие авторы многократно отрицают эту роль Лаллу джи Лала. В своем курсе общего языковедения Шьям Сундар Дас говорит:[2] «लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं... वास्तव में उन्हों ने हिंदी गद्य का आधुनिक रूप नहीं दिया...», т. е. «Лаллу джи Лал почитается основоположником прозаического хинди. В действительности не он дал прозаическому хинди его современную форму» и т. д. То же повторяет Шьям Сундар Дас в очерке развития хинди, приложенном к словарю हिंदी शब्दसागर,[3] а за ним и ряд других авторов, в частности шри Джаганнатх Прасад Шарма.[4]

Наиболее важным из доводов этих авторов-индусов является то, что Лаллу джи Лал действовал не самостоятельно, не по своей собственной инициативе, а по директивам администрации Fort William College'а. Вторым доводом является его якобы слабое знание санскрита и якобы вытекающая отсюда недостаточная подготовленность Лаллу джи Лала для столь важного дела, как создание прозаического литературного хинди.

[1] Ср. также श्यामसुंदरदास. हिंदी गद्य के आदि आचार्य, न° प्र°, प°, नवीन संस्करण, भाग ६, अंक १, १९८१, p. 19.

[2] भाषाविज्ञान, p. 348—349.

[3] हिंदी भाषा का विकास, p. 41.

[4] श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा. हिंदी गद्य शैली का विकास, न° प्र° प°, नवीन संस्करण, भाग ११ — अंक ३, १९८७, p. 198.

Индусы-ученые указывают, что кроме Лаллу джи Лала и Садал Мишра создателями литературного хинди должно считать также мунши Садасукх Лала и Саида Инша Алла Хана. Деятельности этих авторов придается тем большее значение, что оба названные автора действовали не по директивам администрации колледжа в Форте Вильяма, а по собственному почину. По словам индусов этот факт имеет весьма важное принципиальное значение, так как свидетельствует о том, что потребность в прозаическом литературном языке была осознана в самом индийском обществе и даже были сделаны самостоятельные, независимые от англичан, попытки удовлетворить эту потребность.

Мунши Садасукх Лал был родом из Дели, он родился в 1746 г. и умер в 1825 г. В течение долгого времени он состоял на службе у East India Company. Он был прекрасным знатоком урду и персидского языка и написал ряд произведений на этих языках. Садасукх Лал сделал также прозаический перевод Bhāgavat'а на хинди и дал ему название Сукхсагар сукхсагар). Кроме того, Садасукх написал также несколько статей на прозаическом хинди, из которых одна даже была напечатана.[1]

Рамачандра Шукла подчеркивает, что Садасукх писал на прозаическом хинди не по директиве того или другого чиновника Ост-Индской компании и не по какому-нибудь данному образцу, а по собственному почину. Из этого следует, что Садасукх писал на разговорном языке образованных индусов: «जो शिष्ट भाषा चारों ओर... प्रचलित पाई उसी में रचना की... मुंशीजीने हिंदूओं के शिष्ट बोल चाल की भाषा ग्रहण की»,[2] т. е. «Он писал на том языке образованных кругов, который был в употреблении всюду. Мунши воспринял разговорный язык образованных индусов».

Нельзя сомневаться в том, что потребность в прозаическом языке назрела в конце XVIII в. среди индусов северной Индии. К этому времени в Индии уже успела образоваться индусская торговая буржуазия, которая действовала в тесном контакте с англичанами, являясь либо их посредниками, либо агентами в их торговой и административной деятельности в Индии. Интересы этого класса лежали в современности, и старый прозаический язык феодальной Индии был мало пригоден для их сношений, так как он был абсолютно непонятен широким слоям населения и не обладал лексикой, связанной с современностью.

[1] श्यामसुंदरदास आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य, p. 18.

[2] रामचंद्र शुक्ल. हिंदी साहित्य का विकास, p. 210—211.

Однако индусам, как будет отмечено далее, непонятна идея прозаического литературного языка, близкого к разговорному. Это прослеживается не только на всем протяжении развития литературной традиции в Индии, но наблюдается и в настоящее время, когда на наших глазах литературные языки все больше и больше отрываются, за немногими исключениями, вроде панджабского языка, от своих разговорных форм. Индусские ученые рядом убедительных с их точки зрения аргументов доказывают, что литературный язык должен в сильной мере отличаться от разговорного языка, даже от разговорного языка образованных классов.

При таком положении вещей даже в настоящее время, трудно предположить, чтобы индусы по собственной инициативе отказались от столь широко распространенного литературного языка, каким был в то время брадж, на котором к тому времени создалась обширная поэзия, и чтобы они обратились к новому диалекту для создания прозаического языка. Ведь даже в настоящее время ведущие в области языка круги индусов считают невозможным перейти в литературе на ту форму кхари боли, которая является наиболее близкой к разговорному языку, т. е. на литературный хиндустани.

Можно сомневаться в большой близости языка Садасукха к разговорному языку его времени. Особенное сомнение вызывает его лексика, так как он в весьма широких размерах пользуется санскритскими tatsama, чего, конечно, не могло быть в разговорном языке. Несомненно, однако, что он в процессе создания литературного прозаического языка шел по тому же пути, по которому идет большинство деятелей современной литературы хинди, в огромных размерах пользующихся санскритскими tatsama.

Так как Садасукх закончил свой труд несколько раньше, чем другие деятели начального периода литературы хинди, то его деятельности в этом направлении придается особенно большое значение.

Саид Инша Алла Хан (умер в 1817 г.) был крупнейшим поэтом литературы урду. Он состоял придворным поэтом сначала в Дели, потом в Лукнове и наконец в Муршидабаде при дворе бенгальского нababa. Желая доказать своим друзьям, что можно писать на чистом разговорном языке, Инша Алла Хан написал рассказ رانی کیتکی کی کہانی (Rānī ketkī kī kahānī), в котором пользовался лексикой и стилистическими оборотами одного лишь разговорного языка образованных кругов своего времени, избегая как вульгаризации, так и вычурности, характерной для литературного урду его эпохи. Самостоятельность темы Инша Алла Хана, простота,

изящество и образность его языка, насыщенного оборотами повседневного употребления, заставляют историков литературы хинди признать за Инша Алла Ханом первенство в отношении мастерского владения новым прозаическим стилем литературного хинди. Эти историки обычно все же отмечают, что в его лексике, особенно же в синтаксисе, в сильной мере сказывается влияние языка урду.

Третьим из основоположников современного литературного хинди индусские авторы считают пандита Садала Мишра. Как и Маллу джи Лал, он состоял на службе у East India Company в качестве преподавателя в Fort William Colleg'e. В 1803 г. он перевел на хинди повесть नासिकेतोपाख्यान («Nāsiketopākhyān»).

Хотя, по мнению индусских ученых, язык пандита Садала Мишра значительно лучше, чем язык Лаллу джи Лала, однако и его язык страдает рядом недостатков, из которых наиболее важными являются следующие: a) употребление форм восточного хинди, вроде फूलन्ह, चङ्गदिस, सुनि и т. д., b) постановка связки перед причастиями в сложных глагольных формах, напр.: उत्तम गति को हैं पहुंचते, c) опускание связки, напр.: कन्या सब गातीं, d) неустойчивость орфографии, напр. написания कदही и कधी и некоторые другие. При всех своих мелких недостатках, язык пандита Садал Мишра признается лучшим, чем язык Лаллу джи Лала.

Особенно резкой критике подвергается Лаллу джи Лал и его язык.

Так, Джаганнатх Прасад Шарма указывает,[1] что труд Лаллу джи Лала значительно уступает указанным трудам Садасукха и Инша Алла Хана, так как Лаллу джи Лал, во-первых, действовал не по собственному почину, а лишь следовал директивам англичан, состоя в качестве преподавателя на службе в Fort William Colleg'e. Во-вторых, его «Прем Сагар», законченный в 1803 г. одновременно с «Nāsiketopākhyān» Садала Мишра и «Rānī Ketkī kī Kahānī» Инша Алла Хана, не является оригинальным произведением, а лишь переработкой труда Чатурбхудж Мишра.

Язык Лаллу джи Лала, по мнению названного автора, страдает рядом недостатков, главнейшие из которых следующие: a) нет строгой выдержанности в грамматике; b) санскритские tatsama употребляются в значительном количестве, но написания их весьма часто отличны от принятой исторической орфографии; c) равным образом не всегда выдержана орфография слов tadbhava; d) Лаллу джи Лал совершенно изгнал из своей лексики персидские и арабские элементы, несомненно, прочно вошедшие в хинди,

[1] श्रीजगन्नाथ प्रसाद शर्मा. हिंदी की गद्य शैली का विकास, p. 197.

и, наоборот, e) он в широких размерах пользуется браджем и f) ввел в свой «Прем Сагар» значительное количество стихов на этом языке; g) помимо стихов на брадже Даллу джи Лал иногда пользуется рифмой и в некоторых других частях своих произведений.

На основании указанных фактов язык Даллу джи Лала, хотя и не лишенный, по мнению современных пандитов, некоторых достоинств, не может считаться образцом литературного хинди. В силу этого Даллу джи Лал не может считаться основоположником прозаического хинди.

Из четырех авторов, писавших в начале XIX в. на прозаическом хинди, по мнению Рамачандра Шукла[1] наилучшим должно признать язык Садасукх Лала, потому он должен считаться основоположником современного литературного прозаического хинди. В этом отношении с Рамачандра Шукла согласен и шри Джаганнатх Прасад Шарма.[2]

С точки зрения чистоты и правильности литературного языка Шьям Сундар Дас располагает[3] остальных трех авторов в такой последовательности: «पहला स्थान इनशा उल्ला खाँ, दूसरा सदल मिश्र श्रौर तीसरा लल्लूजी लाल को मिलना चाहिये», т. е.: «Первое место должен занять Инша Улла Хан, второе Садал Мишра и третье Даллу джи Лал».

Таким образом Даллу джи Лал, который в европейской литературе почитается основоположником современного прозаического хинди, с точки зрения индусских пандитов занимает самое последнее место или даже совершенно исключается из числа основоположников прозы хинди.

Для того чтобы разобраться в причинах столь различных выводов у европейских авторов, с одной стороны, и у индусов — с другой, необходимо остановиться на аргументах, которыми пользуются ученые-индусы, и на их критерии образцового литературного языка.

Авторы-индусы считают важным недостатком языка Даллу джи Лала то, что в его грамматике нет стабильности и стандартности; у него для одной и той же формы имеется несколько вариантов. Так, напр., для выражения абсолютива употребляются формы вроде करि, करिके, बुलाय, बुलाय करि, बुलायकर, बुलायकरि के и т. д. Кроме того, в язык Даллу джи Лала вторгаются некоторые формы диалекта брадж, вроде भई, которому в современном литературном языке соответствует हुई; सोई, निरख, लीजै, и др.

[1] रामचंद्रशुक्ल. हिंदी साहित्य का विकास, p. 214.
[2] श्रीजगन्नाथ प्रसाद शर्मा. हिंदी की गद्यशैली का विकास, p. 195.
[3] श्याम सुंदर दास. श्राधुनिक हिंदीगद्य के श्रादि श्राचार्य, p. 33.

Но, во-первых, отклонения от норм современного литературного языка встречаются у всех четырех авторов. У Садасукх Лала наблюдаются формы вроде आवता, जावता и т. д. को вместо कोई и т. д. У Инша Алла Хана формы вроде आतियां, जातियां и т. д., у Садал Мишра отмеченные выше формы вроде फूलन्ह и т. д. Таким образом этот недостаток наблюдается у всех названных авторов. Да вряд ли эти отклонения можно считать недостатками. Повидимому, разговорный язык XVIII в. обладал бо́льшим количеством форм, чем современный литературный язык, разные авторы вносили в свои произведения разные варианты этих форм. Лишь последующее развитие литературного языка приводит к известной стандартности.

Во-вторых, литературный хинди даже в настоящее время не обладает большой стандартностью, свойственной, напр., важнейшим из современных европейских языков. Не говоря уже о его лексике, где наблюдаются огромные расхождения у разных авторов, имеется также ряд грамматических форм, выражаемых разными средствами. Для примера можно взять хотя бы формы абсолютива, который приводится названными авторами. В любой грамматике для этой формы дается несколько вариантов, напр.: बोल, बोलकर, बोलके, बोलकरके, или формы конъюнктива: जाये, जाय, जाए, जावे, или формы причастия прошедшего времени вроде: दिये и दिए, и т. д. Несомненно, дальнейшее развитие литературного хинди приведет к исчезновению некоторых из этих вариантов, но в настоящее время каждая из этих форм является вполне нормальной и совершенно свободно употребляется в литературном языке. Относительно форм абсолютива мы можем только сказать, что употребление форм его, равных основе, постепенно ограничивается, и, наоборот, наиболее обычной является форма с окончанием कर, которая в дальнейшем, повидимому, вытеснит все остальные.

Употребление диалекта брадж, а также употребление стихов на этом диалекте ни в коей мере не может считаться недостатком языка Лаллу джи Лала. Употребление стихов на брадже есть своеобразный композиционный прием, которым Лаллу джи Лал пользуется в своем «Прем-Сагаре». Эпическое повествование у него ведется на прозаическом кхари боли, а моменты высокого лирического напряжения передаются на лирическом языке, каким издавна и до последнего времени считался в литературе хинди диалект брадж. Оба эти диалекта не смешиваются друг с другом.

Пользование разными диалектами и даже разными языками, как композиционный прием, известно в индийской литературной традиции с давнего времени. Классический пример этого рода мы наблюдаем в санскритской

классической драме, где брахманы, цари, воины и боги говорят на санскрите, женщины высокого ранга говорят на пракрите шаврасени, а поют на пракрите махараштри, меж тем как представители низших каст говорят на разных диалектах магадхи.

Несомненно, аналогичным композиционным приемом пользуется и Лаллу джи Лал в своем «Прем Сагаре». Напр.:

ऐसे कड़ी कड़ी बातें सुनाय सोच संकोच छोड़ हरि का रथ पकड़ आपस में कहने लगीं, मथुरा की नारियां अति चंचल चतुर रूप गुन भरी हैं उनसे प्रीति कर गुन औ रस के बस हो वहां हों रहेंगे बिहारी! तब काहे को करेंगे सुरत हमारी? उन्हीं के बड़े भाग हैं जो प्रीतिम सग रहेंगी. हमारे जप तप करने में एसी क्या चूक पड़ी थी जिस से श्री कृष्णाचंद विछड़ते हैं? यों आपस में कह फिर हरि से कहने लगीं कि तुम्हारा तो नाम है गोपीनाथ, किस लिये नहीं ले चलते हमें अपने साथ?।

तुम बिन छिन छिन कैसे कटै,   पलक ओट भये छाती फटै.
हित लगाय क्यों करत विछोह   पिठुर निर्दई धरत न मोह.
ऐसे तहां जपैं सुंदरी,   सोचैं दुख समुद्र में परी.

«Такие вот жестокие слова пастушки говорили... Забыв рассудок свой и стыд, они все ухватилися за колесницу Хари и так друг другу говорили: „Матхурские боярыни легко доступны, в любви искусны и прекрасны. Ты их полюбишь, их красоте и чарам подчинишься, и там останешься, Бихари! Тогда зачем тебе о нас и вспоминать? Как счастливы они, что будут жить с любимым! Чем провинились мы, когда творили подвиги свои, моленья? За что шри Кришначандра покидает нас?“ Так меж собою говорили все пастушки, потом вновь обратились к Хари: „Тебя зовут ведь все владыкою пастушек, Гопинатхом, так почему ж с собою не возьмешь ты нас, пастушек?

Как проживем хоть миг мы, без тебя, о друг?
Едва сомкнутся веки, разорвется грудь.
Любовью осыпал нас, что ж даришь разлуку?
Нет жалости в тебе к нам, утопил нас в муке!“
Так говорят пастушки в страшном тяжком горе,
Печальные все тонут в море страшной скорби».

Как видно из представленного отрывка, мы наблюдаем здесь два литературных диалекта. Прозаическая часть его написана на кхари боли, новом в литературе хинди диалекте, меж тем как стихотворная часть его,

в которой выражается большая лирическая напряженность, что отмечается самим стихом, дается на брадже, диалекте, который издавна считается специальным языком лирики.

Каждый из этих диалектов имеет свои специальные функции и свою сферу применения. Элементы диалекта брадж обычно не выходят за рамки стиха. Лишь единичные формы браджа весьма редко употребляются и в прозе, что, повидимому, объясняется тем, что эти формы были свойственны и разговорному языку конца XVIII в.

Большим недостатком языка Лаллу джи Лала ученые индусы считают то, что употребляемые им санскритские tatsama даются в написаниях, отличных от орфографических, т. е. тот факт, что Лаллу джи Лал не придерживается принятой в настоящее время исторической орфографии.

Но, во-первых, Лаллу джи Лал, стараясь писать на языке, возможно более близком к разговорному, несомненно писал санскритские tatsama так, как они произносились в его эпоху. Таким образом это является недостатком орфографии, к тому же недостатком, который осознается таковым с точки зрения принципа, положенного в основу современной орфографии. Этого рода отклонения Лаллу джи Лала от современных норм ни в коем случае нельзя считать недостатками языка как такового.

Вопросы орфографии в хинди весьма сложны, и Лаллу джи Лал, создавая новую литературную форму, разрешал их так, как ему представлялось более правильным. К тому же исторический принцип орфографии в языке хинди явление новое. Вся предшествующая Лаллу джи Лалу литературная традиция на разных литературных языках создавалась авторами, которые либо не придерживались никакой орфографии, либо следовали фонетическому принципу, ориентируясь на свои произносительные нормы, часто весьма неустойчивые.

Во-вторых, орфография и в настоящее время весьма слабое место литературного хинди и подлежит дальнейшему совершенствованию. Не только в XIX в., но и в самые последние годы на страницах индийской прессы обсуждаются различные принципы реформы шрифта деванагари и реформы орфографии.[1] Уже один этот факт свидетельствует о том, что принцип, положенный в основу современной орфографии, исходя из которого индусские ученые относятся отрицательно к орфографии, применяемой Лаллу джи Лалом, не пользуется всеобщим принципиальным признанием

[1] Можно упомянуть хотя бы проект реформы деванагари и орфографии, обсуждавшийся в 1933 г. на страницах бенаресской газеты *Āj*, или проект, обсуждающийся в настоящее время в журнале *Sarasvatī*.

и будет так или иначе изменен. В случае принятия одного из обсуждающихся проектов, а нужно сказать, что некоторые из них уже проводятся в жизнь, как то мы видим в статьях на хинди, публикуемых в настоящее время, напр., на страницах маратской газеты केसरी (*Kesarī*), — естественно, орфография почти всех современных авторов литературы хинди окажется устаревшей, но из этого вовсе не следует, что вследствие этого устаревшим окажется и язык этих авторов.

На основании отклонений от орфографии санскритских tatsama ряд авторов утверждают, что Лаллу джи Лал слабо знал санскрит, либо совсем не знал его.[1] Такой вывод является несколько неожиданным. Наблюдения же над языком «Прем Сагара» и других произведений Лаллу джи Лала вряд ли позволяют сделать такое заключение. Тем более из этого факта нельзя выводить заключения, что Лаллу джи Лал не был подготовлен, как то утверждают некоторые авторы, к большой роли основоположника нового литературного языка.[2] Шьям Сундар Дас, также считающий Лаллу джи Лала мало подготовленным для своей роли, приводит все же следующее мнение других ученых, не разделяющих его точки зрения:[3] «कुछ लोगों का यह कहना है कि यदि ये आजकल होते तो कदापि इतना यश के भागी न होते. पर यह तो न्यूटन आदि जगत्प्रसिध्द विद्वानों के लिये भी कहा जा सकता है», т. е.: «Некоторые говорят, что если бы он (т. е. Лаллу джи Лал) жил в настоящее время, то никогда бы не достиг такой славы. Но это же можно сказать и относительно Ньютона и других ученых, пользующихся мировой известностью».

Кроме того, историческая роль того или иного деятеля вовсе не определяется одной лишь степенью полученного им образования, тем более образования в той области, которая не относится непосредственно к области его деятельности. Несомненно, в конце XVIII и в начале XIX в. было много ученых пандитов, знавших санскрит, а может быть, и хинди значительно лучше, чем их знал Лаллу джи Лал, и тем не менее они не участвовали в том большом деле, которое сделал Лаллу джи Лал.

Индийские ученые, исходя из чисто абстрактного факта чистоты и «большей правильности» языка, причем принцип чистоты языка устанавливается исходя из норм современного языка, считают, что Лаллу джи Лал не может почитаться основоположником современного литературного

[1] रामचंद्रशुक्ल. हिंदी साहित्य का विकास, pp. 212—213.

[2] श्याम सुंदर दास. आधुनिक हिंदी गद्य के आचार्य, pp. 18—21.

[3] Op. cit., p. 30.

хинди, каковую роль нужно признать за мунши Садасукхом и Саидом Инша Алла Ханом и в несколько меньшей мере за Садал Мишром.

К такому выводу можно притти лишь в том случае, если совершенно абстрагироваться от известных исторических фактов, сообщаемых самими этими же учеными. Известно ведь, что повесть Садал Мишра «Nāsiketopākhyān» скоро была забыта и не переиздавалась. Сам Шьям Сундар Дас говорит,[1] что собрание статей Садасукха даже не было опубликовано, а рассказ Саида Инша Алла Хана был опубликован впервые только раджой Шив Прасадом, через несколько десятков лет после его написания.

Между тем «Прем Сагар» Лаллу джи Лала издавался много раз, и его популярность с каждым годом все возрастала и возрастала. Совершенно понятно, что воздействовать на последующее оформление литературного языка могут лишь те произведения, которые распространяются и читаются, а не те, которые лежат в рукописях, или забыты вскоре после их выхода в свет.

Таким образом из всех названных произведений четырех авторов, которые индийскими учеными считаются основоположниками современного литературного хинди, «Прем Сагар» Лаллу джи Лала является наиболее важным произведением, сыгравшим почетную историческую роль. Благодаря его большой популярности в сильной мере распространилась идея прозаического литературного языка; именно на этом произведении учились прозаическому языку многочисленные авторы последующего этапа в развитии литературы хинди.

Местные индийские ученые пытаются умалить значение Лаллу джи Лала и Садал Мишра указанием на то, что оба эти автора состояли на службе в Fort William College и действовали по директивам администрации колледжа. Для местных националистов это положение названных авторов представляется тем более одиозным, что, как то указано в начале статьи, в английской и вообще в европейской лингвистической литературе был широко распространен взгляд, что прозаический хинди есть язык, изобретенный англичанами. Хотя это утверждение в настоящее время не пользуется признанием индологов, знакомых с историческими фактами, однако индусы справедливо усматривают в таких утверждениях оскорбление своего национального достоинства и в стремлении опровергнуть это утверждение отрицают и историческую роль тех деятелей-индусов, которые действовали в контакте с англичанами над созданием литературного хинди.

[1] Op. cit., p. 32.

Индийские ученые указывают, что пандит Садасукх и саид Инша Алла Хан не состояли на службе в названном колледже и таким образом действовали самостоятельно, по собственному почину. Но, во-первых, пандит Садасукх также состоял на службе у East India Company, хотя и не в качестве преподавателя колледжа; во-вторых, тот факт, что оба названных автора приступили к созданию своих прозаических произведений на хинди лишь тогда, когда над этой же задачей уже работали Лаллу джи Лал и Садал Мишра, с несомненностью свидетельствует о том, что они взялись за это дело тоже не без влияния европейцев, принесших в Индию новую для нее в это время идею литературного языка, близкого к разговорному.

Особенно важно отметить факт, что, меж тем как для Садасукха и Саида Инша Алла Хана обращение к творчеству на прозаическом хинди было более или менее случайным, Лаллу джи Лал посвятил этому делу всю свою жизнь, как то видно из немногих известных нам фактов его биографии.

Как то указывает сам Лаллу джи Лал, он был гуджаратским брахманом и первоначально проживал в Агре или, точнее, в небольшом селении близ Агры. Его имя было Лаллу Лал (लल्लूलाल), Лал Чанд (लालचंद) или Лаллу джи (लल्लूजी), но в своих литературных произведениях он пользовался псевдонимом Лал-Кави (लालकवि). Лаллу джи Лал родился в 1753 г. (точнее, samvat, 1820) и при жизни отца изучил санскрит, персидский язык и брадж. По смерти отца он в 1786 г. в поисках средств существования отправился в Муршидабад, где и поступил на службу к навабу Мубарак уд Даула. В 1793 г. Лаллу джи Лал оставляет службу при дворе наваба и отправляется в Калькутту.

После службы при различных других дворах Лаллу джи Лал поступает в качестве преподавателя хинди в Fort William College, который был открыт англичанами для обучения английских чиновников, желающих изучать местные языки. В обязанности преподавателей этого колледжа входило также и составление текстов, по которым велось обучение. Таким образом Лаллу джи Лал приступил к созданию своих первых произведений ex officio, в силу необходимости дать материал для чтения своим ученикам.

Лаллу джи Лал состоял преподавателем калькуттского колледжа в течение почти двадцати пяти лет. В середине этого периода он открыл свою собственную типографию под названием «Sanskrit Press» и занялся издательской деятельностью. Его издания имели успех и расходились по всей Индии. Помимо классиков древне-индийской литературы, Лаллу джи

Лал много печатал на хинди, в частности издавал свой произведения. Эти издания даже в настоящее время считаются лучшими. Лаллу джи Лал является, таким образом, одним из первых индусов, занявшихся издательской деятельностью.

Литературная продукция Лаллу джи Лала довольно значительна по числу его произведений. Он писал на трех литературных языках, а именно: на урду, брадже и хинди. Важнейшими из его произведений являются следующие:[1]

1. सिंहासन बत्तीसी (на хинди),
2. बैताल पचीसी (на урду),
3. शकुंतला नाटक (на хинди),
4. माधोनल (на брадже),
5. माधव विलास (на брадже),
6. सभाविलास (сборник стихов на различных языках),
7. प्रेमसागर (на хинди),
8. राजनीति (на брадже),
9. भाषा-कायदा (грамматика хинди),
10. लतायफ हिंदी (сборник рассказов на урду, хинди и брадже),
11. लाल चंद्रिका (на хинди).

Из всех названных произведений наибольшее значение имеют труды Лаллу джи Лала на хинди. Их историческое значение определяется не их числом, а тем фактом, что это были первые печатные произведения хинди, созданные на новом прозаическом литературном языке. Тот факт, что Лаллу джи Лал отдал почти весь творческий период своей жизни созданию произведений на этом языке и сделался одним из первых пионеров печатного дела в Индии, свидетельствует о том, что Лаллу джи Лал сознавал огромное значение начинаемого им дела. Уже один этот факт свидетельствует о том, насколько неправы те из индийских ученых, которые пытаются умалить историческое значение Лаллу джи Лала. Меж тем как Садасукх и Саид Инша Алла Хан написали по одному произведению, которые остались в рукописи, Лаллу джи Лал посвящает литературной деятельности на хинди всю жизнь, сам занимается издательской деятельностью, и некоторые из его произведений на хинди завоевывают широкую популярность, которую не утратили и до сих пор.

[1] श्याम संदरदास. आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य, стр. 23.

Наиболее важным из произведений Лаллу джи Лала является «Прем Сагар». Именно это произведение выдержало несколько изданий еще при жизни Лаллу джи Лала и продолжает издаваться в разных частях северной Индии вплоть до наших дней.

Не являясь вполне оригинальным произведением, а лишь творческой обработкой одной из версий легенд о Кришне, вошедших в «Бхагавату Пурану», это произведение, благодаря стройности композиции, простоте и изяществу языка, стало книгой, читаемой самыми широкими кругами грамотного населения северной Индии.

Для того чтобы разобраться в сущности тех высказываний, которые исходят от индийских ученых в отношении языка Лаллу джи Лала, главным образом же относительно языка «Прем Сагара», необходимо вкратце остановиться на языке этого произведения.

Прежде всего относительно орфографии «Прем Сагара».

Должно сказать, что только европейские издания этого произведения и немногие научные индийские издания его сохраняют орфографию автора. В силу господствующего в Индии пренебрежения к вопросу об идентичности орфографии позднейших изданий с орфографией оригинала, большинство популярных и даже quasi-научных изданий «Прем Сагара» дают его текст в современной исторической орфографии. Так поступает большинство издателей не только с текстом «Прем Сагара», но и с произведениями, значительно более древними, с произведениями XVI, XV и более ранних веков.

По этой причине для суждения об орфографии «Прем Сагара» даются параллельно написания из старого Hertford'ского издания E. B. Eastwick'a (что будет обозначено литерой H, где сохраняется орфография оригинала) и из изданий бомбейского (B) и аллахабадского (P — Prayāg — Аллахабад).

Необходимо указать, что, за немногими исключениями, отклонения от современной орфографии у Лаллу джи Лала как в «Прем Сагаре», так и в других его произведениях наблюдаются исключительно в санскритских словах.

Отмечаемые здесь отклонения взяты только из прозаической части «Прем Сагара». Орфография его стихотворных частей, написанных на брадже, не привлекается к рассмотрению, так как она имеет свою особую традицию.

Главнейшие отклонения от современной исторической орфографии литературного хинди, характерные для «Прем Сагара», следующие.

1. Орфографическому ऋ (*ṛ*) в «Прем Сагаре» соответствует इ *i* и इर *ir*: शृङ्गार P_8, B_8 *çṛŋgār*[1] — सिंगार H_6 *siŋgār* 'убор, наряд'; पृथवी P_1 B_2 *pṛthvī* — पिरथी H_3 *pirthī* 'земля'.

2. Орфографическому ऋ (*ṛ*), стоящему перед конечным немым в хинди согласным, в «Прем Сагаре» соответствует ई — *ī*: शृङ्ग P_{28} B_{21} *çṛŋg* — सींग H_{26} *sīŋg* 'рог'.

3. Орфографическому ऋ (*ṛ*) в «Прем Сагаре» в единичных случаях соответствует ए *e*: गृह P_{17} *gṛha* — गेह H_{12} *geh* 'дом'.

Примечание. В единичных случаях в «Прем Сагаре» сохраняется ऋ *ṛ*, что является, возможно, опечатками: पृथु P_6 B_6 *pṛthu* — पृथिकु H_5 *pṛthiku*, nom. prop. ('широкий').

4. Орфографическому औ *au*, ै соответствует в «Прем Сагаре» ओ *o*, ए *e* यौवन P_7 *yauvana* जोबन H_6 *joban* 'юность', वैश्या P_2 *vaiçyā* बेश्या H_2 *beçyā* 'проститутка'.

5. Орфографическому अव *ava* соответствует в «Прем Сагаре» औ *au*: अवतार B_{18} P_{19} *avatār*, औतार H_{18} *autār* 'аватара, воплощение'; अवसार P_2 *avasār*, औसार H_3 *ausār* 'случай, возможность'.

6. Орфографическому अय *aya* соответствует в «Прем Сагаре» ऐ *ai*: नयन P_2 *nayan* नैन H_3 *nain* 'глаз'; कमलनयन P_{18}, B_{17} *kamalnayan* कंवलनैन H_{13} *kaṁvalnain* 'лотосоглазый'; समय P_2 B_2 *samay*, समै H_3 *samai* 'время'; उदय P_5 B_5 *uday* उदै *udai* 'восход'.

7. Орфографическому स्व *sva* соответствует в «Прем Сагаре» सु *su*: स्वभाव P_2 *svabhāv*, सुभाव *subhāv*.

8. Орфографическому उव *uva* соответствует в «Прем Сагаре» ओ *o*; सुवर्ण P_2 *suvarṇa*, सोना H_3 *sonā* 'золото'.

9. Орфографическое конечное इ *i* в «Прем Сагаре» исчезает (нуль окончания): उपाधि P_9 *upādhi* उपाध H_7 *upādh* 'насилие'; सुधि P_{11} *sudhi*, सुध H_8 *sudh* 'память, воспоминание'; रीति P_{19} *rīti* रीत H_{18} *rīt* 'способ, манера'; ध्वनि P_{18} *dhvani* धनु, H_{12} *dhun* 'звук'.

10. На месте орфографических (санскритских) групп согласных, если они не упрощены ассимиляцией, последовательно наблюдается svarabhakti (полногласие):

वर्ण *varṇa*	बरन H_8 *baran* 'окраска, цвет, каста';
हर्ष P_6 *harṣa*	हरष H_5 *haraṣ* 'радость';
दर्शन P_{18}, B_{17} *darçan*	दरशन H_3 *daraçan* 'видение';

[1] Цифры после литер, указывающие на соответствующее издание, обозначают страницы соответствующих изданий — хертфордского, аллахабадского и бомбейского.

मूर्ख P_{18} *mūrkh*	मूरख H_9 *mūrakh* 'глупец, дурак';
धीर्य्य P_8 *dhīryya*	धीरज H_6 *dhīraj* 'твердость, мужество';
रत्न P_{17} *ratna*	रतन H_{13} *ratan* 'сокровище';
यत्न *yatna*	जतन H_{10} *jatan* 'усилие, старание';
मग्न P_{27} *magna*	मगन H_{19} *magan* 'потонувший'.

11. Орфографическая висарга (:) в «Прем Сагаре» обычно исчезает:

दुःख *duḥkh*	दुख H_2 *dukh* 'страдание, боль'.

12. Орфографическому व *v* соответствует в «Прем Сагаре» ब *b*:

वनवास *vanavāsa*	बनबास H_5 *banbās*;
वैष्णव P_6 *vaiṣṇav*	बैष्णव H_{15} *baiṣnav* 'вишнуит';
वाणी *vāṇī*	बानी H_5 *bānī* 'голос, речь';
वेग P_{11} *veg*	बेग H_7 *beg* 'быстрота, скорость';
वंश P_9 *vança*	बंस H_7 *bans* 'род, семья';
विदा P_{23} *vidā*	बिदा *bidā* 'разлука';
विचार B_5 *vicār*	बिचार H_4 *bicār* 'мысль';
उपवन P_{18} *upavan*	उपबन H_{18} *upaban* 'роща';
पतिव्रता P_7 *pativratā*	पतिब्रता H_6 *patibratā* 'преданная супругу' (жена);
संवत P_{23} *sāṁvat*	संबत H_{16} *saṁbat* 'год';
गर्व *garva*	गर्ब H_8 *garba* 'гордость'.

13. Орфографическому श *ç* соответствует в «Прем Сагаре» स *s*:

अशीश P_{23} *açīç*	असीस H_{16} *asīs* 'благословение';
शौच P_2 *çauc*	सोच H_2 *soc* 'чистота';
शरण P_2 B_2 *çaraṇ*	सरण H_3 *saran* 'защита, покровительство';
आशा P_5 *āçā*	आस H_5 *ās* 'надежда';
दश P_6 *daç*	दस H_5 *das* 'десять';
शील P_7 *çīl*	सील H_6 *sīl* 'характер, добрый нрав';
यदुवंशी P_{15} *yaduvançī*	यदुबंसी H_{11} *yadubansī* 'принадлежащий к роду Яду';
नाश P_{15} *nāç*	नास H_{11} *nās* 'гибель';
श्वान P_{17} *çvān*	स्वान H_2 *svān* 'собака';
दशा P_{77} *daçā*	दसा H_{12} *dasā* 'положение, состояние';
शकत P_{27} *çakat*	सकत H_9 *sakat* 'телега'.

14. Орфографическому श्र *çr* соответствует в «Прем Сагаре» स *s*:

श्रावण P_{16} *çrāvaṇ*	सावन H_{11} *sāvan* 'месяц шраван'.

15. Орфографическому य *y* соответствует в «Прем Сагаре» ज *j*:

यश P_6 B_6 *yaç* — जस H_6 *jas* 'слава, известность';
योधा P_{10} *yodhā* — जोधा H_7 *jodhā* 'воин, воитель';
यशोदा P *yaçodā* — जसोदा H *jasodā* 'Яшода';
योगी P_{22} *yogī* — जोगी H_{15} *jogī* 'йог';
अपयश P_{17} *apayaç* — अपजस H_{12} *apajas* 'бесславие, позор';
यति B_{21} *yatī* — जति H_{15} *jatī* 'отшельник, аскет'.

16. Орфографическому र्य *ry* соответствует в «Прем Сагаре» ज либо *aj*:

कार्य P_4 *kārya* — काज H_4 *kāj* 'действие, дело';
कार्य P_4 — कारज *kāraj* 'действие'.

17. Орфографическому त्य *ty* соответствует в «Прем Сагаре» त *t*:
skt. त्यज *tyaj* 'оставлять', — तजना H_7 *tajnā* 'оставлять, покидать'.

18. Орфографическому द्र *dr* соответствует в «Прем Сагаре» द् *d*:
चंद्रमुख P_{18} *candramukha* — चंद्मुख H_8 *caṅdamukh* 'лунноликий'.

19. Орфографическому क्ष *kṣ* соответствует в «Прем Сагаре» छ् *ch*:
पक्षी P_{18} *pakṣī* — पछी H_{18} *pachī* 'птица'.

20. Орфографическому थ्व *thv* соответствует в «Прем Сагаре» थ *th*:
पृथ्वी *pṛtvī* — पिरथी H_8 *pirthī* 'земля'.

21. Орфографическому स्व *sva* соответствует в «Прем Сагаре» स *sa*:
स्वप्न P_{16} *svapna* — सपना H_{12} *sapnā* 'сон'.

22. Орфографическому ण *ṇ* весьма часто соответствует в «Прем Сагаре» न *n*:

श्रावण P_{16} *çrāvaṇ* — सावन H_{11} *sāvan* 'месяц шраван';
वाणी *vāṇī* — बानी H_5 *banī* H_5 'речь, голос';
वर्ण *varṇa* — बरन H_3 *baran* 'окраска, каста'.

23. Орфографическому ग्य *gy* соответствует в «Прем Сагаре» ग *g*:

योग्य B_7 *yogya* — जोग H_{16} *jog* 'подобающий, соответствующий';
योग्य P_8 *yogya* — योग H_{12} *yog* 'надлежащий'.

24. Орфографическому ज्य *jy* соответствует в «Прем Сагаре» ज *j*:
ज्योतिषी P_{29} *jyotiṣī* — जोतिषी H_{20} *jotiṣī* 'астролог'.

Примечание. В отдельных, весьма редких случаях указанное в пункте 24 соответствие наблюдается не только в санскритских словах, но и в словах кхари боли (хинди):

ज्यों ही... त्यों ही P_{28} *jyoṅhī... tyoṅhī* — जोंही... तोंही H_{19} *joṅhī... toṅhī* 'как только-то'.

ज्यों के त्यों P_{20} *jyoṅ ke tyoṅ* जों के तों H_{18}· *joṅ ke toṅ* 'как только, немедленно, сразу'.

25. Орфографическому ह *h* также в отдельных изолированных словах хинди соответствует в «Прем Сагаре» स *sa:*

तेरह *terah*	तेरस H *teras* 'тринадцать';
चौदह *caudah*	चौदस *caudas* 'четырнадцать'.

Наблюдая все отмеченные выше важнейшие отклонения письма «Прем Сагара» от обычной в настоящее время орфографии, мы убеждаемся, что эти отклонения не являются произвольными и случайными: все они подчинены одному принципу, а именно: Лаллу джи Лал дает написания слов в современной ему произносительной форме, которая лишь в относительно немногих случаях отличается от теперешней формы. Точнее, мы можем сказать, что, меж тем как современная орфография и словарь пользуются санскритскими tatsama, Лаллу джи Лал пользуется формами tadbhava, свойственными произносительным формам языка. Таким образом Лаллу джи Лал следует фонетической орфографии, принципу, которому следовала вся предшествующая литературная традиция на разных диалектах хинди, а равным образом и пракритская литература.

Если признать, как это делаем мы, что Лаллу джи Лал в своем письме пользуется не историческим принципом, который применяется в современной орфографии хинди, а фонетическим, то даже беглое наблюдение убеждает нас в том, что последний принцип проведен непоследовательно. Ряд санскритских слов пишется в обычной исторической орфографии.

Приведем важнейшие из этих отклонений:

यज्ञ *yajña* 'жертва, жертвоприношение';

आकाश *ākāç* 'небо, небеса';

श्री *çrī* 'святой, великий, достопочтенный', напр. श्री कृष्ण *çrī Kṛṣṇa* шри Кришна';

शास्त्र *çāstra* 'шастра, наука, дисциплина';

शस्त्र *çastra* 'вооружение, оружие', но оружие древнее, в отличие от современного, для обозначения которого употребляется термин हथियार *hathyār* 'оружие';

शूद्र *çudra* 'шудра', название касты;

नरेश *nareç* 'владыка мужей, царь';

पृथ्वीनाथ *pṛthvīnāth* 'владыка земли, царь';

शब्द *çabda* 'слово, звук';

शुभ *çubh* 'счастливый, благоприятный'. Обычно употребляется, когда говорят о счастливом знамении или счастливом дне, устанавливаемом астрологами.

Все приведенные здесь слова даются только в этой санскритской орфографии.

Весьма легко заметить, что все приведенные слова относятся либо к культу, либо являются элементами высокого стиля (नरेश *nareç*, पृथ्वीनाथ *pṛthvīnāth*) или словами ученого словаря (शास्त्र *çāstra*). Именно по указанным причинам они сохраняют свою санскритскую историческую орфографию.

Таким образом эти внешние отклонения от принципа орфографии, которым пользуется Лаллу джи Лал, оказываются мнимыми отклонениями: сло́ва религиозного и ученого словаря почти во всех языках имеют свой особый путь развития, и совершенно понятно, что этот факт отмечается и в орфографии.

Эти данные показывают нам, насколько необоснованными являются утверждения некоторых индийских ученых, которые на основании непоследовательности в орфографии выводят заключение, что Лаллу джи Лал был мало подготовлен к роли основоположника нового языка и потому не может считаться таковым.

Названные выше индийские ученые указывают, что язык Лаллу джи Лала не обладает стандартностью; Лаллу джи Лал, по их мнению, дает для одной и той же формы ряд дублетов, что не соответствует требованиям, которые обычно предъявляются к литературному языку.

Это положение в применении к новоиндийским языкам звучит весьма строго. Мы знаем, что даже ряд современных языков, если не все они, обладают весьма развитой системой дублетов, что объясняется кратковременностью периода, в течение которого употребляются в прозаической литературе новоиндийские языки, и чем моложе литературная традиция, тем больше дублетов для одной и той же формы допускает литературный

язык. Для примера можно указать хотя бы на панджабский язык, где традиция дублетных форм, особенно в области местоимений, весьма сильна. В большинстве современных языков известная стандартизация достигается весьма давно известным способом, путем санскритизации современных литературных языков.

Возьмем некоторые из важнейших случаев употребления Каллу джи Лалом дублетов, не вполне характерных для современного прозаического языка.

1. В качестве основы косвенных форм от местоимения मैं *maiṅ* 'я' Лаллу джи Лал обычно пользуется मुझ *mujh*, напр.: मुझसे रहा नहीं जाता H_3 *mujhse rahā nahīṅ jātā*. 'Я не могу вынести'. Однако наряду с этой формой Лаллу джи Лал изредка употребляет основу मेरे *mere*, напр.:

वे राजा हो अधिक अधर्म मेरे पर करेंगे, Ve *rājā ho adhik adharm mere par kareṅge.*

«Они, сделавшись царями, будут творить на мне (т. е. на земле) великие беззакония».

Хотя эта форма в настоящее время не считается стандартной и более свойственной разговорному языку, тем не менее любая грамматика хинди или урду считает эту форму основы допустимой и в литературном языке... Эта форма основы и аналогичные ей основы других местоимений совершенно свободно употребляются в современном литературном языке. Для примера можно взять отрывки из речи Ганди, произнесенной им в Горакхпуре. मेरे को फ़ुर्सत न पाने से *mere ko fursat na pāne se*,[1] «за отсутствием у меня времени» इसी बात से हमारे में ताक़त आजाती है,[2] *isī bāt se hamāre meṅ tāqat ājātī hai*, «от этого в нас является сила».

2. В качестве основы при местоимении 2 лица единственного числа तू *tū* изредка в тексте на кхари боли употребляется तैं *taiṅ* в сочетании с послелогом ने *ne* вместо обычной для кхари боли формы तू नें *tū ne*. Однако такая форма основы употребляется Лаллу джи Лалом только в ритмованной и рифмованной части текста, т. е. в своеобразных стихотворных вкраплениях в прозаический текст «Прем Сагара», напр.: क्या अर्जुन को तैं ने हर गया जाना, तिससे उसका धन नहीं पहिचाना H_2, «иль ты узнал, что Арджун далеко, и потому уж не узнал его ты лука».

[1] गोरखपुर में गान्धी जी. असहयोगमाला, पुष्प—८, कलकत्ता, १९७८, p. 10.
[2] Op. cit., p. 13.

3. В единичных случаях तैं *taiṅ* употребляется в значении прямой формы в прозаической части текста «Прем Сагара», напр.: श्री कृष्ण जी ने पुछा तैं कौन है H_{55}, «шри Кришна джи спросил: „Кто ты?"».

4. Весьма большое разнообразие наблюдается в языке Лаллу джи Лала в образовании основ косвенных форм местоимения वह *vah* 'он'. Помимо обычных для современного языка форм उस *us*- и उन *un*-, в «Прем Сагаре» употребляются соответственно формы Sg. तिस *tis* — Pl. तिन *tin* и Sg. विस *vis*- Pl. विन *vin*-.

Напр.: तिस से उसका धर्म नहीं पहिचाना H_2, «потому не узнал его закона»; तिनका बोझ मैं न सह सकूंगी H_3, «я не смогу вынести бремя их»; विसका नाम पवनरेखा H_7, «ее имя Паванрекха»; विनके पीछे सब गांव उठगया H_{18}, «за ними устремилась вся деревня».

5. В качестве основы косвенных форм от местоимения कोई *ko'ī* изредка употребляется архаическая форма किसू *kisū* вместо обычной в настоящее время формы किसी *kisī*, напр.: किसू को भी न थी H_{19}, «ни у кого не было».

6. Все глагольные формы Лаллу джи Лал строит по тому же принципу, что и современные авторы. Встречаются лишь отдельные изолированные отклонения от современных норм. Эти отклонения наблюдаются преимущественно в рифмованных частях «Прем Сагара», которые отмечались раньше, напр.:

a) форма будущего времени:

अब मैं उसको दूङ्गं श्राप वही मीच पावेगा श्राप H_3, «я прокляну его теперь, его постигнет скоро смерть»; जहां हरिभक्त यह कथा सुनावेंहें तहां ही सब तीर्थ औ धर्म अोवहें H_5, «где верные святому Хари сказанье это будут слушать, туда придут святые все места и все законы».

b) Причастие прошедшего времени от глагола करना *karnā* 'делать' в единичных случаях выступает в форме, отличной от современной стандартной формы, т. е. किया *kiyā*, и звучит करा, करी. Изредка эта форма допускается и в современном литературном языке. सब श्री कृष्ण की करी हुई बाललीला «Прем Сагар», H_{59}, «все чудеса, совершенные шри Кришной в детстве».

c) В формах conjunctiv'a во втором и третьем лицах единственного числа вместо окончания *e* у Лаллу джи Лала обычно является окончание है *ai*, в чем верно сказалось влияние браджа. Напр.: गुन के बदले औगनु करै... किसी के किये गुन को भी मन में न धरै H_{55}, «он за добро всем платит злом, не помнит и добра, кто б ни совершил его».

d) В формах optativ'а на ряду с формами, совпадающими с формами современного языка, напр.: बताइये H_3 *batā'iye* «благоволите сказать», बसुदेव को दीजिये *basudev ko dījī'ye* «благоволите дать Васудеву», встречаются формы, слегка отличающиеся от современных, что, видимо, является результатом неточности орфографии Лаллу джи Лала; возможно, что эти стяженные формы употребляются и в настоящее время: कीजो *kījo* H_4 вм. कीजियो *kījiyo* «благоволите сделать»; दीजो *dījo* H_4 вм. दीजियो *dījiyo* «благоволите дать»; दीजे *dīje* H_8 вм. दीजिये *dījiye* «благоволите дать»; लीजे *līje* H_8 вм. लीजिये *lījiye* «благоволите взять».

7. Из глагольных форм, видимо, обязанных своему существованию влиянию браджа, кроме уже отмеченных форм conjunctiv'а можно указать на причастие прошедшего времени भया *bhayā* вм. हुआ *hu'ā*. Причастие भया *bhayā* входит в состав всех соответствующих форм и употребляется на всем протяжении «Прем Сагара». Напр.: आकाश से बानी भई H_5, «с небес раздался голос».

8. Весьма характерным для Лаллу джи Лала, как и для всей предшествующей ему литературной традиции на разных диалектах хинди, является образование отыменных глаголов непосредственно от именных основ, без помощи вспомогательных глаголов. Напр.: санскр. कोप *kop* 'гнев' — कोपना H_{17} *kopnā* 'гневаться'; санскр. हरष *haraṣ* 'радость' — हरषना H_3 *haraṣnā* 'радоваться'; санскр. जन्म *janm* 'рождение' — जन्मना H_7 *janmnā* 'рождаться'; санскр. उपज *upaj* 'рождение' — उपजना H_{13} *upajnā* 'рождаться, являться'; санскр. प्रकट *prakaṭ* 'появившийся' — प्रकटना H_{12} *prakaṭnā* 'появляться'; санскр. हन 'убивать' — हनना H_{12} *hannā* 'убивать' и т. д.

Глаголы, построенные по типу, представленному выше, были вполне нормальны не только в поэтических диалектах его, но и в самом кхари боли до конца прошлого столетия, с какового времени начинается усиленная санскритизация литературного хинди. Только вследствие этой санскритизации из современного языка изгоняются глаголы, сходные по принципу построения с приведенными, и начинают употребляться сложные сочетания из имен и причастий (почти исключительно санскритских) со вспомогательными глаголами होना *honā* 'быть' и करना *karnā* 'делать', напр.: उत्पन्न होना *utpann honā* 'рождаться, производиться', उत्पन्न करना *utpann karnā* 'рождать, производить', ग्रहण करना *grahaṇ karnā* 'брать' (собственно 'совершать взятие') и т. д.

Приведенные факты убеждают нас в том, что в построении как именных, так и глагольных форм у Лаллу джи Лала имеются лишь весьма не-

значительные отклонения от норм современного литературного языка. Одни из них объясняются влиянием диалекта брадж (как, напр., дублеты основ косвенных форм местоимения वह *vah* 'он' или окончание ऐ *ai* в формах conjunctiv'a), другие же тем, что в последние несколько десятилетий в хинди получила весьма сильное выражение тенденция к санскритизации прозаического языка.

Обращаясь к синтаксису Лаллу джи Лала, мы видим, что он следует тем же нормам, которые характерны для современного литературного языка. Отклонения от этих норм объясняются индивидуальной особенностью стиля Лаллу джи Лала.

1. Как отмечают индийские ученые, Лаллу джи Лал изгнал из своего языка все мусульманские элементы, хотя бы и органически вошедшие в разговорный язык. Исключение представляют лишь те немногие технические термины, для которых ни в хинди, ни в санскрите не было эквивалентов, напр.: तुपक *tupak* 'пушка'. В связи с этой далеко идущей эмансипацией от мусульманского влияния Лаллу джи Лал изгнал из своего употребления ряд мусульманских союзов, получивших права гражданства не только в разговорном, но и в современном литературном хинди; таковы союзы कि *ki*, персид. كه *ki* 'что, чтобы' и ताकि *tāki* 'чтобы'. В функции этих обоих союзов Лаллу джи Лал употребляет जो *jo*, что изредка наблюдается и в современном литературном хинди, напр. в «Прем Сагаре»: अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई H_7, «настала такая тьма, что день обратился в ночь»; इसका कारण कहो जो मेरे मनका संदेह जाय H_5, «скажи причину этого, дабы сомненье из моей души ушло».

2. Лаллу джи Лал довольно редко пользуется союзами, которые в настоящее время представляются устаревшими и употребляются только в диалектах, напр. जद 'когда', तद्दी 'тогда-то': जद आप कोपियेंगे तधी वे भाग जायेंगे H_{14}, «когда вы изволите прогневаться, то они убегут».

3. Лаллу джи Лал пользуется повторами личных форм глаголов или причастием прошедшего времени, стоящими в прямой форме, что обычно не принято в современном литературном хинди, напр.: चेला चला चला वहां आया जहां राजा बैठा सोच करता था H_4, «ученик отправился и прибыл туда, где сидел царь, погруженный в печаль».

4. В своем синтаксисе Лаллу джи Лал пользуется абсолютивами, лишенными окончаний, в размерах, не свойственных современному языку, который избегает их нагромождения, напр.: सब गोपियां रिस छोड़ प्रसन्न हो उठ हरि से मिल, भांति भांति के सुख मान आनंद मगन हो, कुतूहल करने लगीं H_{55}, «Все пастушки, забыв свой гнев, просветлев, встав, приблизившиеся

к Хари, исполнившися всяческого счастья, погрузившися в радость, занялись игрой».

В современном языке такое нагромождение абсолютивов не терпимо. Однако, это — особенность стиля Лаллу джи Лала, а не специфика его синтаксиса.

5. Равным образом особенностью стиля Лаллу джи Лала нужно признать его вынесение форм глагола लगना *lagnā* 'начинать', т. е. форм लगा *lagā* 'начал', लगे *lage* 'начали', на передний план, меж тем как в современном хинди эти формы обычно стоят на конце предложений. Число инфинитивов, подчиненных формам लगा *lagā*, लगे *lage*, у Лаллу джи Лала иногда бывает весьма значительным, напр.: в «Прем Сагаре»: हरष से लगे बन उपबन हरे हो हो फूलने, फलने, नदी नाले सरोबर भरने; तिन पर भांति भांति के पछी कलोलें करने और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने; ब्राह्मण यज्ञ रचने; दसों दिसा के दिगपाल हरषने, बादल ब्रजमंडल पर फिरने; देवता अपने बिमानों में बैठे आकाश से फूल बरसावने; विद्याधर... गुण गाने H_{13}, «от радости леса и рощи, зазеленев, покрылися цветами и плодами; каналы, реки и пруды наполнились водой; на них защебетали разнообразнейшие птицы, и в каждом городе, в деревне каждой, в каждом доме праздник наступил; брахманы стали жертвы совершать; хранители всех десяти стран света радости исполнились; над Браджмандалом облака ходили; усевшись на свои виманы, боги пролили с небес цветочный дождь; видьядхары... воспели добродетели...»

В словаре Лаллу джи Лала употребляется ряд архаизмов, которые либо не употребляются в современном языке, либо употребляются весьма редко, напр.:

1. От местоимения क्या *kyā* 'что' в единичных случаях употребляются основы косвенных форм काहे *kāhe*, вместо современного किस *kis*, напр.: तिस में फूल फल काहे को लगेगा... H_9, «на чем появятся у него цветы и плоды».

2. Изредка употребляются архаические послелоги.

a) पै *pai* = соврем. पर *par* 'на', 'над', 'к'. राजा के चरणों पै गिर... H_8, «упав к ногам царя».

b) के सोंहीं *ke soṅhīṅ* = соврем. के सामने *ke sāmne* 'перед'. बसुदेव कंस के सोंहीं जा... कहने लगे H_9, «Васудев, пойдя к Кансе, сказал».

c) के ढिग *ke ḍhig* = соврем. के पास *ke pās* 'у, близ'. यसोदा के ढिग सुला दिया... H_{14}, «уложил спать возле Яшоды».

3. Равным образом изредка употребляются немногие архаические наречия и союзы:

a) फेर् *pher*, соврем. फिर् *phir* 'потом, затем';

b) औ *au* и даже अरु *aru* на ряду с современным और *aur* 'и';

c) कै *kai* 'или' = соврем. कि *ki* или या *yā*: देवता हो कै ब्राह्मण... H_2. «боги ль вы иль брахманы». लड़का न होय कै यहो दुष्ट मरे... H_{10}, «возможно, не родится мальчик или умрет злодей».

4. В довольно значительном числе употребляются архаизмы чисто словарного порядка, напр.: पै *pai* 'молоко', उघड़ना *ughaṛnā* 'раскрываться', उघाड़ना *ughāṛnā* 'раскрывать', निबेड़ा H_{18} *nibeṛā* 'конец', रिस *ris* 'гнев', मीच *mīc* 'смерть', и др.

Рифма и ритм применяются Даллу джи Лалом не только в коротких лирических отрывках на брадже, которые пестрят почти на каждой странице сказания «Прем Сагара», но наблюдаются и в прозаической части повествования. На этом основании некоторые указанные выше индийские ученые полагают, что Даллу джи Лал не сумел надлежащим образом справиться с проблемой создания прозы и постоянно сбивается на стих, освященный употреблением в предшествующей целиком стихотворной традиции.

Возьмем несколько примеров употребления Даллу джи Лалом ритма и рифмы. अब मैं उसको दुहूं श्राप वही मीच पावेगा आप... H_8, *ab maiṅ us ko duhūṅ çrāp, vahī mīc pāvegā āp*, «я прокляну его теперь, его постигнет скоро смерть»; तनिक दोष पर ऐसा श्राप तैं ने किया बड़ा ही पाप H_4 *tanik doṣ par aisā çrāp taiṅ ne kiyā baṛā hī pāp*, «за столь ничтожную вину проклятие изрек! Ты совершил великий грех!»

जो एक चित्त हो करो ध्यान तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान H_6, *jo ek citta ho karo dhyān to sab samjhoge apne hī jñān*, «коль ты с единой мыслью погрузишься в созерцанье, то все постигнешь, осененный знаньем».

जिस समैं घर में कपूत आता है तिस समैं जस और धर्म जाता है... H_7, *jis samaiṅ ghar meṅ kopūt ātā hai tis samaiṅ jas aur dharm jātā hai*, «когда в дому дурной сын появляется, тогда закон и слава исчезает».

आज से हुई गर्भ की आस लड़का होगा दसवें मास... H_6, *āj se hu'ī garbh kī ās laṛkā hogā dasveṅ mās* «с сегодняшнего дня ты зачала, сын на десятом месяце родится у тебя!»

Как видно из представленных примеров, которые можно умножить во много раз, рифма и ритм у Даллу джи Лала являются не случайно: они являются средством подчеркнуть изречения, определенные положения или

поговорки. Таким образом привнесение рифмы и ритма является не слабостью автора, а только его своеобразным композиционным приемом.

Этот поверхностный анализ орфографии и разных сторон языка «Прем Сагара» Лаллу джи Лала показывает, что нет никаких существенных различий между языком Лаллу джи Лала и современным прозаическим языком. Весьма большие различия наблюдаются в орфографии. Причина этих различий в том, что Лаллу джи Лал в своей орфографии следует фонетическому принципу, а современная орфография хинди следует фонетическому принципу лишь в отношении слов хинди (tadbhava) и слов, заимствованных из мусульманских и других индийских языков, меж тем как для слов, заимствованных из санскрита, сохраняются традиционные, санскритские написания их. Различия в области морфологии и синтаксиса незначительны и производят впечатление мелких диалектических вариаций, которые могут наблюдаться в любом языке, пользующемся в орфографии фонетическим принципом, а также стилистических особенностей, составляющих индивидуальную принадлежность автора.

Тот факт, что Лаллу джи Лал посвятил весь творческий период своей жизни культивированию новых литературных форм на новом литературном языке и собственными изданиями, имевшими в свое время огромный успех, популяризировал идею прозаической литературы, показывает, что Лаллу джи Лалу принадлежит наибольшая заслуга в деле создания современного хинди.

Сознание необходимости прозаического языка созрело в самом индийском обществе, однако идея прозаического литературного языка, близкого к разговорному и способного удовлетворить потребности индийской буржуазии, сформилась у нее после знакомства с характером европейских литературных языков, в частности английского языка. Англичане в Индии предъявили к прозаическому индийскому языку те требования, которые обычно предъявляются к живому литературному языку в Европе. Для английских коммерсантов и их агентов необходимо было овладеть такой формой языка, которая позволила бы им общаться с соответствующими их интересам кругами населения Индии, и, с этой точки зрения, они из своих чисто практических соображений должны были отвергнуть формы письменного языка, имевшие употребление только в литературе и сильно отличающиеся от наиболее распространенной разговорной идиомы, какой был в конце XVIII в. кхари боли. Именно вследствие этих практических соображений перед туземными авторами, работавшими в Fort William College, встало задание — создать литературный язык, близкий к разговорному кхари боли.

Первоначальное понимание характера литературного хинди, отраженное в языке «Прем Сагара», в силу давних индийских традиций не встретило всеобщего признания. Особенно изменяется характер хинди в конце XIX и в XX вв.

В заключение весьма важно остановиться на критерии «литературного языка» и вытекающих отсюда принципах построения литературного хинди, принципах, которые определяют его развитие в последние несколько десятилетий. Этот факт имеет тем большее значение, что названными принципами определяется построение не только хинди, но и других языков, в первую очередь бенгальского литературного языка.

Большинство индийских ученых полагает, что литературный язык должен значительно отличаться от разговорного языка даже образованной части населения.[1] В соответствии с этим эти ученые видят единственный способ построить на основе разговорного языка литературный язык в насыщении его возможно большим количеством чистых санскритских заимствований, т. е. чистых санскритских tatsama.

Исходя из этой весьма оригинальной теоретической точки зрения, индийские ученые видят в литературном языке, близком по своей лексике к разговорному языку, т. е. в том литературном языке, который носит название хиндустани, искусственную форму литературного языка, развитие которой может поощряться только по соображениям чисто стороннего порядка.

Так, Шьям Сундар Дас, обращаясь к вопросу о создании литературного хиндустани, говорит:[2] «हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि इसकी सृष्टि अंग्रेज़ी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात इन दोनों भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्रों में पिरो कर इस भाषा को रूप दिया जा रहा है», т. е.: «относительно языка хиндустани можно сказать лишь следующее: своим появлением на свет он обязан политическим соображениям англичан. Смешав два языка — хинди и урду, т. е. взяв из обоих языков слова, которые наиболее часто употребляются в них, и нанизав их на нитку грамматики хинди, (англичане) создали этот язык».

Так как общими элементами, наиболее широко употребительными как в хинди, так и в урду, являются лексические элементы tadbava, т. е. слова, свойственные также и чисто разговорному языку, и так как

[1] श्यामसुंदरदास, भाषा विज्ञान, p. 353.
[2] Op. cit., p. 352.

главное различие между литературным хинди и литературным урду заключается в том, что в первом из них широко употребляются чистые санскритские заимствования, так называемые tatsama, а во втором — чистые заимствования из персидского и арабского языков, то, с точки зрения Шьям Сундар Даса, язык, максимально приближающийся к разговорному, является искусственным, созданным англичанами «по политическим соображениям».

Оригинальность этого взгляда Шьям Сундар Даса выступает с еще большей ясностью, если вспомнить другое утверждение этого же автора, где он говорит, что хиндустани — это язык «जिस में साधारणतः हिंदी उर्दू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसे सब लोग बोलचाल में काम में लाते हैं . . .,. . .»,[1] т. е. «в котором употребляются слова как хинди, так и урду и которым пользуются все в разговорной речи».

Логическим выводом из этих посылок названного ученого будет утверждение, что сам разговорный язык, употребляемый 200 миллионами населения современной Индии, является искусственным, изобретенным англичанами! Искусственным же является, как то отмечено выше, по мнению Шьям Сукдар Даса, и литературный язык индийских мусульман; таким образом «естественным» является лишь литературный хинди, на 75 или 80% насыщенный санскритскими заимствованиями.

Таким образом европейские понятия о соотношении разговорного и литературного языка у Шьям Сундар Даса оказываются поставленными на голову: естественной формой литературного языка признается такая форма, которая максимально приближается к средневековому литературному языку брахманства и минимально доступна пониманию широких масс населения.

Насыщение литературного хинди санскритскими tatsama делается не только из указанных «чисто теоретических соображений», но и с целью сделать язык хинди более понятным и более доступным в других провинциях, так как в литературных языках этих провинций также имеется весьма значительное число санскритских tatsama. Эти практические или вернее политические соображения в наиболее краткой и ясной форме высказал Mahamahopadhyay çri Giridhar Çarma Caturvedi в своей статье о заимствовании санскритских слов в современный хинди. Он говорит:[2]

[1] Op. cit., p. 342.

[2] महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी. वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण, ना° प्र° प° भाग १०—अंक १—२, काशी, १९८६, pp. 222—223.

«भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों की एक भाषा बनाने के लिये तो यह अत्यावश्यक है कि संस्कृत शब्दों का ही अधिक मात्र में प्रयोग कर हिंदी का स्वरूप बनाया जाय। ऐसी हिंदी 'बंगाल', 'मद्रास' आदि में शीघ्र चल सकती है, क्योंकि संस्कृत भाषा से सभी प्रांतों का संबंध है, т. е. «Для построения единого языка для различных провинций Индии в высшей степени необходимо вводить в употребление санскритские слова в возможно больших размерах. Лишь таким образом построенный хинди может найти быстрое признание в Бенгалии, Мадрасе и других провинциях Индии, так как все провинции сохраняют связь с санскритом».

Что в литературных языках разных провинций имеется огромное количество заимствований из санскрита, несомненно. Рекорд в этом отношении побил бенгальский язык, где у некоторых бенгальских авторов санскритские заимствования tatsama составляют 80—90%.

Вместе с тем совершенно понятно, в чьих интересах рекомендуется введение санскритских заимствований «в возможно больших размерах». Построенный таким образом хинди станет легко доступным для верхушки индийской буржуазии и феодальной знати, но на ряду с этим он станет совершенно непонятным для широких масс населения: этим путем воздвигается непреодолимая преграда между разговорным языком, доступным населению, и литературным языком, обслуживающим весьма узкий круг верхушечных слоев населения Индии.

В переводе на европейские понятия это значит рекомендовать изгнание из разных европейских литературных языков их национальных элементов и замену их латинскими словами в их чистом виде с целью сделать эти языки возможно более доступными для понимания в различных странах Европы.

На первый взгляд представляется, что аргумент Махамахопадхьяя шри Гиридхара Шармы Чатурведи, лишенный, правда, оригинальности, может представлять некоторые практические выгоды хотя бы для узкой верхушечной прослойки населения Индии. Однако, если мы вспомним, что санскритские заимствования в каждой провинции произносятся по-своему, в соответствии с нормами произносительной речи, то даже эти внешние выгоды для узкого круга буржуазии и феодальной верхушки оказываются мнимыми, так как пониманию будет доступна только зрительная речь, да и то в редких случаях, так как почти в каждой провинции Индии употребляется свой шрифт.

С другой стороны, как сам Махамахопадхьяя шри Гиридхар Шарма Чатурведи, так и целый ряд других ученых, которые разделяют его мнение, забывают о существовании готового разговорного языка хиндустани,

доступного широчайшим массам населения северной Индии и Декана. Этот язык для своего распространения вовсе не нуждался во введении огромного количества заимствований из языков феодальной Индии (санскрита и персидского языка). Впитав в себя огромное количество элементов народного языка и произведя заимствования разнообразнейших лексических элементов из самых разнообразных языков, этот язык уже реально сделался межнациональным языком.

Нельзя сказать, что стремление к санскритизации, которое захватило большинство современных индийских языков, в том числе и хинди, не вызывало возражений в самой Индии. Не только в XIX в., когда шла длительная борьба за принципы развития литературного хинди, но и в настоящее время ряд ученых подвергают жестокой критике современные тенденции к санскритизации кхари боли.

Так, Рамачандра Шукла в своем очерке по истории литературы хинди говорит,[1] что деятели этого нового направления литературы хинди, воспитанные в английских колледжах и не знающие санскрита, обращаясь к хинди, «जब आपटे का अंग्रेज़ी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी», т. е.: «Когда, взяв англо-санскритский словарь Аптэ, садились, чтобы дать буквальный перевод своим мыслям, то несчастный хинди убегал за тридевять земель».

Рам Дас Гаур указывает,[2] что, благодаря пренебрежению к народному словарю, кхари боли утратил свою творческую силу, и видит причину этого в том, что деятели литературы хинди в огромных размерах вводят санскритские элементы, заменяя ими даже самые обыкновенные слова повседневного употребления, вместо मिला в санскритизованном хинди является प्राप्त हुआ, вместо पाया — प्राप्त किया, и т. д.

До каких размеров может дойти санскритизация хинди, видно из следующего короткого отрывка из Viyogīji:[3]

जब मैं अति विशद निर्जन अरण्य में कलरव-कल-कलित सुललित झरनों का सुगति-विन्यास देखता हूँ मंद स्रोतस्वती-सरित-तट-तरु-शाखा-विहरित-कलकंठी-कोकिल-कुहुक-ध्वनि सुनता हूँ, प्रभात-ओसकण-झलकित-हरित-तृणाच्छादित-प्रकृति

[1] रामचंद्र शुक्ल. हिंदी साहित्य का विकास, p. 236.

[2] श्री रामदास गौड़. श्रीरामचरितमानस की भूमिका. देहली और काशी, १९८२, p. 18.

[3] श्रीजगन्नाथ प्रसाद शर्मा. हिंदी की गद्य शैली का विकास. ना० प्र० प०, नवीन संस्करण भाग ११, अंक ३, काशी, १९८७, pp. 334—335.

परिष्कृत - बकुल - वनस्पति - सुगंधित सुखद - भूमि पर लेटता हूं, तथा नाना - विहंग - पूर्ण - सुफलित - वृत्तावृत - गिरि - सुवर्णशृंग - शुभ्र - स्फटिकोपम - शिलासन पर बैठकर प्रकृति - छटा - दर्शनोन्मत्त - अर्धोन्मीलित - साश्रु - नयन - द्वारा अस्तप्राय तप्त - कांचन - वर्ण रवि - मंडल - भवकमनीय - कांति को ओर निहारता हूँ, तब स्वभाव - सुंदर लज्जावनत अप्रकट - सुमन - सौरभ - रसिक - पवन आकर, श्रवण - पुट - द्वारा तेरा विरहोत्कंठित प्रिय संदेश सना जाता है।

В представленном довольно значительном отрывке, который, по мнению его автора, написан на хинди, имеется, кроме союзов (जब, तब) и послелогов, только восемь слов кхари боли, т. е. слов, принадлежащих словарю разговорного языка; остальные девяносто слов взяты из санскрита! Таким образом слова кхари боли составляют 8%, а 90% составляют санскритские слова. Значение этих санскритских заимствований определяется не только голым процентом: санскритские лексические элементы выступают в виде композит, в состав которых входит по 9, 10, 11 и даже 12 компонентов, меж тем как для хинди приемлемы только композиты, заключающие не больше двух элементов. Таким образом вместо хинди автор пишет на плохом искусственном санскрите, и путем замены нескольких слов хинди санскритскими словами приведенный отрывок обращается в образец искусственного санскрита, которым брахманство пользовалось в течение нескольких столетий до введения в литературу прозаического хинди.

В последние десятилетия современный литературный хинди проникает также и в поэзию. Некоторые авторы литературы хинди пользуются в стихах санскритской лексикой и санскритскими композитами в таких размерах, что их стихи на хинди безо всякого труда можно обратить в санскритские стихи. Так, у пандита Ayodhyāsingh'a jī Upādhyāy мы читаем стихи вроде:

रूपोद्यान प्रफुल्ल - प्राय कलिका राकेंदु - बिंबानना।
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली॥
शोभा - वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य - लीलामयी।
श्रीराधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य्य - सन्मूर्त्ति थी[1]

Приведенные стихи невозможно считать написанными на хинди, хотя автор и считает их таковыми. Почти вся поэма, откуда взят приведенный отрывок, фактически написана на санскрите со включением в санскритские

[1] रामचंद्र शुक्ल. हिंदी साहित्य का विकास, p. 262.

стихи немногих морфологических и весьма редко лексических элементов хинди.

Мы видим, таким образом, что как в области прозы, так и в области поэзии на наших глазах происходит санскритизация литературного хинди, которая достигает таких размеров, что практически приводит к реставрации санскрита.

Мы знаем, что такой путь реставрации санскрита не нов: он в значительной мере совпадает с тем путем, который проделали среднеиндийские языки, пракриты, которые после почти тысячелетнего употребления в литературе были вытеснены санскритом именно путем все большей и большей санскритизации их, что прекрасно показал в своем классическом исследовании О. Франке.[1]

Аналогичным образом и новоиндийские языки, в частности хинди, после почти тысячелетнего употребления в литературе санскритизуются пандитами, которые таким путем стараются сохранить употребление санскрита в литературе.

Однако в XX в. состояние Индии радикально отлично от того, в каком она была в первые века нашей эры, и потому очень трудно думать, чтобы санскритизация современных литературных языков, в частности санскритизация хинди, имела такие же последствия, какие она имела для развития среднеиндийских языков.

Возвращаясь к роли Лаллу джи Лала в истории литературного хинди, мы можем сказать следующее.

1. Перейдя на новый для литературной традиции хинди диалект, Лаллу джи Лал продолжал демократические тенденции, которые были свойственны литературе хинди с древнейших времен. Он в обширных размерах пользуется лексическими элементами, составляющими органическую принадлежность кхари боли, и при введении санскритских элементов tatsama он дает их в фонетической орфографии, отличной от исторической, применяемой в настоящее время.

2. В настоящее время в весьма значительных кругах литераторов, в особенности пользующихся публицистическим и научным стилем, весьма сильное выражение получила тенденция к санскритизации хинди.

3. В этом новом аспекте Лаллу джи Лал не является родоначальником современного литературного хинди, поскольку он стоит на позициях, радикально отличных от позиций ведущей группы современных авторов хинди.

[1] R. O. Franke. Pali und Sanskrit, Strassburg, 1902.

4. Усиление господствующих тенденций грозит для хинди вытеснением его и реставрацией санскрита.

5. Лаллу джи Лал является основоположником хинди, свободного от излишней санскритизации и приближающегося по своей лексике к хиндустани, т. е. к разговорному языку.

6. По мере преодоления феодальных пережитков направление развития литературного хинди, начатое Лаллу джи Лалом, имеет все основания для дальнейшего развития, так как введение санскритских элементов в хинди в размерах, наблюдающихся у некоторых авторов современной литературы, делается в угоду интересам тонкой феодальной прослойки и верхушечной группы буржуазии.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАД. НАУК СССР

Том VII

Г. В. ЦЕРЕТЕЛИ

Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии

I. АРАБСКАЯ СКАЗКА ИЗ КИШЛАКА ДЖА̊ГАРЫ̄́ АКМАЛАБАДСКОГО (БЫВШ. Г̣ИД̑ЖДУВА̄НСКОГО) РАЙОНА УЗБЕКСКОЙ ССР

Зимой 1935 г. Музеем Грузии была отправлена в Среднюю Азию экспедиция для работы над некоторыми арабскими и иранскими рукописями. Принимая участие в этой экспедиции, я решил использовать свое пребывание в Бухаре для изучения местных арабских наречий. Будучи занят работой над рукописями, арабскому языку я смог уделить только двенадцать неполных дней, в результате чего удалось записать некоторое количество текстов, публикуемых частью ниже.

С тех пор как впервые появились в печати сведения об арабских диалектах Средней Азии, прошло уже около шести лет, тем не менее дело изучения этих диалектов не продвинулось вперед, несмотря на исключительный интерес, вызванный открытием в Средней Азии живой арабской речи. О значении этого открытия для истории арабской диалектологии излишне говорить. Влияние литературного языка, да и диалектов арабских на речь не владеющих письменностью среднеазиатских арабов сводится к минимуму, в связи с чем мы в праве ожидать сохранения более старых форм именно здесь, где язык не является «чистым», «образцовым», с точки зрения общепринятого стандарта. С другой стороны, влияние окружающих языков, таджикского и узбекского, да отчасти, пожалуй, авганского, не могло не вызвать новые формы и явления, чуждые арабскому и семитическим языкам вообще. С этой точки зрения среднеазиатский арабский язык представляет исключительный интерес не только для арабиста и семитолога, но и для лиц, интересующихся вопросами общей лингвистики.

До последнего времени об языке среднеазиатских арабов мы располагали незначительными и к тому же не совсем надежными материалами,

опубликованными Н. Бурыкиной и М. Измайловой,[1] которым и принадлежит честь открытия этих диалектов. На основании этих материалов проф. Н. В. Юшманов[2] и шведский ученый H. S. Nyberg[3] пришли к заключению, что среднеазиатский арабский язык, точнее, наречие кишлака Джейнау[4] Кашка-Дарьинского[5] округа, в общем можно определить «как таджикизованное и отчасти узбекизованное месопотамское наречие новоарабского языка».[6] Не располагая достаточными материалами по части наречия кишлака Джейнау,[7] мы пока ограничиваемся лишь указанием на то, что хотя в нашем наречии и встречаются явления, сходные с месопотамским, но большинство приводимых Nyberg'ом примеров[8] характерно не только для месопотамского, но и для других диалектов, в частности для речи центрально-аравийских бедуинов. Так: fađ < فرد (у Nyberg'а fad, у Бурыкиной и Измайловой fat) в значении «un», «ein», месопотамское fär(e)d (Meissner, Neuarabische Geschichten aus dem Iraq. Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. von Friedrich Delitzsch und Paul Haupt, Bd. V, Leipzig, 1906, S. XXVII, также S. 74, XLII, XLIII, XLV и т. д.), ferd, färd (ср. Socin, Der arabische Dialekt von Mōṣul und Märdin, ZDMG, Bd. XXXVI, S. 4—5,1; 10—11,4 и т. д.) обычно также для бедуинского: fa̤rd (ср. Socin, Diwan aus Centralara-

[1] Н. Бурыкина и М. Измайлова. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и кишлака Джейнау Кашка-Дарьинского округа Узбекской ССР. ЗКВ, т. V, Л., 1930, стр. 527—549.

[2] Н. В. Юшманов. Арабское наречие Советского востока. Культура и письменность Востока, кн. X, М., 1936, стр. 76—84.

[3] Le Monde Oriental, vol. XXIV, fasc. 1—2, 1930, pp. 121—126 (рецензия на ЗКВ, т. V, 1930).

[4] Они могли судить только об этом наречии, так как по другому говору, кишлака Джа̊гары́ (а не Джугары, как у Бурыкиной и Измайловой), у Н. Бурыкиной и М. Измайловой опубликовано только две с половиной строчки связного текста и несколько отдельных выражений.

[5] Кашка-Дарья, а не Кашка-Дарьин (Kaška-Daryin: Nyberg, p. 121; Дарья = Daryā, древнеперсидское drayah, пехлевийское daryāk «море, большая река», см. Cl. Huart в Encyclopaedia of Islām, vol. I, p. 925; ср. Āmū-Daryā, Sīr-Daryā и т. п.).

[6] Выражение Н. В. Юшманова, ibid., стр. 77; ср. с этим утверждение H. S. Nyberg'а, что «quant à l'origine de ces parlers, c'est sans aucun doute de la Mésopotamie qu'ils proviennent; c'est avec les parlers de ce pays qu'ils montrent le plus d'affinité» (Nyberg, ibid., p. 126).

[7] После того как эта статья была сдана в печать, мы еще раз ездили в Среднюю Азию, уже специально с целью изучения местных арабских диалектов. Во время этой поездки нам удалось записать достаточное количество текстов как в Джейнау, так и в других кишлаках, населенных арабами, говорящими по-арабски. В ближайшее время надеемся опубликовать эти материалы и тогда же коснемся вопроса о взаимоотношениях языка Джейнау с речью арабов из кишлака Джа̊гары́.

[8] Le Monde Oriental, vol. XXIV, fasc. 1—2, 1930, p. 126.

bien, III, § 69, b, S. 96). Бедуинское fard wāḥid (Socin, ibid., III, § 69 и тексты), употребляемое и в месопотамском (ср. Meissner, ibid., S. 6, IV; 8, VI; 10, VII и т. д.; ср. также: Socin, ZDMG, Bd. XXXVI, S. 11,11 и т. д.), часто встречается и в среднеазиатском в виде fađaḥiđ; дальше: ʿuqub «ensuite», месопотамское ʿag(u)b, отмеченное Nyberg'ом, употребляется и в бедуинском: ʒog̱ub (Socin, Diwan, Bd. III, S. 292), к которому ближе стоит среднеазиатская форма (ʿugub); точно так же zin «beau, bon», месопот. zēn, известно и в бедуинском[1] (ср. Socin, Diwan, Bd. III, словарь, s. v., زين, где приводится выражение: bezēn «wohl» «in gutem Zustand»; ср. также: I. C. Wetzstein. Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wüste, ZDMG, Bd. XXII, стр. 77,1); minṭini (<anta), месопот. «donner», обычное слово также для речи жителей Наблуса и бедуинов (см. L. Bauer, Das Palästinische Arabisch, Leipzig, 1913, § 5, 1, f). Отмеченное Nyberg'ом «maki» действительно указывает на связь с месопотамским mākū «il n'y a pas», если только это слово правильно записано Бурыкиной и Измайловой. В Ǧågarḭ мы везде слышали måhu[2] (для муж. рода) и må-hi[2] (для женск. рода), а эта форма, употребляемая и в месопотамском (см. Socin, ZDMG, Bd. XXXVI, S. 45,12), обычна также для бедуинских диалектов Петры (см. Musil, Arabia Petraea, III, 350).

В нашем наречии встречаются, конечно, явления, сходные с месопотамским,[3] но в большинстве случаев[4] те же явления наблюдаются и в бедуинском. Это и понятно. Ведь месопотамские диалекты ближе всего стоят к речи центрально-аравийских бедуинов![5] С другой стороны, Н. В. Юшманов уже отметил некоторое сходство наречия кишлака Джейнау с бедуинским. Теперь, когда мы располагаем несколько большим количеством материала, можно указать в языке кишлака Ǧågarḭ на ряд явлений, характерных для бедуинской речи.[6] Это нас заставляет не считать решенным вопрос о времени переселения наших арабов в Среднюю Азию.

[1] Правда, встречается редко.

[2] См. ниже, стр. 69,13—14.

[3] Хотя бы, напр., местоименный суффикс III лица, мужского рода, a, отмеченный уже Nyberg'ом.

[4] Хотя не всегда; ср. ниже, примечания к тексту.

[5] Ср. Kampffmeyer в Enzyklopädie des Islām, Bd. 1, 1910, S. 417.

[6] Так, напр., употребление неопределенного члена. Подобно бедуинскому, неопределенное существительное, сопровождаемое прилагательным, в нашем наречии снабжается частицей in, в то время как прилагательное нунации не имеет (ср. Socin, Diwan, III, § 81, b, стр. 104): fađ köškin zin kabīr i binti suṷūh «один хороший, большой замок дочери моей сделайте» (тексты, стр. 266,15—6); fađ ḥadīsin kasīr nənḳūl [l]i handók, mijåg̊di «одно большое слово [= одну большую историю] скажем этому, уйдет» (тексты, стр. 265,5—6); fađ ẖurūfin samīn mazbaḥu «одну жирную овцу зарежу» (тексты, стр. 271,21—2); fađ ǧildin zin ilēj̬k mantík

Возможно, что арабы Средней Азии — это не потомки горожан-ремесленников, переселенных Тимуром из Сирии и Месопотамии,[1] о которых рассказывает историк Ибн ʿАрабшāх,[2] а остатки племен номадов (которых, кстати сказать, очень уж напоминают наши арабы по образу жизни и культурному развитию), переселившихся в Среднюю Азию, быть может, раньше Тимура. Для разрешения этих вопросов мы пока еще не располагаем достаточным материалом. В ближайшем будущем мы предполагаем издать несколько большее количество текстов с общим грамматическим обзором арабских наречий Средней Азии. Тогда мы коснемся более подробно указанных вопросов, а пока ограничиваемся опубликованием образцов наречия кишлака Ǧåġarḭ, считая, что они могут представлять некоторый интерес для специалистов, несмотря на то, что ряд деталей остается еще неясным.

В заключение пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодарность за ценные указания акад. И. Ю. Крачковскому, который первый обратил мое внимание на среднеазиатский арабский язык и которому я обязан вообще своей подготовкой по арабистике. Благодарность приношу также проф. Н. В. Юшманову и Я. С. Виленчику за оказанное ими мне содействие в процессе работы.

Условности и сокращения

> производит; < происходит; *предполагается; || чередуется. бед. — бедуинский; кл. — классический арабский; фел. — феллахский; Е, С, М, П — египетское, сирийское, месопотамское и палестинское наречия ново-арабского языка; общ. — общеарабский; Ǧr, Ǧn — арабские говоры кишлаков Ǧåġarḭ и Ǧeḭnaṳ.

Н. Б. — М. И., Записки, V — Н. Бурыкина и М. Измайлова. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и кишлака Джейнау Кашка-Дарьинского округа Узбекской ССР. ЗКВ, т. V, Л., 1930, стр. 527—549.

«одну хорошую шкуру тебе дам» (тексты, стр. 271, 22—3); с другой стороны, здесь отсутствует окончание an: в противоположность месопотамскому (напр. marḥaban, «guten Tag»; řáṣban «mit Gewalt»; ábadan «niemals»; ср. Meissner, ibid., XXVII) и подобно бедуинскому (ср. Wallin в ZDMG, XII, 674) говорят marḥabå̄ и т. д.; обращают на себя внимание также формы ж. рода мн. числа и II л. ед. числа в глаголе, повелительное наклонение недостаточных глаголов (imš, ibk, вм. imši, ibki; ср. Socin, Diwan, III, 171) и т. д.

1 Иначе они сохранили бы характерные черты исключительно городской сирийской и месопотамской речи.

2 Ср. Н. В. Юшманов, ibid, стр. 76.

(Н. В.) Юшманов — Н. В. Юшманов. Арабское наречие Советского Востока. Культура и письменность Востока, кн. X, М., 1931, стр. 76—84.

(H. S.) Nyberg — Le Monde Oriental, vol. XXIV, fasc. 1—2, 1930, pp. 121—126 (рецензия на ЗКВ, т. V, 1930).

(J. N.) Bahoshy — A Practical System of Learning Colloquial Arabic as spoken in Mesopotamia, Baghdad, 1918.

L. Bauer — Das Palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters und des Fellachen... Dritte, verbesserte Auflage, Leipzig, 1913.

(W. H. T.) Gairdner — The Phonetics of Arabic. A Phonetic Inquiry and Practical Manual for the Pronunciation of Classical Arabic and of one Colloquial (the Egyptian), Oxford, 1925.

(B.) Meissner — Neuarabische Geschichten aus dem Iraq. Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. von Friedrich Delitzsch und Paul Haupt, Bd. V, Leipzig, 1906, SS. I—LVIII, 1—148.

(E.) Mattsson — Études phonologiques sur le dialecte arabe vulgaire de Beyrouth. Archives d'Études Orientales publiées par J. A. Lundell, vol. 1, Upsala, 1911.

(A.) Socin, ZDMG, XXXVI — Der arabische Dialekt von Mōṣul und Märdin, ZDMG, Bd. XXXVI, 1882, SS. 1—53.

(A.) Socin, Diwan — Diwan aus Centralarabien. Gesammelt, übersetzt und erläutert von —. Hrsg. von Hans Stumme. Bd. 1—3, Leipzig, 1900—1901.

(W.) Spitta — Grammatik des arabischen Vulgärdialectes von Ägypten, Leipzig, 1880.

Wallin, ZDMG, XII — Bemerkungen über die Sprache der Beduinen. ZDMG, Bd. XII, 1858, SS. 666—675.

Остальные сокращения могут быть поняты без труда.

Публикуемые ниже материалы записаны в кишлаке Ğågarį̂ Ахталабадского (бывш. Гиждуванского) района Узбекской ССР. Арабы этого кишлака на ряду с арабским знают таджикский и узбекский языки, но между собой говорят исключительно по-арабски. В какой степени распространено употребление арабской речи в Ğågarí, видно из того, что в Бухаре я встречался с лицами, узбеками, которые, работая продолжительное время в кишлаке Ğågarį̂, вынуждены были научиться арабскому. Речь кашка-

дарьинских арабов из кишлака Джейнау джӑгаринцам непонятна, хотя обычным разговорным языком для тех и других является арабский. Влияние иностранных языков на Ğr чувствуется не в такой уж степени, как этого можно было ожидать. В области звуков это влияние сказывается в прибавке двух иноязычных звуков p и č (ср. Н. В. Юшманов, 77),[1] в ослаблении артикуляции эмфатического ص ṣ и отчасти ط ṭ и в изменении артикуляции исконных арабских междузубных ث и ذ (ср. Н. В. Юшманов, ibid., 77).

В настоящее время в Ğr имеются, по нашим наблюдениям, следующие звуки.

Согласные

Лабиальные b, ƀ, p, m, u̯. Губной b образуется в Ğr значительно мягче, чем обычное арабское ب, и легко теряет звонкость не только в соседстве с глухими согласными, как в сирийском ƀtaʿrif 'tu sais', ƀšarṭ 'inn 'à condition que', kitƀ, sg. ktab 'livre' (E. Mattsson, 12), но и после гласного или звонкого согласного: haraƀ هرب 'убежал', dahaƀ ذهب 'он отправился', ğiƀtah 'ты привел её' и т. д. В таких случаях ƀ является типичным представителем mediae soufflées (ср. E. Mattsson, 11). При этом следует отметить, что b не всегда (в конце слова) произносится как ƀ. Установить причину этого разнообразия, почему, напр., имеем, с одной стороны, haraƀ, но с другой — ğīb, не представляется возможным. Для точного исследования требуется приток материала. — p, придыхательный смычный согласный, произносится наподобие персидско-таджикского پ и в большинстве случаев встречается в иноязычных словах, как pei̯ğamƀar = перс.-тадж. پیغمبر 'пророк'. В отдельных случаях p появляется в результате дальнейшего заглушения ƀ: b > ƀ > p; — m, лит. م; — u̯, не ярко выраженный билабиальный согласный, а несколько приближается к лабио-дентальному v, в особенности перед гласными i, e, но так как в сочетании с другими гласными и в соседстве с согласными он все еще сохранил билабиальность, мы его условно везде передаем через u̯.

Лабио-дентальный щелинный f с тенденцией к ослаблению артикуляции. *Дентальные:* a) *смычные* t, d, đ. В Ğr t < ت; кроме того, в конце слова, иногда в соседстве с n или глухими согласными ṭ ط > t: ḥāi̯it حائط 'стена'; antá اعطا 'дал' и т. п. Восстановить в таких случаях *ṭ* ط, как это делает H. S.

[1] Эти звуки встречаются и в исконных арабских словах (так же как и в других диалектах), но их развитию могли способствовать окружающие языки (в смысле заглушения конечных звонких согласных и т. д.).

Nyberg,[1] нет необходимости; — d < د и ذ (напр.: dahaƀ ذهب 'ушел', ḫadāh اخذه 'взял то', hada هذا 'этот' и т. д.;[2] — đ, подобно ƀ, появляется в соседстве с глухими согласными или в конце слова:[3] u̯alđ, ḳaʿađ и т. д. b) *щелинные* s, z, при этом не только s < س, но и s < ث (kasīr كثير 'много', в Ǧr также 'большой', salās ثلاث 'три', ḥadīs حديث 'рассказ', isnēi̯n اثنين, اثنان 'два' и т. д.). Любопытный случай, когда глухой междузубный ث > s, а звонкий ذ > د. В Ǧn, по нашим наблюдениям, ذ > z; в Ǧr z < ز, ض, ظ, реже ذ; zarab||zaraƀ ضرب 'ударил', zaḥak кл. ضحك 'смеялся'; ğēz кл. غيظ 'гнев'.[4]

Из *веляризованных альвеолярных* сохранился только a) *смычный* ṭ ط с тенденцией к изменению в t в конце слова и в соседстве с другими согласными[5] и b) щелинный ṣ ص с сильным ослаблением артикуляции.[6]

Альвеолярные š, n, r; при r замечается ослабление голоса.

Палатальные: a) *аффрикаты* č, ğ; при этом č появляется не только в иноязычных словах, как čōl 'пустыня' (ср. узбекское cөl 'безводная степь, пустыня'), но и в результате заглушения исконных арабских звуков, напр.: uču < وجهه 'его лицо'; b) *щелинный* i̯.

Палатализованный латеральный l произносится значительно мягче французского или немецкого l и перед гласными ī, e, приближается к i̯, что иногда приводит к его утрате.

Велярные: a) *смычные* k, g; g < ق (giddāmu < قدامه). В Ǧr иногда g < k в результате ассимиляции последующему согласному (magƀūs < مكبوس 'наполненный'); б) *щелинные* ḫ خ и ġ غ.

Язычковый ḳ ق (глухой). Первичный ق в Ǧr > g и ḳ,[7] как в некоторых наречиях месопотамского.

Фарингальные ḥ ح и ʿ ع полностью сохранили старую артикуляцию.[8] При этом ع > ح в конце слова или в соседстве с глухими согласными. Явление закономерное, если вспомнить, что «ʿ est le correspondant vocalique

[1] Le Monde Oriental, vol. XXIV, fasc. 1—2, 1930, pp. 121—124.

[2] С другой стороны, встречаются в Ǧr же случаи ذ > z, напр.: izin < اذن 'уже', zēi̯l ذيل и т. д.

[3] Но не всегда, ср. выше, относительно ƀ.

[4] Примеров z < ز, как естественных, не приводим.

[5] См. выше.

[6] Ср. Н. В. Юшманов, 77.

[7] Н. В. Юшманов, 77—78.

[8] В противоположность Н. В. Юшманову (стр. 77). В таких случаях, как ḳaʿadet', 'слышен отчетливо, и начертание ġaadit, которое встречается у Н. Б. — М. И., является следствием неумения слышать арабские звуки (ср. Н. Б. — М. И., стр. 535).

de ḥ» (Mattsson, p. 44) и что «if ʿ is unvoiced, ḥ is found to result» (Gairdner, p. 28).

Глоттальные ʾ, h. При этом ʾ (хамза) в Ğr встречается в иноязычных словах, редко в арабских (как, напр., в отрицательной частице laʾ). Вместо ʾ в Ğr обычно слышен *слабый приступ* (leiser Einsatz); иногда ʾ > i̥.

Гласные

A. *Краткие гласные.* a, обычное a, употребляется большею частью в соседстве с задненёбными и эмфатическими, а также с губными и r: ḥaṭab 'дрова', ḳaʿaď 'уселся', ṣabī 'юноша', kabīr 'старший, большой' и т. д., но встречается в сочетании и с другими согласными: ḳatal 'он убил', u̯alaď 'сын', ḳūlah 'скажи' и т. п.

å — среднее между a и o.

æ — среднее между a и e.

e — чистое (закрытое) e.

ẹ — среднее между e и и.

i — чистое и

i̥ — зычное и, приближается к русскому ы, обычно употребляется в соседстве с ʿ айном.

ə — чистый голос, подобен армянскому ը.

o — чистое (закрытое) o.

ö — палатализованный звук o.

u — чистое у.

ü — палатализованный гласный, средний между у и и.

B. *Долгие гласные.* Значение количества в Ğr понизилось, как правильно отметил Н. В. Юшманов (стр. 78), но разница между долгими и краткими гласными еще существует. Так, арабы Ğr строго отличают nahar 'река' и nahår 'полдень, день'. С другой стороны, в Ğr первичное ā > å, ō, ǣ, a, напр. ḳål < قال; kōi̯in < كائن; ḳǣi̯ina < كائنة; ras < rās < raʾs رأس; hada < هذا и т. д. В большинстве случаев ā > å, иногда вследствие дальнейшего затемнения слышится настоящее ō.[1] Установить с точностью, в каких случаях ā > å и когда ā > ō, в настоящее время не представляется

[1] Изменение ā в å и ō можно объяснить влиянием таджикского языка, где, как известно, * ā произносится почти как ō и в современной латинизованной транскрипции так и передается через o. В выходящей в Бухаре таджикской газете можно видеть начертания: *Buxoro* и даже proletori, Poris и т. п. Поэтому нет ничего удивительного, что у Н. Бурыкиной и М. Измайловой встречаем bot < باد, domot < داماد, gozi < قاضى и т. п., отмеченное H. S. Nyberg'ом (стр. 121).

возможным. Мы старались с точностью записать везде å (< ā) и ō (< ā) и так и передаем их в публикуемом тексте; — ǣ (< ā) появляется очевидно вследствие имāле, но опять-таки трудно сказать, почему, напр., в одном случае имеем kōi̯in < كاين, а в другом kǣi̯ina < كاينة; не влияние ли ударения?

Кроме указанных звуков в Ǧr встречаются долгие гласные: ō, ȫ, ū, ṳ̄, ī, ē, качественно соответствующие указанным выше кратким гласным.

С. *Дифтонги*: ai̯, ei̯, au̯; ēi̯,[1] ōu̯;[1] при этом необходимо отметить, что ai̯, ei̯, ēi̯ < ai̯; au̯, ōu̯ < au̯. Первичный ai̯, кроме того, может дать i (< e < ē < ēi̯), как, напр., zin < زَيْن; *au̯ в ударяемом слоге очень часто > ōu̯, иногда ō: i̯ōu̯m < يوم; zōǧ < زوج; в неударяемом слоге au̯ часто > u̯: sūda < سودا, ǧūᶜån < جوعان; ii̯ < i̯i и i̯ä (i̯ikūn < يكون, i̯iktil < يقتل).

Ударение в Ǧr предпочитается на первом слоге с конца. Сохранению этого старого порядка способствовали, очевидно, окружающие языки, таджикский и узбекский. Как и в других диалектах, ударяемые гласные встречаются в Ǧr и на втором месте с конца. Вообще для Ǧr можно применить данные Wetzstein'ом[2] правила для бедуинских диалектов с некоторыми изменениями. В односложных словах ударение встречается в том случае, если они употребляются самостоятельно.[3] В служебных односложных словах ударение отсутствует.[4]

Ударение в Ǧr обычно стоит на первом слоге с конца, если этот слог долгий (открытый, с долгим гласным или вдвойне замкнутый с кратким гласным):[5] ǧūᶜ ǻn, ṭaᶜ ǻm, i̯ḥmår, kasír, kabír mibíḥ, ḥai̯i̯etéi̯n, isnei̯netéi̯n, mu̯akkilín, zaḥákt, zarǻƀt, ǧau̯harí, ṣabí, ǧågari̯ и т. д.

В двухсложных словах с краткими гласными заметно колебание: С одной стороны, имеем u̯álađ, ḥáṭaƀ, náhar, с другой — ḥadáh, izín, šaᶜár, ƀahár, хотя nomina sägolata со вторичным кратким гласным на первом месте с конца предпочитают ударение на втором слоге:[6] ẓåfir ظفر, ẓåhir ظهر, báṭən بطن и т. д. Если с указанными словами тесно связано другое слово, ударение может перейти на первый слог; так мы слышали náhar и nahár (в выражении nahár-mi nahår 'река или день?').[7]

1 С узким призвуком, как это отмечено B. Meissner'ом (ibid., р. X) для месопотамского; ср. также Н. В. Юшманов, 79.

2 Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wüste. ZDMG, XXII, 179 sq.

3 Ср. Wetzstein, ZDMG, XXII, 179; Meissner, XIII.

4 Wetzstein, ibid., 182; Meissner, XIII.

5 Ср. Wetzstein, ibid., 180.

6 Ср. Wetzstein, ibid., 182; Socin, Diwan, III, 116, 229.

7 Socin, 116; Wetzstein, 116.

Ударение в Ǧr часто стоит и на гласном элементе нунации fađ ġildín zin 'одна хорошая шкура'.

Если второй слог с конца долгий, при условии, что первый слог краткий, ударение будет на втором слоге:[1] kåi̯in, giddā́mu, ḫåtəm, ḫāi̯it (< حايط), íktiƀ, úzruƀ и т. д.

На третьем слоге с конца ударение встречается редко. Очень часто в трехсложных словах с краткими гласными ударение стоит на первом слоге с конца, очевидно под влиянием таджикского и узбекского языков.

Текст и перевод

Публикуемый ниже текст записан в кишлаке Ǧåġari̯ Гидждуванского района, со слов старика-колхозника 67 лет из племени saᶜnåní̯ Bōu̯o u̯ald́ i̯oldåš. Затем текст был проверен у одного молодого пастуха 21 года из того же кишлака и того же племени I̯orikúl u̯ald́ ḳambár'а; поправки его приводятся в примечаниях.[2] Печатаемая ниже сказка по содержанию несколько сходна со сказкой, опубликованной Socin в ZDMG, XXXVI, 28—44.

Fađ ḥáṭab-mibíḥ[3] kōi̯in: Fađ u̯alađ kån ᶜændu. Dok fi čöl[4] ġadák, ubrūḥu nå-ḫū́š ṣår. [L]i[5] u̯aladu ḳål: „ana nå-ḫū́š ʻænni,[6] hint hamát i̯ḥmår uḫdu, ḥēi̯t uḫdu, i̯åġđ, ḥaṭab[7] ǧīb.[7] fi maḳau̯u̯ar u̯ud[d], bīᶜu, fađ ṭaᶜåm ǧīb,[7] nåkel». U̯aladu ġadák, i̯ḥmår ḫadáh, ḫēi̯t ḫadah, alḥaṭab[7] ḫadah, ġadak. Min giddā́mu ḥai̯i̯etēi̯n ṭalaᶜǽn, u̯aḥda bei̯za, u̯aḫda sūda, isnēi̯netēi̯n mitᶜā-rakín. sūda i bei̯za ḳaríb[7] ta-tiḳtila; hamát zaġír zarab-issūda

Был один продавец дров. Одного сына имел он [= один сын был у него]. Тот [сын] в степь пошел. Сам он больной сделался [= заболел]. Своему сыну сказал: '«я не здоров, ты этого осла возьми, нитку [= веревку] возьми, иди, дрова принеси, на базар отнеси, продай их, одну [= какую-либо] пищу принеси, будем есть». Сын его пошел, осла взял, веревку взял, дрова взял, ушел. Перед ним две змеи предстали, одна белая, одна черная, обе сражались. Черная белую чуть было не убила: этот юноша, ударив черную, убил ее. Белая сказала [что]: «от меня что ты хочешь?» Юноша ответил: «что у тебя?» Она сказала: «иди, пойдем, ты за мной

[1] Wetzstein, 183.

[2] Сокращенно: I̯or. [3] Знак - указывает на то, что два слова, соединенные этим знаком, тесно связаны друг с другом. [4] I̯or: ǧazīra. [5] Bōu̯ō: i; I̯or.: li. [6] I̯or.: nå-ḫūš-inni. [7] Sic!

ḳatalah. Bei̯za ḳålet-ki «minni ēš midrīđ?» Zaġīr ḳål: «hinti ēš ᶜænki?» Díki ḳålet: «imš, ta-nåġdi, hint min u̯årai̯ taᶜǻl, ana bint påšå maṣår». Li abūha ḳålet-ki hamat zaġīr ilai̯ ḫallaṣni; fađ urūsa kånet. ilai̯ kån ḳarīb ḳātletinni, ana kam-mamūt.[1] I[2] hamat zaġīr intu min i̯idak ḫåtəmak, intu». Antah, ḫadah, ġadak, fi bei̯t ġadák, li abūh ḳål-ki «bint amīr ilai̯ uḫudáh».[3] Abūh ḳål-ki «dok amīr i̯ikūn, ana ğūᶜån, bintu ilai̯ ma i̯intia». ḳål-ki:[4] «i̯oġđ, ḳūl». Miḫåf min u̯aladu ġadak, ḥidir-ḥāi̯it[5] ḳaᶜađ. Ḥidir ḥāi̯it amīr fađ i̯ōm ḳaᶜađ,[6] «hat amīr i̯ikūn, agal i̯ismaᶜ[7] miḳtilni».

Hamali̯ōm ḳaᶜađ, u̯aładu ḳål-ki «ēš ḳult, amīr ēš ḳål?» Abūh ḳål-ki «ḳål: saḥrīi̯á taᶜål». ᶜü ġadak, ḥidir-ḥāi̯it amīr ġadák, ḳaᶜađ, šims ġåbet, lei̯l ṣår. ᶜu ğak i bei̯tu. U̯aladu ḳål: «amīr ilēi̯k ēš ḳål?» Abūh ḳål:[8] «ᶜü saḥrīi̯á taᶜāl». Ġadak i[9] ḥidir-ḥāi̯it. Amīr ḳål li u̯ezīru-ki «salas[10] i̯ōmåt[10] miḳᶜađ, miåġdi, i[11] handok ğību». Ġābūh,[10] ğak, amīr ḳål-ki «hint ēš midrīđ?» Dok ḳål-ki «ana maḫåf min u̯aladi miḳūl-ki «bint påšå ilai̯ uḫud intah». — Ana maḫåf

[1] Sic! I̯or.: kå̄n mamūt. [2] I̯or.: li. [3] Sic! [4] I̯or доб.: u̯aladu ḳå̄l-ki. [5] Sic! [6] I̯or. доб.: ḳå̄l. [7] I̯or.: i̯ismah. [8] I̯or. доб.: ḳå̄l-ki. [9] I̯or.: li. [10] Sic! [11] I̯or.: li.

следуй, я — дочь паши».[1] Своему отцу сказала [что]: «этот юноша меня спас. Одна нечестивица была, меня чуть было не убила, я была умирающей [= я умирала]. Этому юноше дай с твоего пальца перстень твой, дай». [Паша] дал, [юноша] взял [его], пошел, домой пошел, своему отцу сказал [что]: «дочь эмира мне дай [= возьми]». [Его] отец сказал [что]: «он — эмир, я голодный [= бедняк], свою дочь мне не даст». [Сын его] сказал [что]: «иди, скажи». Испугавшись своего сына ушел, у стены сел. У стены эмира один день[2] сидел, [сказал]: «это — эмир, если услышит, убьет меня».

В этот день сидел, сын его сказал [что]: «что ты говоришь, эмир что сказал?» [Его] Отец ответил [что]: «сказал: завтра приходи».[3] Еще ушел, к стене эмира ушел, сел, солнце зашло, ночь наступила. Опять пришел домой. Сын [его] сказал: «эмир тебе что сказал»? [Его] отец ответил: «завтра еще приходи». Ушел к стене. Эмир сказал своему визирю [что]: «три дня сидит [= садится?], уходит, этого приведи». Привели его, пришел.

[1] På̊šå̊ в среднеазиатском арабском употребляется в значении 'царь, падишах'. [2] Однажды? [3] Хотя рукопись в порядке, но несмотря на это текст здесь получается несвязный, вследствие того что араб, со слов которого записана сказка, не умел как следует рассказывать.

minnak[1] aḳūl. — ḳūl, ḳål-ki̯ «bintak li u̯aladi intah». Påšå ġēzu ǧak. U̯azīru ḳål ki «ġēzak la i̯iǧi, i hat fađ ḥadīs nənḳūl. I bint miḳūlū́n: «fađ ḥadīsin[1] kasīr nənḳūl i handok, mii̯åġdi».[2] I påšå ḳål: «ḳūl: kul[l] mæn mirīdah, hamát ḥū́z migbisu[3] ašrafīi̯á:[4] bint ilai̯h mantiah». Påšå ḳål: «fađ ḥū́z igbisu[3] ašrafīi̯á[4] i bēi̯nátu fađ gau̯harī šam^c ik^{c}ađ, ku^{c}uđ». — Hai̯r, ḳål. Harab, ǧadák. U̯aladu ḳål: «ēš ḳult?» Abūh ḳål-ki «bēi̯tak i̯iḥtarak, sahrīi̯á miḳtilna påšå». U̯aladu ḳål: «Lí miḳtilū́nna?» Abūh ḳål i[5] u̯aladu: «påšå ḳål-ki «fađ ḥū́z igbisu[6] ašrafīi̯á[7] i[8] bēi̯nātu fađ gau̯harí šam^c[9] ik^{c}ađ, hint min ēṣāb tilḳii̯áh?» U̯aladu ḳål: «ana malḳii̯ah». ḳåm, i̯idu ḥasalu, uču ḥasalu, rak^{c}atēi̯n ṣa[l]la ṣa[l]láha bə ḥaḳḳ^u sulei̯mån pei̯ġambár ḳål, ḥåtim lafatu, ərba^c[10] mu̯u̯akkilīn ǧaū́, i zaġīr ḳålū́: «rīđ». Ḳål-ki «fađ ḥū́z[11] ašrafīi̯á[12] tigbisū».[13] ḳålū́: «minna i̯ilḥáḳ»

Эмир сказал [что] «ты что хочешь?» Тот сказал [что]: «я боюсь сына [который] говорит [что] „дочь паши для меня возьмите дайте её“». — Я боюсь тебя, говорю. — Скажи, говорит [что] «дочь твою моему сыну дай». Паша разгневался [=гнев его пришел]. Его визирь сказал [что] «не гневайся [=пусть гнев твой не придет], этому одну историю [=слово] скажем». Дочери говорят: «одну большую историю [=слово] скажем этому, уйдет». [Визирь] паше говорит: «скажи: каждый, кто желает её, [пусть] этот хауз наполнит золотом, дочь ему отдам». Паша сказал: «один хауз наполни золотом, в середину его одну драгоценную свечу положи, садись». Хорошо, сказал, убежал, ушел. Сын его спросил: «что ты скажешь?». Отец ответил [что] «дом твой сгорит, завтра убьет нас паша». Сын его спросил: «почему убьют нас?». Отец ответил сыну: «паша сказал [что] «один хауз наполни золотом в середину его одну драгоценную свечу положи; тебе откуда достать её?» Сын [его] ответил: «я достану её». Встал, руки [=руку свою] умыл, лицо [свое] умыл, два рак^{c}ата сделал [=молитвой двух рак^{c}атов помолился] во имя Сулейма̄на пророка воззвал, кольцо повернул, четыре уполномоченных пришли, юноше сказали: «пожелай». Он сказал [что] «один хауз золотом наполните».

1 Sic! 2 Ior. доб.: U̯azīru. 3 Ior. доб.: min ašrafīi̯āt. 4 Ior.: ašrafīi̯āt. 5 Ior.: li. 6 Ior. доб.: min. 7 Ior.: ašrafīāt. 8 Sic! 9 Ior. čirāġ. 10 Ior.: ərbah. 11 Ior. доб.: min. 12 Ior.: ašrafīi̯āt. 13 Ior.: tigbisūnu.

ərbaᶜ[1] gauharí šamᶜ[2] fi ərbaᶜ[3] kunǧakāt kö[ᶜ]ᶜödūnín».[4] kålu: «hair». Uaktin ṣallā[5] ualadu i abūh kål-ki: «kūm, i amīr kūl: hūz min ašrafiiā[6] magbūs, ta-iohdūna». Abūh ᶜada i[7] hūz[6] ᶜaiián, šāfa-ki magbūs, i amīr ġadák, kål. Amīr i[8] uazīru kål. ᶜaiian-ki hūz magbūs[9] sit gauharí šamᶜ.[10] Kullu šāfū. Uazīr i[11] amīr kål-ki: «hūz magbūs[12] ašrafīiá.[13] Hat ēṣāƀ lakāha? Uazīr kål: «Alla åntínu,[14] intah bintak, ašrafīiá[15] uhúda».[16] Antāha bintu, kål: «ana antēita, fađ, köškin zin kabīr i binti suuūh». Ġadak abūh, i ualadu kål-ki «köškin zīn taiihiđ. Dok, ualadu håtəm lafatu, bə hakkᵘ suleimån peiġambár kål, ərbaᶜ[17] muuakkilīn ǧaú. Kūl ilēina, ēš mitkūl?» Kål-ki «i köšk amīr ᶜaiianú, min köšk ’amīr zin taiikūn». Hamal-ᶜašīia ərbaᶜ-um[18] ǧabúh, ka[ᶜ]ᶜadúh. Bintu ᶜirs sauá. Antáha, hadáha, i[19] bēit ka[ᶜ]ᶜadah, ubrūhu faras rakabu, ġadák fi čöl,[20] al-šikår» ġadák, åhú zarabah, min giddāmu» fađ mara talaᶜæt. I mara kål: «ēsāƀ[21] toġdín?» Mara kålet:

Они ответили: «от нас будет иметь место [=мы сделаем]. — Четыре драгоценных свечи в четырех углах положите». Они ответили: «хорошо». Утром [=на другой день] сын отцу сказал [что]: «вставай эмиру скажи: хауз золотом наполнен, пусть возьмут [его]». Отец [его] побежал к хаузу, посмотрел, увидел, что наполнен; к эмиру пошел, [рас]-сказал. Эмир визирю сказал. [Он] посмотрел [и увидел] что хауз наполнен шестью драгоценными свечами. Все они видели. Визирь эмиру сказал [что] хауз наполнен золотом. «Это откуда произошло?» Визирь ответил: «Аллах дал ему, дай ему твою дочь, золото возьми». Дал ему свою дочь, сказав: «я дал её, одну хорошую, большую башню для дочери моей постройте». Ушел [его] отец сыну сказал, чтобы башню хорошую построил. Тот юноша перстень повернул, во имя Сулеймана пророка воззвал, четыре уполномоченных пришли. «Скажи нам что ты желаешь [=хочешь]?» Он ответил [что] «на башню эмира посмотрите, должна быть лучше башни эмира». В эту ночь четверо их принесли [башню], поставили её. Дочери своей свадьбу сделал [он]. [Эмир] дал её, [юноша] взял её, в свой дом усадил, сам он на лошадь сел, ушел в степь, на охоту ушел, газель подбил [=ударил], перед ним одна женщина предстала. Женщине сказал [он]: «куда идешь?»

[1] Ior.: ərbah. [2] Ior.: čirāġ. [3] Ior.: ərbah. [4] Ior.: köᶜódín. [5] Ior.: uahtín ṣallā. [6] Ior.: ašrafīiāt. [7] Ior.: alhūz (sic!). [8] Ior.: li. [9] Ior.: доб. min. [10] Ior.: čirāġ. [11] Ior.: li. [12] Ior.: доб.: min. [13] Ior.: ašrafīiāt. [14] Sic! Ior.: antāha. [15] Ior.: ašrafiiāt. [16] Sic! [17] Ior.: erbah. [18] Ior.: ərbaᶜitum. [19] Ior.: li. [20] Ior.: ǧazíra. [21] Sic!

«ana ğūᶜån ᶜænni,[1] ḫubza marīd måkel». Ḳål: «imši». Giddām maratu i[2] bēi̯tu ğābáh. Maratu ḳålet-ki «lí hai̯ mara ğiƀtah? Zōğa ḳål-ki «hinti mara u̯aḥat-ki: snēi̯n,[3] hinti u̯e hamai̯ mit-ḥaddasín, mitḳūlín, tikᶜadín». Bint påšå ḳålet-ki «hai̯ mara zína må-hi». U̯brūḥu ġadák fi šikår. Fađ[4] i̯ōm, i̯ōmēi̯n, salās i̯ōmāt ᶜabar mim-bēi̯ná[t].[5] Ṣúhur påšå ġadák fi šikår, maratēi̯n tilín fi bēi̯t. Mara ḳålet-ki «hinti bint påšå kunti; hat u̯alđ-ḥaṭab-mibīḥ kån; hinti lí had mim-fōḳ faras mišīlínu, toḫdínu? hinti bint påšå itkūnín. Haššúġul[6]-ki zin må hū. ḳålet «ēs-ṭūr[7] ḫadáki?» Diki, bint ḳålet: «ana lá-máᶜrif, inšidi minnu». «ᶜašīi̯a ğak, u̯brūḥu mim-fōḳ-faras[8] nazal. Kul[l]-i̯ōm maratu giddāmu kån tiṭlaᶜ,[9] hal-i̯ōm ma talaᶜæt aṣṣabī. Ḳalbu asu̯áđ ṣår. Faras šaddáh, ġadak bēi̯tu, daḫal bēi̯tu, giddām mára nām. Nuṣṣən-lēi̯l[10] mara ḳålet ki «ilai̯ ēš sau̯ēi̯t ḫadḗi̯đni?» Zōğa ḳål-ki «hinti ēš mitḳūlín?» U̯aḥda ẓaraba. Baket, kasír baket. Ḳål: «la tiƀkín, ana ilēi̯ki -maḳūl. Ḳål-ki «ana u̯alđ-ḥaṭab-mibīḥ kunt, abūi̯ nå-ḫūš ṣår,

Женщина ответила: «я голодная, хлеба хочу есть». [Он] сказал: «иди». К своей жене в дом свой привел её. Жена [его] спросила [что]: «почему эту женщину привел?» Муж [её] ответил [что]: «ты одна женщина, вдвоем, ты и эта будете беседовать, разговаривать, сидеть вместе». Дочь паши сказала [что] «эта женщина нехорошая». Он сам отправился на охоту. День, два дня, три дня прошло между тем. Зять паши пошел на охоту. [Обе] женщины оставались дома. Женщина сказала [что]: «ты дочерью паши была; этот был сын продавца дров; почему ты этого сверх лошади снимаешь, берешь? ты — дочь паши. Это — дело, нехорошее». [Затем] сказала: «каким образом взял тебя?». Та, дочь [паши] ответила: «я не знаю, спроси у него». Вечером пришел [сын продавца дров], сам с[верх] лошади слез. Каждый день его жена навстречу выходила, в этот день не встретила юношу. Сердце его черное стало. Лошадь привязал, пошел домой, вошел в свой дом, с женой поспал. В полночь жена спросила [что]: «меня почему ты взял?» Её муж ответил [что]: «ты что говоришь». Раз ударил её. [Она] заплакала, много плакала. [Он] сказал: «не плачь, я тебе скажу». Сказал [что]: «я сын продавца дров был, мой отец больной сделался, мы были голодные, отец мой сказал

1 I̯or.: ğūᶜåu-inni. 2 Sic! 3 I̯or.: isnēi̯-netēi̯n. 4 I̯or.: fad. 5 I̯or.: min bēi̯nātin. 6 I̯or.: hatšuġul. 7 I̯or.: объяснил: ēš-ṭūr i̯o ēš-sau̯á farḳ ma ʿəendu «ēš-ṭūr или ēš-sau̯á разницы нет в нем». 8 I̯or.: min fōḳ faras. 9 I̯or.: tiṭlaḥ. 10 I̯or.: nuṣṣəllēi̯l.

naḥna ǧū^{c}ån kunna, abūi̯ ḳāl-ki «i̯åǧđ, ḥaṭab ǧīb, bī^{c}u». Ġadēi̯t, čōl[1] ġadēi̯t, min giddāmi hai̯i̯etēi̯n tal^{c}ǣn,[2] u̯aḥda sūda, u̯aḥda bēi̯za. sūda i bēi̯za zarabeta, ana i sūda zaraƀt, ḳataltáh. Ḥai̯i̯etin bēi̯za ḳålet: «rīđ». Ana ḳult: «inti ẹ̄š ^{c}ənki?» ḳålet: «imš». Ġadēi̯t giddām abūha. Diki bint påšå kǣi̯iná. I abūha ḳålet-ki «hama[3] ḫåtəm intu». Ilai̯ antah, ana ḫadēi̯tu, lafat[t]u, bə-ḥaḳḳ^u sulei̯mån pei̯ġambar ḳult, ərba^c[4] mu̯akkilīn ǧaú, ’hamát šuġlāt sau̯ūnín». Maratu ḳålet: «ẹ̄š šúġul i̯ikūn!» Handok mara kān missannát nǣima. Maratu ḳålet ki «handok ḫåtəm āšūfu». Min i̯idu ṭala^{c}u; «šūfu,[5] ḳål. Mara ḫadétu. I ḫilāf nāmū, al-ša^{c}ar-ras[6] šad[d]étu, nāmet. U̯akt[7] ṣal[l]ǻ zōġa ḳåm, faras rakabu, ġadak fi šikår. Hai mara ḳålet-ki «ta^{c}āi̯, binti, ana raski ašūfu». Hamán-nagīn šāftu,[8] rasa šāftu,[8] haman nagīn min ša^{c}ar ras ṣaraktu;[8] Ṭala^{c}əˀt barra, u̯ča ḫasalet. i̯idah ḫasalet. bə ḥaḳḳ^u sulei̯mån pei̯ġambár ḳålet. lafat[t]u, ərba^c[9] mu̯akkilīn ǧaú. «Kūlī, mara, ẹ̄š mitkūlín?» Ḳålet: «i[10] handok ṣabí ukzubū, min u̯asṭu fi årẓ iđfinū». Ḳazabūh[11]

[1] I̯or.: ǧazīra. [2] I̯or.: talə^{c}etin (sic!). [3] I̯or.: hamat. [4] I̯or.: ərbáḥ. [5] I̯or.: šūfa [6] Sic! [7] I̯or.: u̯aḥtin ṣal[l]å. [8] Sic! [9] I̯or.: ərbaḥ. [10] Sic! [11] I̯or.: ḳazabáh.

[что]: «иди, дрова принеси, продай их». Я пошел, в степь пошел, передо мной две змеи предстали, одна черная, одна белая. Черная белую ударила, я черную ударил, убил её. Белая змея сказала: «пожелай». Я сказал: «у тебя что?» [Она] сказала: «иди». Я пошел к её отцу. Оказывается она была дочь паши. Своему отцу сказала [что] «этот перстень дай ему». [Он] дал мне его, я взял его, повернул, во имя Сулеймана пророка воззвал, четыре уполномоченных пришли, эти дела сделали». [Его] жена сказала: «какое дело!» Та женщина слушала спавшая. [Его] жена сказала [что] «этот перстень посмотрю». С руки [= с пальца] своего снял его: «посмотри», сказал. Женщина взяла то; потом поспали, [она] в волосы головы укрепила его [= перстень], [и] заснула. Утром [= на другой день] ее муж встал, на лошадь сел, отправился на охоту. Эта женщина сказала [что]: «приди дочь моя, твою голову посмотрю». Этот перстень увидела, голову увидела, этот перстень из волос головы украла. Вышла наружу, лицо свое умыла, руки свои [руку свою] умыла, во имя Сулеймана пророка воззвала, повернула его, четыре уполномоченных пришли. «Скажи, женщина, что ты говоришь» [= хочешь]. [Она] ответила: «этого юношу схватите, от пояса [= по пояс] в землю закопайте». Схватили его, закопали.

đafanūh.[1] «Hamát kōšk šīlúh, giddām i inglīs påså u̯ud[d]ūh». Hamai̯ mara i adrūn kōšk ḳaᶜadet, bint amīr i adrūn kōšk ḳaᶜadet; fađ kalƀ kōn ᶜænda, bint amīr fađ bazūna kōn ᶜənda, isnei̯n kaftartēi̯n kōn ᶜænda. Hālán talaᶜén, ġadín, kalƀ, bazūn, kaftar talaᶜǽn, ġadín rǽḥtu ḥadína, ġadín. Kaftarát ġadín, i giddām-[2]-uṣ[ṣ]abī[3] ġadín, šāfínnu,[3] mađfūn. ḥallínnu. Ṣabī ḳål-ki «bibitkin hīna?» «Ḳōšk må-hu, bibitna må-hi». I kaftarāt, i bazūn, i kalƀ ḳål-ki «i̯åġdín». Ġadín, mim-baḥár[4] ᶜabarín i kōšk šāfínnu, ġadín. Kaftarāt fōḳ bal-bei̯t ḳaᶜadín. Bint påså šāfetín,[5] ḳålet-ki «amīr mišūfkin». Fi adrūn ṣandūḳ ḥaṭṭetín. Ḳålet: «uskutín, bazūna hína?[6] kalb hínu?» Bazūna daḫalet mim bal-bēi̯t, ġat. «Dok kalƀ hīnu?[7] Bazūna kålet-ki «kalƀ fi i̯åbån nāi̯im». Ḫubza ḥa[ṭ]ṭet fi ᶜi̯dil, ḳålet: li kalb u̯ud[d], intah». Ṷaddet, anteta, ġat, i bazūna kålet: «uskuti, ƕamal-ᶜašīi̯a i̯óġdi, mūš uḳzubi, iḳtili». Lēi̯l ġat.[8] Bazūna ḳazabet, ḳatalet mūš. Kabīru ġak, ḳål: «lí tiḳtilínna?» Bazūna ḳålet-ki «fađ

[Сказала]: «эту башню возьмите, к английскому паше перенесите». Эта женщина во внутрь замка уселась, дочь эмира внутри башни сидела; одну собаку имела, она одну кошку имела дочь эмира, двух голубей имела она. Эти вышли, ушли, собака, кошка, голубь выйдя ушли. Запах его [=юноши] взяли, пошли, голуби пошли, к мальчику пошли, увидели его закопанным, откопали его. Юноша сказал [что]: «хозяйка ваша — где?» «Башни нет, хозяйки нашей нет». Голубям, кошке, собаке сказал (он) [что]: «идите». [Они] пошли, с моря пришли [=переправились] на башню посмотрели, ушли. Голуби на дверь уселись. Дочь паши увидела их, сказала [что]: «эмир увидит вас». Во внутрь сундука поместила их. Сказала: «молчите, кошка, где? где собака?» Кошка вошла из дверей, пришла. «Эта собака где?» Кошка ответила [что]: «собака в пустыне спит». Хлеба бросила в мешок, сказала: «собаке отнеси, дай его». Отнесла, дала, пришла. [Дочь паши] сказала кошке: «молчи, в этот вечер иди, мышь схвати, убей». Ночь прошла. Кошка, схватив, убила мышь. Старшая [мышь] пришла, сказала: «почему нас убиваешь?» Кошка сказала [что]: «одно большое дело произошло в отношении к вам». Мышь сказала: «скажи (это) дело, скажи [то]». [Она] ответила [что]: «один пер-

[1] Ḭor.: dafanáh; здесь Ḭor. доб.: ḳālet.
[2] Записано у меня; i giddāmu ṣabí. [3] Sic!
[4] Ḭor.: min-baḥår. [5] Ḭor.: šāftín. [6] Ḭor. доб.: bint påšå ḳålet «дочь паши сказала».
[7] Ḭor. доб.: ḳålet «сказала». [8] Sic!

šuġli[n][1] kasīr u̯åḳaḥ[2] ilēi̯kin». Mūš ḳål: «ḳūli[3] šuġul, ḳūlāh.»[3] Kålet-ki «fađ h̬åtəm fi giddām amīr, fi i̯id amīr, ġībūh, kul[l]kum azāṭ maṣīkum. Agal la tiğībūnu, maḳtilkum». Kullu[4] ġadák i[5] bēi̯tu ġadák, i̯idu šāfū, må-hu, ğak, i[6] kabīr kålū: «må-hu» kullum ğaū. Kabīrum ḳål-ki «fi ḫašmu ᶜai̯i̯an». Kålu: «ḫašmu mašdūđ». Ḳål-ki «fi ḫum sirkō zēi̯lak ḥiṭṭu, i̯åġđ, fi ənf påšå ḥiṭṭu». Fi ənf påšå zēi̯lu ḥaṭṭah. Påšå ᶜaṭas, min ḫašmu h̬åtəm u̯åḳaḥ. Ġadak mūš, ḫadah, gadak, i bazūna antah, bazūna ḫadetu. Ġat. Bibitum ḳålet-ki «i zōği intúh». Ġadū, antúh, u̯addūh, i u̯alđ-h̬aṭab-mibīḥ antúh. Ṣaḥbu ḫadáh. láfatu,[7] bəḥaḳḳᵘ sulei̯mån pei̯ġambár ḳål, ərbaᶜ[8] mu̯akkilīn ğaū, ḳålu: ḳūl, ēš midrīđ?» Ḳål-ki «kösk ğıbū». Šalúh, ğaū, i adrūnu kasīr mara kånet. U̯alđ-h̬aṭab-mibīḥ ḳål i kaftarāt: «iogdín, i bibitkin ḳūlín-ki «ana i påšå måḫdu, ᶜi̯rsu ta-i̯isah, kasīr mara ğat, ana hamal-lēi̯la ᶜi̯rs masu». Ḥarīm kul[l]hin[9] ḫabbarín,[10] kul[l]hin[11] ğan. Kaftarāt ġadín, li[12] u̯alđ-h̬aṭab-mibīḥ ḳålín: hamal-lēi̯la[11] i adrūn kösk kullhin[11] miğín». Ḳåm, rakᶜatēi̯n ṣa[l]la ṣa[l]lāha, bə ḫaḳḳᵘ sulei̯mån

стень у эмира, в руках [=в руке] эмира, принесите его [и] всех вас сделаю свободными. Если не принесете, убью вас». Все ушли, в его [эмира] дом ушли, руку его посмотрели, — нет его, пришли к старшему, сказали: «нет его». Все они пришли. Старший их сказал [что]: «в рот посмотрите». [Они] ответили ему: «рот его закрыт». [Старший] сказал [что]: «в кувшин с уксусом хвост твой опусти, иди, в нос паши всунь его». [Мышь] в нос паши хвост свой всунула. Паша чихнул, из его рта перстень выпал. Ушла мышь, взяв его, ушла, кошке дала то [перстень], кошка взяла его. Ушла. Хозяйка их сказала [что]: «моему супругу дайте его». Ушли, дали принесли [то], сыну продавца дров дали [то]. Хозяин взял его, повернул, Сулейманом пророком поклялся, четыре уполномоченных пришли, сказали: «скажи, что ты желаешь?» [Он] сказал [что]: «замок принесите». Подняли его, пришли, внутри много женщин было. Сын продавца дров сказал голубям: «идите, вашей хозяйке скажите [что]: «я пашу возьму, свадьбу сделает, много женщин пришло, я в эту ночь свадьбу сделаю». Всех женщин известили, все они пришли. Голуби ушли, сыну продавца дров сказали: «в эту ночь внутрь замка все они придут». [Он] встал, молитвой двух ракᶜатов помолился, Сулейманом пророком поклялся, перстень

1 Bōu̯ō: šuġli; I̯or.: šuġlin. 2 Sic! 3 Sic! 4 I̯or.: kullum. 5 I̯or.: li. 6 I̯or.: li. 7 I̯or. доб.: h̬åtəm lafatu. 8 I̯or.: erbaḫ. 9 I̯or.: kulin. 10 I̯or.: ḫabbaru. 11 Sic!

peiğambár ḳål, ḫåtəm lafatu, ərbaᶜ mu̯akkilīn ğaū́. Ḳålū; «ḳūl, ēš mitḳūl?» Ḳål-ki: «handok köšk u̯ei̯ marátu kul[l]hín[1] mišīlūnu». Šālūh, ğaū́, u̯aḳtin[2] ṣal[l]a daru̯åza ḫallūa, harím ᶜai̯i̯anín-ki madīna ilēi̯hin må hi. Kaᶜadín, u̯åḳafín, fi hamai̯ madīna ərbaᶜ mu̯akkilín köšk ğabūh, ğaū́. I[3] handiki mara, ḫubza kån midgit,[4] ḳazabah. Kasīr faras hamai̯ mara kögböri sau̯úa tamåm ṣåret.

Allāh akbar.

***

Ana[5] dərám ma ᶜændi.[6] Int ilai̯, intni ərbaᶜ, ḫams ašrafii̯ā,[7] marati ᶜi̥rs masīi̯a. Ana moğdi Ğågarī̯, giddām mara manām. Ana ilēi̯k šuğul masū́. Ilēi̯k mau̯dík, i hada mau̯dáh, i hada mau̯dah, ᶜi̥rs nənsū, ḫurūf samīn mazbaḫu, fađ ḫurūfin samīn mazbaḫu, fađ ğildin zin ilēi̯k mantik. L-u̯brūḫak ḫadrīiá sū, l-aḫūk u̯aḫda sū, u̯aḫda l-u̯brūḫak sū.

повернул, четыре уполномоченных пришли. Сказали: «скажи, что ты говоришь [=что ты желаешь]?» [Он] ответил [что]: «этот замок со всеми женщинами поднимите». Подняли его, пришли, утром [=на другой день] ворота открыли, женщены увидели что город не их. Уселись, встали [остались?], в этот город четыре уполномоченных замок принесли, пришли. [Сын продавца дров] эту женщину, которая хлеба просила, схватил. [Он] эту женщину сделал козлодранием многих лошадей.

Кончился. Аллах велик.

***

У меня денег нет. Дай мне, дай, четыре, пять золотых [монет], сделаю свадьбу своей жены [=женюсь].

Я пойду в Джåгары́, с женой посплю. Я тебе служу. Тебя возьму, [и] его возьму, [и] его возьму, свадьбу сделаем. Жирную овцу зарежу одну жирную овцу зарежу, одну хорошую шкуру тебе дам, себе шапку сделай, одну твоему брату сделай, одну себе сделай.

[1] Sic! [2] Ior.: u̯aḫtin ṣala. [3] Ior.: li. [4] Sic! [5] Записано только со слов Bōu̯ō u̯ald i̯oldāš. [6] Sic! см. выше, стр. 73, ʼəenni. [7] Sic!

Примечания к тексту

Страница 263, строка 1 (текста): faď (Н. Б. — М. И. -fat, fat) < fa̧rd, فرد (ср. Н. В. Юшманов, 78; Nyberg, 125), ср. бед. fa̧rd (выше, стр. 3), также М ferd (Socin, ZDMG, XXXVI, 5, 11, 15, 17 и сл.), fär(e)d (Meissner, XXVII; стр. 74, XLII, XLIII; 76, XLV и сл.), fad (Bahoshy, 13, 18, 19); — mibīḥ < кл. مبيع. В нашем наречии широко развито явление u > i, распространенное и в других диалектах арабского языка (ср. Mattsson, 89, 90); — ḥaṭab-mibīḥ 'продавец дров'. Как видно из этого выражения, старый семитический порядок status constructus'а в нашем наречии разрушен (очевидно под влиянием окружающих языков), и определяемое ставится перед определяющим. Выражение в целом воспринимается как tatpuruṣa (детерминативный композит), обычный в индоевропейских языках и чуждый семитическим (см. Юшманов, 80); — kō̤iin, причастие от глагола كان. Причастие в среднеазиатском арабском, как это уже отметил Nyberg (стр. 125), имеет большое применение и употребляется в широком значении præsens historicum; ср. М ferd-jōm kāзᵉdīn ǵemāзet lekrād فرد يوم قاعدين جماعة الاكراد «einst sass eine Kurdengemeinde bei einander» (Socin, ZDMG, XXXVI, 16, 17).

Строка 2: 'əendu < عنده, подобно большинству арабских диалектов частица عند с местоименным суффиксом имеет значение «обладания» и соответствует по значению глаголу «иметь» (Meissner, 8, VI; Socin, ZDMG, 19, 14; L. Bauer, § 87, 7; Spitta, § 176, b; De Lacy O'Leary, Colloquial Arabic... London, 49, 50; Bahoshy, 14). При изменении слова по лицам происходит инверсия, грамматический объект (косвенное дополнение), который в данном случае является логическим субъектом, выдвигается вперед и ставится в имен. падеже: bint amīr faď bazūna kån 'əenda «дочь эмира, одна кошка была у нее» = «дочь эмира имела одну кошку» (стр. 21, 11—12). Обладание в прошлом выражается с помощью عند + вспомогательный глагол كان (см. Bahoshy, 15); — dok < ذاك, употребляемое в Gr демонстративное местоимение; ср. Е duk-hâ (муж. род) (Spitta, 78), бед. ḏāk, (Socin, Diwan, III, § 66, c, стр. 93), М hadōk (Socin, ZDMG, XXXVI, 9, 16). Для жен. рода в Gr употребляется diki, Е dik-ha (Spitta, 78); бед. ḏīk (Diwan, III, § 66, c, стр. 93); čōl 'степь', узбек. cəl 'безводная степь, пустыня' (ср. Умар Ахмеджанов и Бурган Ильязов. Узбекско-русский словарь, Ташкент, 1931, стр. 83), М čōl چول «Steppe» (Socin,

ZDMG, XXXVI, 45, 11); в арабском ему соответствует по значению слово ǧazīra (см. стр. 263, прим. 4).

Строка 3: Ġadak «пошел», от ġada (< غدا «отправился рано утром») + k, сокращение, повидимому, причастной формы глагола كان: kæi̯in, kæi, kin (в языке Джейнау); kōi̯in (в Джåгары).[1] Кроме глагола ġadak нам известен еще один случай употребления указанного суффикса, именно в слове, родственном по значению с глаголом ġadak 'уходить': ǧak 'приходить'. Объяснить появление этого k влиянием узбекского или какого-либо другого языка нам не представляется возможным. Общая схема спряжения глаголов ġadak и ǧak в Ǧr такова:

ġadak	ġadū	ǧak[2]	ǧaū
ġat (< ġatt < ġadt < ġadat?);	ġadín	ǧat[2]	ǧan[3]
ġadēi̯t	ġadēi̯tu(m)	ǧit	ǧitu
ġadēi̯ti	ġadēi̯tín	ǧiti	ǧitin
ġadēi̯t(u)	ġadēi̯na	ǧit	ǧina

Оригинальной является также форма несовершенного вида от глагола ġadak: i̯åġdi || mii̯oġdi,[4] III лицо муж. рода, moġdi, I лицо ед. числа; i̯oġđ, i̯oġdi (= повелительное наклонение). Для точного выяснения значения указанных форм требуется дальнейший приток материала; — ṳbrūḥṳ < بروحه. Для возвратного местоимения в нашем наречии использовано вместо кл. نفس родственное с ним по значению слово روح 'дух', душа' (см. M. rûḥ, Meissner, XVI). После утраты гласного элемента частицей bi ب, двух-согласное начало устраняется с помощью ṳ (под влиянием соседнего b и в силу гармонии гласных; ср. M ebbǫġdād = ببغداد: °bšuġlüm = بشغلهم, Socin, ZDMG, XXXVI, 13, 4, 12); — nå-ḫūš 'больной' (перс.-тадж. слово от отрицательной частицы نا и خوش 'хороший'); — ṣår кл. صار; — i. В нашем наречии часто встречается частица i || li (< ilā?) с универсальным значением (см. Юшманов, 80).

Строка 4: u̯aladu, кл. ولد + местоименный суффикс III лица муж. рода ед. числа. Местоименные суффиксы в Ǧr имеют следующий вид: u, h,[5]

[1] Об этом см. подробнее в публикуемой в Трудах Второй сессии Арабистов нашей статье «К характеристике среднеазиатского арабского».

[2] С кратким гласным.

[3] Sic!

[4] Относительно частицы m/mi см. ниже.

[5] По преимуществу после долгих гласных (ср. то же в бедуинском: Socin, Diwan, III, 178).

uh,[1] ah,[1] для муж. рода ед. числа; a, ha, ah,[2] для жен. рода ед. числа III лица; II лицо: ak || k муж. рода, ki, жен. рода; I лицо ni, i (в имени); мн. число: III лицо — um || hum; in || hin; II лицо — kum, kin; I лицо — na || nā;[3] — ʿənni < ʿəndi с утратой d вследствие ассимиляции. I̯orik̑ul настаивал на nå-ḫ̮ūš-inni. В таком случае форму придется толковать так: nå-ḫ̮ūš-inni < nå-ḫ̮ūš-in-li < nå-ḫ̮ūš (персидско-тадж. 'болезнь') + in (неопределенный член) + li (< lī لِى).[4]

Строка 5: hint < أَنْتَ с изменением *a* в *i* (явление обычное в местоимении II лица; ср. Barth, Pronominalbildung, стр. 9; ср. также Mattsson, 84—88) и хамзы в h; — hamat. В Ǧr встречается любопытная форма демонстративного местоимения с частицей ma, которая появляется в середине основы; так, на ряду с обычным hai̯ (Socīn, ZDMG, XXXVI, 5, 14; 11, 18; Barth, ibid., 76), hat (L. Bauer, 73), hal (L. Bauer, ibid., 73; Meissner, XV) и упомянутых выше dok, diki, имеем: ha-má-i̯, ha-má-t, ha-má-l, ha-má-n [в выражении hamán nagīn 'тот перстень' (haman < hamal, вследствие ассимиляции конечного l с последующим n)], handok (< hamdok), handiki (< hamdiki) и т. д.; — i̯ḥmår, кл. حمار; — uḫ̮du, повелительное наклонение от глагола ḫ̮ada (< اخذ ; ср. бед., E и П ḫ̮ad: Socin, Diwan, III, 148, 150; Spitta, 219; L. Bauer, 27); по аналогии с трехбуквенными глаголами повелительное наклонение образовано в нашем наречии с помощью приставочного гласного u. С прибавлением местоименного суффикса III лица u, вторая коренная (ḫ̮) теряет гласную, но в записанных нами текстах встречается и параллельная форма: uḫ̮udah; — ḫ̮ēi̯t кл. خيط 'нитка, веревка' (эмфатическое ṭ ط в конце слова в нашем наречии часто переходит в t).

Строка 6: ğīb от глагола ğāb < . . . بِ جَآ (ср. L. Bauer, 31) 'приносить'. Подобно П (Bauer, 31), пустые глаголы в Ǧr сохраняют долгую гласную в замкнутом слоге в форме II лица муж. рода повелительного наклонения — mak̑au̯u̯ar 'базар'. Слово нам не известно. Быть может مُقَوَّر «having a round hole cut in its middle» (Lane, т. I, стр. 2574) (?).

Строка 7: bīʿu от بَاعَ 'продать' (II лицо ед. числа муж. рода повел. наклонения) + u, местоименный суффикс III лица муж. рода.

[1] Со вспомогательными гласными, которые появляются между согласным окончанием слова и местоименным суффиксом h (ср. Socin, Diwan, III, § 148, e, стр. 148).

[2] Гласный элемент, собственно, может принадлежать к именной или глагольной основе.

[3] Обычно na, но если за этим суффиксом следует еще какая-либо частица, то сразу восстанавливается долгое a.

[4] На стр. 271,14 встречается ʿəendi, записанное со слов Bōu̯ō I̯oldắš, в связи с чем возникает вопрос, не возник ли ʿ в nåḫ̮ūš ʿænni на фонетической почве? (от nåḫ̮ūšinni?).

Строка 8—10: i̯ḥmår ḫadah 'осла взял [его]'; ḫēi̯t ḫadah 'веревку взял [её]'; al-ḫaṭab ḫadah 'дрова взял [их]'. Глагол в Ǧr часто снабжен местоименным суффиксом (для обозначения объекта) даже при наличии реального дополнения в предложении. Развитию этого явления могло способствовать разрушение конструкции арабского предложения: дополнение ставится перед глаголом (ср. Юшманов, 80), вследствие чего при отсутствии падежных окончаний объект не отличается от подлежащего, но зато его место указано при глаголе, путем местоименного суффикса. В классическом языке параллелью этому явлению может служить употребление перед глаголом относительного местоимения الّذي, место которого всегда указано при глаголе.

Строка 9: al-ḫaṭab < hal-ḫaṭab 'дрова' (собир.)

Строка 10: min giddāmu من قدّامه; giddām, M ḳuddām (Socin, ZDMG, XXXVI, 5, 14; 7, 1), ǧiddâm (Meissner, XXXII), qeddâm (Bahoshy, 11), бед. ćiddām, ćeddām (Socin, Diwan, III, 81), E quddâm (Spitta, 384).

Строка 11: ṭala'ǝ́en III лицо жен. рода мн. числа совершенного вида глагола ṭala' طلع; ǝ́e вместо i (III лицо жен. рода мн. числа в нашем наречии, подобно бед. и феллāḥскому, оканчивается на in) вследствие влияния 'айна; bei̯za < بيضاء (без стяжения ai̯ в ēi̯).

Строка 12: sūda < سوداء. Неударяемое au̯ часто дает ū; — mit'ārakin — III лицо жен. рода мн. числа VI. تعارك + в начале частица mi.[1]

Строка 14: ta-tiktila; ta — сиро-палестинское ta < حتى (см. L. Bauer, § 84, 1; стр. 112), ср. также M ta (Socin, ZDMG, XXXVI, 23, 6 и сл.).

Строка 15: issūda < السوداء.

Стр. 264, строка 1: kålet-ki 'сказал что', косвенная (и прямая) речь вводится в нашем наречии с помощью персидского ki (ср. Юшманов, 80; ср. также M kē || ke, Socin, ZDMG, XXXVI, стр. 13, 16, 18); ēš, обычное разговорное сокращение أيّ شيء.

Строка 16: midrīđ. Частица mi + turīdu (> trīd > drīd). В несовершенной форме глагола в Ǧr встречается частица m || mi, значение которой не совсем ясно. Предположение Н. В. Юшманова, что префикс m вводится в Ǧr как средство противозияния в форме «я» несовершенного вида,[2] не оправдалось, так как он появляется не только в I лице, но и в II и III лицах, причем перед согласным началом вместо m употребляется mi: mi-ṭkūl 'говоришь', mi-drīd (< mi-trīd < mi-turīdu) 'желаешь'; mi-ktiƀ 'пишет';

[1] Об этой частице см. дальше.
[2] Н. В. Юшманов, стр. 79.

måḫeđ 'беру', maṣū 'делаю' (от II سوى) и т. д. Акад. И. Ю. Крачковский указал нам на сходство этого mi с персидско-таджикским مى, которое придает глаголу значение длительности действия, законченности (میگفت), но непонятно, почему в одних случаях имеем mi, а в других m? Может быть это обычный префикс независимого несовершенного вида сирийского и египетского наречий, тем более, что в мн. числе I лица, подобно сирийскому и египетскому, появляется m (сир. mn, E bên, mên). Не исключена возможность, что он образован в Ǧr по аналогии с приставкой причастия (mi < mu), краткая гласная которой [(m-)i] могла легче исчезнуть, чем долгое ī персидско-таджикского مى.

Строка 3: imš 'иди'. Повел. наклонение II лица муж. рода ед. числа недостаточных глаголов в нашем наречии образуется с отсечением конечного (ī >) i, подобно бедуинскому (см. Socin, Diwan, III, 171); — min u̯årai̯ сложный предлог 'за мной'; ср. M min u̯ârâ (Meissner, XXXIII).

Строка 5: maṣår I лицо ед. числа несовершенного вида от глагола صار 'быть' с приставкой m.

Строка 6: ilai̯ ḫallaṣni 'меня спас [меня]'. Случай снабжения глагола объективным префиксом при наличии реального объекта в предложении (ср. выше, стр. 29).

Строка 8: ḳātletinni < ḳātiletin-ni, от причастия женского рода ḳātilat + in (неопределенный член) + ni (местоименный суффикс I лица ед. числа); kåm-mamūt < kån-mamūt.

Строка 9: intu 'дай'. Повелительное наклонение (по аналогии таких форм, как imš, см. выше, стр. 31) от глагола anta < اعطى (а не anṭa, как это исправляет Nyberg и как это принято в Палестине, L. Bauer, § 5, 1, f; ср. M anta[1] у Socin'a, ZDMG, XXXVI, 23, 2) + местоименный суффикс III лица муж. рода ед. числа u (< hu); i̯idak = يدك.

Строка 10: ḫåtəmak < خاتمك.

Строка 14: ǧū'ån < جوعان (со стяжением неударяемого au̯ в ū); intia. Форма несовершенного вида III лица ед. числа от глагола anta + a, местоименный суффикс III лица жен. рода ед. числа.

Строка 15: ḳūl, как уже отмечено, пустые глаголы в замкнутом слоге повелительного наклонения сохранили долгую гласную; — miḫåf (mīn u̯aladu ǵadak) 'испугавшись (своего сына, ушел)'. Miḫåf, очевидно, несовершенный вид глагола خاف с частицей m.

[1] Если только не опечатка. В другом месте встречается ṭ (āsṭeini, 29, 18).

Строка 16: ḫidir-ḥāi̯it 'у стены'. Ḫidir предлог 'у, при, под'; ср. бед. ḫadar || ḫadr خَدْر 'unter' (Socin, Diwan, III, § 48, d, стр. 81; словарь, s. v. خدر, стр. 256); ḥāi̯it < кл. حائط 'стена'.

Строка 18: agal 'если' < персидско-тадж. agar, с заменой r в l. Встречается также форма agar.

Строка 20: hamali̯ōm 'сегодня' = ha-m-al-i̯ōm (M halyôm, Bahoshy, 26).

Строка 22: saḥrīi̯a 'завтра'. У Н. Б. и М. И. указана другая форма saḥarīi̯a (стр. 538), которую Nyberg исправляет в saḥrīi̯a (стр. 124);[1] — 'ü глагольная частица, со значением 'уже', 'еще' (?), происхождение которой нам не известно. В кишлаке 'Араб-х̮ане Вабкендского района произносится 'üd (> 'üđ и очень часто, 'üt). Возможно, что это сокращение от глагола عاد 'возвращаться'.

Строка 24: ġåbet кл. غاب 'садиться (солнце)'.

Строка 29: i̯ōmåt. Вместо ломаного множественного числа в нашем наречии, подобно М, образуется «правильное» мн. число жен. рода: i̯ōm, i̯ōmåt 'день'; kitåƀ, kitåbāt 'книга', ḳalƀ, ḳalbāt 'сердце'; baṭən, baṭnāt 'живот', i̯id, i̯idāt 'рука' и т. д.

Стр. 265, строка 1: minnak < minak منك, с удвоением n между двумя гласными.[2]

Строка 3: ġēzu < غيظه; ġēzu ǧak 'гнев его пришел' ('он разгневался'), точный перевод персидско-таджикского qahraṣ omad قهرش آمد.

Строка 4: nənkūl, скажем, частица n (< m) + I лицо мн. числа несов. вида от глагола قال.

Строка 5—6: fađ ḥadīsin kasīr nənḳūl 'одну большую историю скажем' (относительно ḥadīsin см. выше, стр. 256, прим. 6).

Строка 8: ḥūz кл. حوض 'водоем, бассейн', употребляемое и в персидском и узбекском (havuz) языках; — migbisu 'наполнить', m + igbis (III лицо муж. рода ед. числа от глагола كبس 'наполнить') + u (< hu); первая коренная k > g перед звонким согласным (b).

Строка 10: ašrafīi̯å мн. число жен. рода (с утратой конечного t)[3] от اشرفى названия золотой монеты (см. The Encyklopaedia of Islām, vol. 1,

[1] Но в Джейнау это слово произносится именно: saḥarīi̯a.

[2] Такое удвоение n между двумя гласными происходит в нашем наречии очень часто: minnu (стр. 267,20) 'от него', вместо min-u < min-hu; šāfinnu (стр. 269,11) 'увидели его', ḫalinnu (стр. 269,12) 'освободили его', вместо šāfin-u < šāfin-hu, ḫallin-u < ḫallin-hu. Ср. аналогичное явление в M: minnak منك (Meissner, стр. XXIX, § 42, c), бедуинском: minnih منه (Socin, Diwan, III, § 47, a, стр. 80).

[3] Утрата конечного t обычное явление в нашем наречии.

стр. 485; также персидский словарь Fr. Johnson'a, s. v.); — bēi̯nātu 'посередине, в середину', 'между ним', ср. M bē(i)nât 'zwischen' (Meissner, XXXII; также: Socin, Diwan, III, § 48, c, стр. 81); — gau̯harī, перс. گوهری.

Строка 12: ku'ud повелительное наклонение «садись», вместо кл. uk'ud.

Строка 20: ēṣāb, min ēṣāb < من أي صوب 'откуда'; ср. M ēṣōb (Socin, ZDMG, XXXVI, 13, 16); ṣō(u)b 'Seite' (Meissner, 131, a), бед. ṣōb (предлог, употребляемый с тем же значением: Socin, Diwan, III, словарь, s. v. صَوْب, стр. 284,b); tilki̯i̯ah II лицо муж. рода от глагола لقي, M. ligā 'treffen' (Meissner, 142).

Строка 21: ḥasalu < غسله; — učū < وجهه.

Строка 23: bə ḥakkᵘ со скользящим призвуком ᵘ (off-glide) для облегчения двухсогласного конца (без морфологической функции). pei̯ġambár < перс.-тадж. پیغامبر.

Строка 24: lafatu < لفته.

Строка 25: rīď повелительное наклонение от глагола اراد, образовано по аналогии с первой породой (см. L. Bauer, 29, 11; стр. 32).

Стр. 266, строка 2: kunğakāt, перс.-тадж. kunçak 'угол' + окончание мн. числа жен. рода āt; kö[']'ödūnin повелительное накл. от II قعّد (?) с гласным ö у первой и второй коренных вследствие влияния ḳ или быть может в силу частичной ассимиляции с последующим ū (?) Непонятно появление n между глагольным окончанием ū и местоименным суффиксом III лица множ. числа in (< hin < هِنّ). Возможно — это средство противозияния между двумя гласными или же результат действия имеющей большое распространение в нашем наречии аналогии с формой несовершенного вида. Ниже (прим. к стр. 20, 7—8) имеем еще случай появления n в форме совершенного вида глагола sau̯a سوّى: hamát šuġlāt sau̯ūnin «эти дела сделали» от sau̯ū + n + in (< hin < هن), где n имеет, повидимому, ту же функцию, что в kö[']'ödūnin.

Строка 6: 'ada < кл. عدا 'побежал', с конечным кратким a вместо ā (ср. L. Bauer, 34).

Строка 7: 'ai̯i̯an < عيّن; — šāfa, обычное разговорное слово вместо кл. رأى.

Строка 9: sit, вместо кл. sitt ستّ; — прим. 19: čirâġ < перс.-тадж. چراغ.

Строка 12: hat, демонстративное местоимение. lakāha — от لقي с долгим ā перед местоименным суффиксом III лица ед. числа жен. рода.

Строка 13: åntinu. Причастие от глагола anta < اعطى, образованное по аналогии с первой породой (вместо mintinu, которая тоже встречается в среднеазиатском арабском) + in (нунация) + u (местоименный суффикс III лица ед. числа муж. рода).

Строка 16: suu̯ūh, повелительная форма от глагола سوّى 'делать' (а не 'сравняться', как это Н. В. Юшманов переводит, стр. 83; ср. M sauwa, Socin, ZDMG, XXXVI, стр. 11, 3; 25, 14, 15 и сл.; бед. suwā 'machen', Socin, Diwan, I, 83, 13, стр. 232, 233; III, словарь, s. v. سوا, стр. 278, a; также Meissner, словарь, s. v. su̯a, II, стр. 127, b).

Строка 17: köškin, перс.-тадж. کوشک 'замок, башня' + in (неопределенный член); köškin zin 'хорошая башня'.

Строки 23—24: ərba'um < اربعم.

Строка 27: al-šikår, определенный член al + перс.-тадж. شکار şikor 'охота'.

Строка 28: åhū 'газель', перс.-тадж. آهو ohū.

Стр. 267, строка 4: lí вопросительная частица لِ (без кл. ما или ماذا). Может быть сокращение li-šan-eš, которое тоже употребляется для вопроса.

Строка 6—7: mitḥaddasin (< mitthaddasin), mitkūlin, tik'adin, мн. число жен. рода II лица несов. вида. Любопытно, что в одних случаях глагол снабжен частицей mi, в то время как в другом случае она отсутствует.

Строка 9: må-hi (< ما هي) и må-hu (< ما هو) обычные для Ğr формы отрицания (ср. бед., Musil, Arabia Petraea, III, 350; M, Socin, ZDMG, XXXVI, 45, 12).

Строка 11: mim-bēi̯nāt < min bēi̯nāt.

Строка 12: tilīn 'оставались', III лицо жен. рода мн. числа от глагола تلي (подобно многим диалектам арабского языка недостаточные глаголы типа fa'il в нашем наречии дают форму fi'i; ср. Spitta, 232; L. Bauer, 34).

Строка 15: mim-fōḳ (< min fōḳ) сложный предлог, обычный и в M (см. Meissner, XXXIII).

Строка 16: mišīlīnu (< mi-ššīlīnu < mi-tšīlīnu?) II лицо ед. числа жен. рода от глагола شال 'снимать (с чего-либо, напр. с лошади)' (см. Lane, т. IV, стр. 1634).

Строка 17: haš-šuġul < hal-šuġul.

Строка 18: ēš-ṭūr 'каким образом, почему', араб. ēš + иранизованное арабское же ṭau̯r طور 'manner, way of acting' (Hava, s. v., стр. 441, b). Любопытный случай, когда арабский элемент попадает в арабский же диалект через посредство чужого языка. В значении ēš ṭūr в Ğr употребляется еще весьма любопытная форма: ēš + глагольная форма от سوى 'делать', причем в зависимости от вопроса глагол меняется по лицам: «ēš sau̯á ẖadáki 'каким образом взял тебя' (стр. 267, прим. 7); «ilai̯ ēš sau̯ēi̯t ẖadēi̯đni 'почему ты меня взял?' (стр. 267,27).

Строка 19: inšidi, повел. наклонение от II лица жен. рода ед. числа от глагола نشد (ср. M nišed, Imperf. i̯inšid «fragen», Meissner, словарь, s. v., стр. 144; также бед., у Socin'a, Diwan, III, словарь, s. v. نشد, стр. 314, a);

Строка 20: minnu < min-hu (с удвоением n между двумя гласными, вроде minnak, см. выше, стр. 277, прим. 2).

Строка 24: šaddah < شدّه 'привязал то'.

Строка 26: nuṣṣən-lēi̯l < nuṣṣin-lēi̯l; nuṣṣ — обычное разговорное слово вместо кл. نصف (Spitta, 34; 163; Meissner, XXXI; Bauer, 84); nuṣṣən, как указал нам Я. С. Виленчик, < nuṣṣ + in (нунация).

Строка 27: ẖadēi̯đni '(ты) взял меня' < ẖadēi̯tni, от глагола ẖada, который в данном случае спрягается по аналогии с двухбуквенными глаголами (ср. Meissner, § 71, a, 3; стр. XLV).

Строка 32: abūi̯, aẖūi̯ 'мой отец, мой брат', обычные для Ğr формы (ср. Meissner, § 41, d; стр. XXVIII; Socin, ZDMG, XXXVI, 23, 4, 11; Spitta, § 78 f; стр. 154).

Стр. 268, строка 10: kǣi̯ina < كائنة (с имāле ā > ǣ).

Строка 11: hama < ha-ma-t (с утратой t в конце слова, явление не редкое в нашем наречии).

Строка 15: šuġlāt мн. число от šuġul (см. выше, прим. к стр. 264,29, на стр. 277); sau̯ūnin, мн. число III лица муж. рода от سوّى + in (< hin < هن); относительно n (sau̯ūnin) см. выше, стр. 278 (прим. к слову ḳö[']'ödūnin).

Строка 17: missannât. Форма мне неясна. Можно было предположить, что это причастие от двухпородного глагола أنى — istannā (X и II породы) 'поджидать' (см. Brockelmann, Semitische Sprachwissenschaft, Sammlung Göschen, 127; M. Hartmann, Arabischer Sprachführer, 274),[1] как это указал нам Н. В. Юшманов, но трудно объяснить появление конечного t, которое

[1] У Hava استأنى 'to wait for, to expect a. o.' (s. v. انى).

не является окончанием женского рода at, а принадлежит к основе, так как в совершенном виде имеем issannat (муж. род III лица ед. числа) и issannatet (жен. род III лица ед. числа), issannatt (II лицо муж. рода) и т. д.; nəe̯įima < نائمة — форма аналогичная с kəe̯įina.

Строка 20: ḫilāf 'после, потом', ср. M (e)ḫlāf, ḫelāf (Meissner, словарь, s. v., стр. 121, b).

Строка 21: al-ša'ar-ras; al < hal; ša'ar, собир. شعر; ras < rās < ra's رأس.

Строка 25: haman-nagīn 'этот перстень'. Haman < ha-ma-l (с ассимиляцией l последующему n); nagīn, перс.-тадж. نگین nigīn; šāftu < šāfet-u (< hu), شافته (с утратой e, под влиянием суффикального u?).[1]

Строка 27: ṣaraḳtu < saraḳet-u سرقته. barra нареч. 'наружу' (ср. M barrā, Meissner, § 49, 9; стр. XXXII; П barra, L. Bauer, § 69, 6; стр. 90; E barrā, Spitta, § 83, b, 21, стр. 167).

Строка 30: lafatu < lafattu < lafatet-u لفتته.

Строка 33: iḋfinū < idfinu от دفن 'закопать'.

Стр. 269, строка 2: u̯ud[d]ūh, повел. наклонение II лица муж. рода мн. числа от глагола ودّ (ср. Nyberg, 125); adrūn перс.-тадж. درون darūn ('внутри') > drūn > adrūn.

Строка 6: bazūna 'кошка' (имя единичности? ниже встречается bazūn); M bezzūne (Meissner, 114, b), bazzoon بزون (Bahoshy, 18).

Строка 7: kaftartēi̯n 'два голубя', перс. کبوتر, тадж. kaftar + (a)t (арабское окончание женского рода) + ēi̯n (окончание двойственного числа). hālān 'эти',[2] сирийское (арамейское) hāllēn (> hā — illēn) (?), (Barth, op. cit., § 49, b); rəeḥtu < ريحته 'его запах'.

Строка 11—12: šāfinnu, ḫalinnu. Мн. число жен. рода III лица (с удвоением n между двумя гласными) + u (местоименный суффикс III лица ед. числа муж. рода).

Строка 12—13: bibitkin, перс.-тадж. ببين + t (оконч. жен. рода) + kin (местоименный суффикс II лица жен. рода, мн. числа كنّ); — hīna вопр. частица 'где?' состоит из hīn (< أين) + a (< ha, местоименный суффикс III лица жен. рода ед. числа); ср. ниже hīnu = hīn-u 'где (он)?'.

Строка 16: mim-baḥār < min baḥār (baḥār[1] < بحْر ед. число).

[1] На ряду с этим встречается и полная форма: šāfetu.

[2] Может быть в этом смысле следует понимать halan-i, которое встречается в басне, опубликованной Н. Б. — М. И. (стр. 538; ср. также Nyberg, 125; Юшманов, 83).

Строка 18: bal-beit 'дверь'. Предположение Н. В. Юшманова (стр. 81, прим. 5), что это полуперевод персидского bâlâ-hânä 'бельведер', казалось бы близким к действительности, если бы bal-beit соответствовало по значению указанному иранскому слову. Но в Ğr bal-beit значит 'дверь'.

Если верна этимология H. Bauer'a[2] слов bālī 'meine Absicht' (< bā['a] + lī 'es ist mir gekommen'), bāb (< bā(') + bi 'hineingehen in'), то bal-beit можно объяснить < bā(') + l (определенный член) + beit. Чрезвычайно интересный случай сохранения прасемитской формы.

Строки 18—19: šāfetin < شافتهن; — mišūfkin مشوفكن.

Строка 20: hattetin 'бросила их' (ср. Socin, Diwan, III, 166; Meissner, 118, b); hattetin < hattet + in (< hin < هن).

Строка 25: iâbân перс.-тадж. یابان 'пустыня'.

Строка 26: 'idil < عدل 'мешок'.

Строка 27: anteta 'дал ее', от antet + a (ha, местоименный суффикс III лица ед. числа жен. рода).

Строка 29: mūš перс.-тадж. موش mūṣ 'мышь'.

Строка 30: ğat 'прошла' (см. выше, стр. 273).

Стр. 270, строка 1: uâkah < وقع.

Строка 4: azāt перс.-тадж. آزاد 'свободный'; — masīkum 'сделаю вас', I лицо ед. число несов. вида от глагола سوى II + kum (местоименный суффикс II лица муж. рода мн. числа).

Строка 10: hašm + u 'рот', кл. خشم 'nose, *mouth*, snout' (Hava, 169a); ср. бед. خشم 'Nase des Kamels' (Socin, Diwan, III, 261, b); M hašim 'Nase' (Meissner, 120, b).

Строка 11: hum перс.-тадж. خم xum, 'кувшин'; sirkō, перс.-тадж. sirqo (< араб. سرقع «sauer wine»). Слово заимствовано в нашем наречии, очевидно, с таджикского, иначе сохранился бы конечный h (< '); — zēilak 'хвост твой', кл. ذيلك.

Строка 19: sahbu < صاحبه.

Строка 29: harīm, собир. 'женщины', кл. حريم; — habbarin خبّرهن.

Стр. 271, строка 4: uei 'с', бед. wija ويّا 'mit' (Socin, Diwan, III, § 49, b, стр. 82); M uiia (Meissner, § 47, a, b, стр. XXXII).

1 Bahár означает в нашем наречии просто 'реку'.

2 Etymologica, I, II, ZS, Bd. 10, 1—2; 3—4. Leipzig, 1935, стр. 1, 165. Указанием на этот источник я обязан Я. С. Виленчику.

Строка 6: darṷāz̊a перс.-тадж. دروازه 'ворота'; — ḥallūa < حلوا.

Строка 10: midgít в значении 'нищенствовать'. Любопытная форма глагола от گدا 'нищий', образованная по аналогии с I породой двухбуквенных глаголов midgit < mi-t-gid < mi-t-gidd; III лицо жен. рода ед. числа несов. вида. В наших наречиях встречается также giddāį (в Ğr), gaddåį (в Gň) 'нищий'; ср. M ğeddā «betteln» (Meissner, 116, a).

Строка 12: kögḃöri < узбек. ḱəkbəri 'козлодранье'. «Состязание, заключающееся в следующем: всадник берет зарезанного козла, иногда теленка, другие гонятся за ним, стараясь вырвать этого козла; всадник, умчавший козла к назначенному месту, считается победителем» (У. Ахмеджанов и Б. Ильязов, Узбекско-русский словарь. Ташкент, 1931, стр. 190, a).

Строка 14: dərām < перс. diram (ар. درهم, греч. δραχμή).

Строка 16: masīḭa 'сделаю (её)' (с местоименным суффиксом III лица жен. рода ед. числа).

Строка 18: masū́ 'делаю', от одного и того же глагола سوى.

Строка 19: maṷdík < m-aṷddi-k < m-aṷaddi-k от чл. ودّ; hada < هذا.

Строка 20: maṷdáh, то же самое, что maṷdik, с утратой конечного i перед гласным окончанием III лица муж. рода ед. числа; nənsu (< mansu?) 'сделаем', I лица мн. числа от سوّى; — ḫurūf < кл. خروف 'молодой баран'.

Строка 23: ḥadrīḭá 'шапка'; ср. M ḥidrīḭe 'Schweisskäppchen' (Meissner, 118, a).

Тбилиси

Июль 1936 г.

А. А. ДРАГУНОВ

Особенности фонологической системы древне-тибетского языка

За последние годы тибетский язык как объект лингвистического изучения начинает привлекать к себе все большее внимание, и не столько, пожалуй, сам по себе, сколько в связи с углублением исследовательской работы по смежным с ним языкам, в первую очередь по языку китайскому. Отсюда — возросший интерес к проблемам тибетской фонологии и, в частности, к вопросу взаимоотношений между древне-тибетским произношением и письмом.

Традиционная интерпретация древне-тибетской фонологической системы в той мере, в какой последняя отражена в тибетской графике, с практической точки зрения не вызывает особых возражений; но если подойти к этой интерпретации с более строгим лингвистическим анализом, то в ней нетрудно обнаружить ряд слабых пунктов, и притом пунктов весьма существенных, которые требуют если не пересмотра, то по крайней мере уточнения.

Одним из таких слабых пунктов, и притом существенным не только фонологически, но, как мы увидим ниже, и морфологически, является вопрос о том, в какой степени правильна традиционная интерпретация графем བ, ད, ག, ཛ и ཛ̓ как звонких согласных.

Выяснению этого вопроса и посвящена настоящая статья.

I

Графемы བ, ད, ག в роли префиксов

Хорошо известно, что древне-тибетские префиксы, передаваемые в письме графемами བ, ད, ག, в современных диалектах Центрального Тибета уже более не произносятся, но продолжают еще произноситься,

как правило, в виде звонких спирантов, в диалектах Восточного и Западного Тибета.

В диалектах района Кхам (Восточный Тибет)[1] префикс བ произносится как звонкий лабиальный спирант (v), а префиксы ད и ག как звонкий велярный спирант (γ).

Напр.: ДрТ[2] Кхам

ДрТ	Кхам
*bgo-ba[3]	vgo-wa
*dkar-po	γkar-po
*gtam	γtam.

В диалектах ЗТ префиксы ད и ག произносятся как спирантизованный увулярный ʁ[4,5]

Напр.:

ДрТ	ЗТ
*dgu	ʁgu
*gsum	ʁsum.

Совпадение префиксов *d и *g в одной фонеме, равно как и субституция ʁ вместо *d не ограничиваются только СТД, но могут быть прослежены вглубь, по крайней мере до XI в.[6]

Совпадение *d и *g в одной фонеме засвидетельствовано также хранящимся в Институте Востоковедения Академии Наук СССР тибето-китайским глоссарием[7] из серии Хуа-и-и-юй, где оба эти префикса, там, где они вообще передаются, транскрибируются, как правило, иероглифом 黑.

1 Там, где это специально не отмечено, тибетские диалекты цитируются по Jäschke (Tibetan-English Dictionary. L., 1881).

2 В настоящей статье приняты следующие сокращения: Г — Глоссарий; Д — Диалект[ы]; Др — Древне-; З — Западный; С — Современный; Т — Тибетский; Ц — Центральный.

3 Все случаи провизорного употребления традиционной транскрипции графем བ, ད, ག, ཇ, ཛ отмечены звездочкой.

4 См., в частности, работу S. Wolfenden'а «On the Prefixes and Consonantal Finals ot Si-Hia as evidenced by their Chinese and Tibetan Transcriptions». JRAS, 1934, pp. 758—759).

5 Согласно A. Francke, префиксы *d, *g и даже *b часто произносятся как r [ʁ] и s в диалекте Ладак. См. его «Sketch of Ladakhi Grammar», JASB, vol. LXX, part 1, Extra, № 2, 1901, p. 3). Ср. с этим любопытные чередования типа *g ~ *s в ДрТ, которые приводит акад. Щербатской в своей содержательной работе «Определители корней в тибетском языке» (Сборник статей, посвященных... Ламанскому. СПб., 1907, стр. 644).

6 См. Wolfenden, ук. соч., стр. 751—759.

7 В дальнейшем ТКГ.

Напр.: ДрТ	ТКГ
а) *dman	χman
*dp̂id	χpi
*dkar-po	χkar-po
*dgon-ste	χkon-ste
б) *lo-gsar	lo-χsar
*gser	χser
*gter	χter.

На ряду со спирантным произношением префиксов *b и *g мы имеем, правда реже, и взрывное их произношение в современных тибетских диалектах. Это имеет место не только внутри сложного слова (напр.: СТ tšug-súm из ДрТ tšu-gsum, СТ tšub-ši из ДрТ tšu-bži), но иногда и в начале слова (см. словарь Jäschke, pp. XIX—XX).

В ТКГ взрывное произношение префикса *b имеет место во всех без исключения случаях употребления этого префикса, взрывное произношение *g встречается лишь два раза, а префикса *d — ни одного.

Напр.: ДрТ	ТКГ
а) *p̧ži	pži
*bla-ma	pla-ma
*bdag-po	pta-po
*bsil	psir
б) *gdan-khri	ktan-khli
*gdugs	ktukhs.

Jäschke также отмечает спорадические случаи употребления b вместо v в диалектах района Кхам, как то:

Др.Т	Кхам
*btum-pa	btöm-pa
*bkra-šis	bṭa-šī.

Таково положение дел с отражением этих префиксов в СТД и в ТКГ. Вполне естественно возникает вопрос: как же эти префиксы произносились в ДрТ? За исключением Jäschke, все тибетологи интерпретируют графемы བ, ད, ག как звонкие взрывные *b, *d, *g главным образом по той причине,

что эти тибетские графемы соответствуют санскритским графемам для звонких же взрывных. Практически это не вызывает возражений, но теоретически это мало удовлетворительно, так как, исходя из *b, *d, *g, трудно без натяжки объяснить все данные тибетских диалектов и ТКГ.

Трактовка བ, ད, ག как *b, *d, *g может, конечно, объяснить взрывное произношение *b и *g; эта трактовка объясняет также произношение *b как v и *g как γ, но объяснить γ из *d было бы довольно затруднительно. Можно, конечно, предположить, как это делает Jäschke, что γ из *d получилось через промежуточный этап ð (интердентальный звонкий спирант), но это останется только предположением, ибо никаких данных за произношение *d как ð у нас нет. Jäschke, впрочем, на нем и не настаивает.

Если затруднительно объяснить данные тибетских диалектов и ТКГ, исходя из предположения, что བ, ད, ག передавали звонкие взрывные согласные, то не меньшие, если не бо́льшие трудности возникают при интерпретации этих графем как v, ð, γ. Не говоря уже о том, что никаких данных интерпретировать ད как ð у нас нет, звонкие спиранты не могут объяснить ни взрывного произношения графем བ и ད, ни опять-таки совпадения *d и *g в одной фонеме.

Неудивительно, что Jäschke в своем словаре оставляет вопрос о древне-тибетском произношении префиксов ད и བ открытым и передает их с оговорками через d и b. Префикс ག он, правда, интерпретирует как γ, но не столько на основании показаний современных диалектов, сколько исходя из того соображения, что при интерпретации ག как g не было бы никакой разницы между написаниями གཡུ и གྱུ. Этот довод можно легко опровергнуть. Как известно, есть все основания думать, что подписное j в тибетской графике не произносилось самостоятельно, а указывало лишь на палатализованное произношение надписного согласного, и, следовательно, разница между གྱུ и གཡུ заключалась в том, что первое произносилось g'u, а второе gju, аналогию чему можно найти (в известной, понятно, степени) в русском языке, напр. в словах «сел» (s'eł) и «съел» (s'jeł).

Поскольку префиксы བ, ད, ག нельзя интерпретировать ни как b, d, g, ни как v, ð, γ, постольку сама собой напрашивается мысль о том, что мы имеем дело с согласными, в состав которых входит и то и другое, и элемент

взрыва и элемент спирантизации. Согласные этого типа, т. е. звонкие взрывные согласные со звонкой же аспирацией, хорошо в синитических языках известны — они имелись в архаичном и древне-китайском языках и продолжают существовать и поныне в диалектах У.[1]

Наша интерпретация префиксов བ, ད, ག как bɦ, dɦ, gɦ позволяет нам удовлетворительно объяснить как данные СТД, так и данные ТКГ. Поскольку dɦ и gɦ имели общий конечный элемент — звонкую аспирацию, постольку нет ничего удивительного в том, что оба эти префикса совпали в дальнейшем в одной фонеме — γ или ʁ. Весьма вероятно, что уже в эпоху составления тибетского алфавита спирантный элемент в этих префиксах доминировал над элементом взрывным, и, следовательно, dɦ и gɦ произносились скорее как ^{d}ɦ и ^{g}ɦ. Наличие аспирации в этих префиксах объясняет нам также отражение bɦ как v в диалектах Кхам, равно как и случаи произношения bɦ, dɦ, gɦ как r (ʁ) и s в Ладаке. С другой стороны, наличие взрывного элемента в bɦ и gɦ с той же легкостью объясняет нам и случаи их взрывного произношения как b и g.

Наша интерпретация བ, ད, ག как bɦ, dɦ, gɦ подтверждается, далее, следующим важным обстоятельством. Как известно, префиксы བ, ད, ག, подобно префиксам s, r, l, могут сочетаться только с глухими неаспирированными согласными (типа p, t, k...), но не могут стоять перед глухими аспирированными (типа ph, th, kh...). Проф. F. K. Li недавно произвел анализ этой особенности древне-тибетской фонологической системы[2] и на основании сопоставления форм с префиксами и форм без префиксов пришел к важному выводу, что неаспирированные глухие типа p, t, k... в сочетании со всеми этими префиксами восходят, как правило, к аспирированным глухим типа ph, th, kh. Так, напр., st получилось из sth, sp из sph, ltš из ltšh, rt из rth, *bk из *bkh, *gt из *gth и т. п.[3]

При префиксе s объяснить потерю аспирации довольно легко как следствие диссимиляторного влияния s, и параллель с английским tone [thoun] ∾ stone [stoun], которую Li приводит, — превосходна. Случаи же типа bk, gt, dk остались у Li необъясненными, поскольку он исходил из традиционной трактовки བ, ད, ག как b, d, g. Наши bɦ, dɦ, gɦ все эти

[1] См. Karlgren, Études sur la phonologie chinoise. Leiden, 1915—1926 (соответствующие места); также Y. R. Chao. Studies in the Modern Wu-Dialects. Peking, 1928.

[2] См. его отличную работу «Certain phonetic influences of the Tibetan prefixes upon the root initials» (Academia Sinica Bulletin, Shanghai, 1933, IV, part 2, pp. 135—57).

[3] Вот некоторые из его примеров: s-kam-ba ∾ kham; *b-ku-ba ∾ khu-ba; *b-tug-pa ∾ thug-pa; *gtigs-pa ∾ thigs-pa и т. п.

случаи прекрасно объясняют. Подобно тому как s влияло диссимиляторно на аспирацию ph, th, kh.., превращая их в p, t, k.., так и аспирация bɦ, dɦ, gɦ также влияла диссимиляторно на аспирацию ph, th, kh... и превращала их в неаспирированные согласные. Отсюда наличие согласных групп типа sp, st, dɦk, gɦt, bɦt... при отсутствии spɦ, stɦ, dɦkh, gɦth, bɦth и т. п.

Интерпретация བ, ད, ག как bɦ, dɦ, gɦ позволяет нам, далее, удовлетворительно объяснить и интересные примеры чередований префиксов *g и s,[1] которые акад. Щербатской приводит в цитированной выше работе. В случаях этого рода спирант s чередовался не просто со взрывным согласным g, а со взрывным аспирированным gɦ, что фонетически, конечно, более естественно и понятно. Чередовались, следовательно, не g∼s, а (g)ɦ∼s.

В этой связи необходимо сказать несколько слов о древне-тибетском произношении префиксов l и r. Судя по тому, что после этих префиксов возможны только неаспирированные согласные, а последние, в свою очередь, как показал Li, восходят в этих случаях к согласным аспирированным, мы не можем не высказать предположения, что в том древне-тибетском диалекте, на котором базируется тибетская письменность, префиксы l и r содержали в себе какой-то спирантный элемент, влиявший диссимиляторно на аспирацию последующих согласных. Я не собираюсь вдаваться здесь в подробности, но укажу только, что как данные современных тибетских диалектов, так и данные ТКГ говорят в пользу такого предположения. В ТКГ префикс l, как правило, передается через š; наряду с обычной транскрипцией префикса r через иероглиф 兒 (который, между прочим, также произносится как спирантизированное ž-образное r) мы находим и два случая передачи (перед глухими согласными) этого префикса через š.

Напр.:	ДрТ	ТКГ
а)	lta-*bu	šta-pu
	ltše	štše
ср.	lham	šlan
б)	*gduŋ-rten	tuŋ-šten
	*ⁿdžig-rten	ⁿtši-šten.

[1] Напр.: *gtim-pa при stim-pa и *gtor-ba при stor-ba.

Аналогично обстоит дело и в СТД. Как констатировал Francke (ук. соч., стр. 4), в диалекте Ладак «prefixed r often becomes s, and s becomes r, both can become sh» (т. е. š). Префикс l в СТД также, как известно, часто произносится как š или γ (см. примеры Wolfenden'а, ук. соч., стр. 760).

II

བ, ད, ག, ཛ, ཇ в роли корневых согласных

Поскольку графемы བ, ད, ག функционируют не только в роли префиксов, но и в роли начальных согласных корня, мы можем распространить наши bɦ, dɦ, gɦ также и на те случаи, когда эти графемы служат для передачи начальных согласных.

С точки зрения СТД это не только не встречает возражений, но, наоборот, позволяет нам более удовлетворительно объяснить данные диалектов, чем если бы мы исходили из простых *b, *d, *g.

Древне-тибетские bɦ, dɦ, gɦ (а также и dzɦ, džɦ) отражаются в СТД двояко: в диалектах ЗТ аспирация этих согласных исчезла, и они произносятся как b, d, g.., в диалектах же ЦТ (и в том числе в диалекте Лхассы и ее окрестностей) аспирация сохранилась и до наших дней.[1]

Напр.:	ДрТ	ЦТ	ЗТ
	gɦan	ghan	gan
	dɦa	dha	da
	bɦa	bha	ba
	džɦa	džha	dža.

Отличную параллель этому мы имеем в современных китайских диалектах, где древне-китайские bɦ, dɦ, gɦ... сохранили свою аспирацию в диалектах У, но утратили ее, превратившись в b, d, g.., в диалектах Центрального Китая, в провинции Хунань.[2]

[1] Y. R. Chao показал, что согласные bɦ, dɦ, gɦ, dzɦ, džɦ в лхасском произношении представляют собою глухие аспирированные согласные низкого тона, легко озвончающиеся (см. Academia Sinica Monographs, Series A, № 5, pp. 4—5, 26). Это совпадает с моими экспериментальными записями тибетского произношения, которые я имел возможность произвести несколько лет тому назад, но которые остались незаконченными вследствие смерти тибетца, со слов которого я делал эти записи.

[2] Подробности см. в работах: Y. R. Chao. Studies in the Modern Wu-Dialects. Peking, 1928, и Е. и А. Драгуновы. Диалекты Сянтань и Сянсян (Хунань). ИОН АН, 1932, стр. 239—269.

Оставаясь при традиционной трактовке བ, ད, ག... как *b, *d, *g.., мы столкнулись бы с необходимостью объяснить возникновение аспирации при этих согласных в диалектах ЦТ, что было бы не так просто.

Аспирированное произношение древне-тибетских звонких начальных согласных подтверждается, и это очень важно, также и данными самого древне-тибетского языка.

1. Проф. Li в цитированной выше работе приводит многочисленные примеры чередований начальных согласных в семантически родственных корнях.

Напр.:	*g ∾ kh	*gaŋ-ba ∾ khaŋs
	*dž ∾ tšh	*^{n}džun-pa ∾ ^{n}tšhun-pa
	*dz ∾ tsh	*^{n}dzog-pa ∾ ^{n}tshogs-pa, tshogs
	*b ∾ ph	*bubs-pa ∾ phubs и т. п.

Невольно напрашивается вопрос, почему же, собственно, чередуются звонкие непридыхательные с глухими придыхательными. Гораздо естественнее было бы чередование звонких с глухими чистыми (g ∾ k, b ∾ p...) или же глухих чистых с глухими же аспирированными (k ∾ kh, p ∾ ph...). Наши bɦ, dɦ, gɦ... значительно упрощают картину. Чередовались не g ∾ kh, b ∾ ph.., а значительно более однородные согласные: gɦ ∾ kh, bɦ ∾ ph; dɦ ∾ th, dzɦ ∾ *tsh и т. п. Мы имеем, следовательно, не *gaŋ-ba ∾ khaŋs, а gɦaŋ-ba ∾ khaŋs, не ạ-dzog-pa ∾ ạ-tshogs-pa, а ạ-dzɦog-pa ∾ ạ-tshogs-pa и т. п.

2. Li, далее, показал, что тибетские ạ-tšh, ạ-tsh образовались из ạ-š, ạ-s (ср. ạ-tšhad-pa ∾ šod-pa, ạ-tsho-ba ∾ sos), тибетские же *ạ-dž и *ạ-dz из ạ-ž и ạ-z (ср. *ạ-džig-pa ∾ žig-ral-ba, *ạ-dzad-pa ∾ zad). Опять-таки возникает вопрос, почему ạ-š и ạ-s превратились в глухие аспирированные аффрикаты ạ-tšh и ạ-tsh, тогда как ạ-ž и ạ-z превратились в звонкие неаспирированные *ạ-dž и *ạ-dz? И здесь наши džɦ, dzh отлично объясняют дело. Подобно тому как ạ-š, ạ-s превратились в аспирированные аффрикаты, так и ạ-ž, ạ-z, в свою очередь, превратились в аспирированные аффрикаты, но только звонкие:

^{n}ž > ^{n}džɦ	подобно	^{n}š > ^{n}tšh
^{n}z > ^{n}dzɦ	подобно	^{n}s > ^{n}tsh.

Параллелизм, как мы видим, полный.

Против нашей интерпретации བ, ད, ག, ཇ, ཛ как звонких аспирированных согласных имеется, однако, одно возражение и притом на первый взгляд довольно серьезное. Ведь если графемы བ, ད, ག... служили в древне-тибетском для передачи звонких аспирированных согласных, то мы были бы в праве ожидать, что тибетцы при помощи этих графем будут передавать аналогичные санскритские звуки. Этого, однако, нет. Тибетские བ, ད, ག.., как известно, соответствуют санскритским графемам для звонких неаспирированных согласных, тогда как санскритские звонкие аспирированные передавались тибетцами при помощи བ, ད, ག, но при этом добавлялось подписное h. В чем тут дело, мы разберем ниже, и я позволю себе поэтому оставить пока это возражение неопровергнутым.

Нам остается сказать здесь несколько слов о произношении графем བ, ད, ག в роли конечных согласных корня. Поскольку ни древне-тибетский, ни современные диалекты не содержат никаких указаний на аспирированное произношение этих конечных согласных, мы должны будем остаться в этом случае при традиционной интерпретации и трактовать их как -b, -d, -g.

III

Начальные bɦ, dɦ, gɦ, dzɦ, džɦ в сочетании с префиксами

Теперь мы можем перейти к рассмотрению тех случаев, где начальные звонкие аспираты bɦ, dɦ, gɦ, džɦ, dzɦ входят в сочетание с различными префиксами.

В тех случаях, когда перед этими согласными стояли префиксы m или ⁿ,[1] произношение этих согласных оставалось без изменений, или иначе говоря, их аспирация, как и аспирация аспирированных глухих, сохранялась.

Напр.: mdɦag-pa, ⁿdɦod-pa; ср. mtho, ⁿkhod-pa.

[1] Обратим внимание на то обстоятельство, что фонема, передававшаяся в тибетском алфавите буквой འ (в транслитерации ạ), произносилась в древне-тибетском различно, в зависимости от того, стояла ли она перед гласной или же перед согласной. В первом случае она произносилась как очень слабая звонкая аспирация (ʰ), тогда как во втором случае на базе этой ларингальной аспирации в ДТ развился еще и элемент назализации (ⁿ). Судя по тому, что этот префикс не оказал никакого диссимиляторного влияния на аспирацию следующего за ним согласного, мы можем думать, что ларингальная аспирация этого префикса была крайне слаба и практически была поглощена назальным элементом. Это подтверждается, между прочим, многочисленными транскрипциями эпохи Тан, в которых китайские mb, nd, ndž, ndz, ŋg регулярно передаются соответствующими тибетскими согласными с префиксированным ⁿ. Это ⁿ объясняет также отражение этой фонемы в виде m и n в диалектах района Кхам.

В тех же случаях, когда перед этими согласными стояли префиксы s, r, l, bɦ, dɦ, gɦ, дело обстояло несколько сложнее. Мы уже видели выше, что префиксы этого типа оказывали диссимилирующее влияние на аспирацию глухих аспирированных согласных, превращая их в глухие чистые. Было бы, однако, странно предположить, что диссимилирующее влияние этих префиксов распространялось только на глухие аспирированные согласные и не затрагивало бы звонких аспирированных согласных. Мы можем поэтому спокойно сделать вывод, что во всех тех случаях, когда начальные звонкие аспирированные согласные сочетались с префиксами s, r, l, bɦ, dɦ, gɦ, эти префиксы оказывали на звонкие начальные согласные такое же диссимилирующее влияние, что и на начальные глухие, т. е. их дезаспирировали.

Напр. s+dɦ произносилось как sd, gɦ+dɦ произносилось как gɦd и т. п. (ср. выше, стр. 288—289).

Это подтверждается и данными СТД. Мы уже видели выше, что древне-тибетские bɦ, dɦ, gɦ, dzɦ, džɦ сохранили свою аспирацию в диалектах ЦТ до наших дней. Однако в тех случаях, когда перед этими согласными в древне-тибетском стояли префиксы, аспирация в диалектах ЦТ оказалась утраченной.

	ДрТ		ЦТ
Напр.:			
	gɦaŋ	>	gɦaŋ
но	sgo	>	go[1]
	dɦgu	>	gu.

Мы видим, таким образом, что с точки зрения влияния на последующий согласный все тибетские префиксы распадались на две резко отграниченные группы.

Первая группа состояла из назальных неаспирированных префиксов m и ⁿ, после которых были возможны только аспирированные взрывные и аффрикаты.

Вторая группа состояла из неназализированных префиксов, которые все в большей или меньшей степени были спирантизованы или аспирированы. После этих префиксов (s, l, r, bɦ, dɦ, gɦ) были возможны только неаспирированные (или, скорее, дезаспирированные) взрывные и аффрикаты.

[1] В отличие от ДТ в диалектах ЦТ потеря аспирации пошла еще дальше и охватила также случаи типа ДТ mgɦ > ЦТ mg.

Это соотношение между древне-тибетскими префиксами и начальными согласными имеет первостепенное значение для правильного понимания древне-тибетской фонологической системы и может быть наглядно представлено в следующих двух таблицах:

Первая группа

Префиксы	*Начальные согласные*
m, ^{n}	bɦ, dɦ, gɦ, džɦ, dzɦ
	ph, th, kh, tšh, tsh

Вторая группа

Префиксы	*Начальные согласные*
s, l, r, bɦ, dɦ, gɦ	b, d, g, dž, dz (< bɦ, dɦ, gɦ, džɦ, dzɦ)
	p, t, k, tš, ts (< ph, th, kh, tšh, tsh).

Вполне понятно, что пары p ∾ ph, t ∾ th, k ∾ kh... и пары b ∾ bɦ, d ∾ dɦ, g ∾ gɦ... отнюдь нельзя фонологически приравнивать друг к другу. Первые пары представляли собою самостоятельные фонемы, могли стоять в начале слова (напр.: ko-bɦa, tib-ril, pags-pa рядом с kho, thib-pa). В тибетском письме они передавались поэтому различными буквами. Различие между b ∾ bɦ, d ∾ dɦ, g ∾ gɦ... было, наоборот, не фонологическим, а фонетическим. Наличие, resp. отсутствие, аспирации в этих согласных зависело, во-первых, от того, стояли ли они в начале или в конце корня (напр.: dɦod-pa), а в первом случае и от префикса (напр.: sdug-pa, но ^{n}dɦug-pa). Беспрефиксные же формы начинались исключительно на аспирированные звонкие (bɦ, dɦ, gɦ...) и никогда не на звонкие чистые (b, d, g...). Отсюда — отсутствие необходимости передавать аспирированное и неаспирированное произношение этих согласных различными буквами.

Двойное произношение тибетских графем བ, ད, ག, ཇ, ཛ позволяет нам теперь устранить то возражение против нашей интерпретации их графем, которое мы привели выше (стр. 292). Поскольку аспирированное и неаспирированное произношение тибетских фонем b(ɦ), d(ɦ), g(ɦ), dž(ɦ), dz(ɦ) зависело, как мы видим, исключительно от их положения в корне и фонетического окружения, и, следовательно, их постоянным элементом была звонкость, а отнюдь не аспирация, постольку для передачи их и были выбраны буквы བ, ད, ག, ཇ, ཛ, соответствующие санскритским звон-

ким неаспирированным согласным. В тех же случаях, когда тибетцам надо было при помощи своих букв передать санскритские звонкие аспирированные согласные (которые в этом языке были самостоятельными фонемами), тибетцы прибегали к помощи подписного h и тем самым подчеркивали постоянный, фонологический характер аспирации санскритских согласных.

Нам надо теперь остановиться еще на одном важном обстоятельстве. Давно известно, какую большую морфологическую роль играет в тибетском языке чередование корневых согласных. Conrady в своей фундаментальной работе «Eine Indochinesische Causativ-Denominativ Bildung» (1886) полагал при этом, что чередоваться в древне-тибетском могли все сорта взрывных согласных: звонкие (*d, *g...), глухие (t, k...) и глухие аспирированные (th, kh...). Li в цитированной выше работе значительно видоизменил это положение Conrady, показав, что неаспирированные глухие согласные не принимали участия в чередовании, и сведя, таким образом, трехчленную формулу Conrady к двухчленной. Исходя из нашей интерпретации древнетибетских звонких согласных, мы можем теперь значительно уточнить формулу Li и констатировать, что в древне-тибетском чередовались не просто звонкие с глухими аспирированными, а аспирированные с аспирированными глухими, что фонетически, конечно, гораздо более просто и естественно. Соотношение между всеми этими формулами можно представить в следующей таблице:

Conrady	Li	Драгунов
*g ∾ k ∾ kh	*g ∾ kh	gɦ ∾ kh
*d ∾ t ∾ th...	*d ∾ th...	dɦ ∾ th...

Чередование корневых согласных играло, повидимому, большую роль и в архаичном китайском языке. Как показал Karlgren (см. его интересную работу «Word Families in Chinese», 1933), в этих чередованиях могли принимать участие звонкие (d, g...), звонкие аспирированные (dɦ, gɦ...), глухие (t, k...) и глухие аспирированные (th, kh...).

В связи со всем вышеизложенным невольно возникает вопрос, нельзя ли архаичные китайские неаспирированные согласные также рассматривать как дериваты согласных аспирированных (влияние исчезнувших префиксов?) и свести, таким образом, четырехчленную формулу Karlgren'а к формуле двухчленной. Ответ на этот вопрос выходит уже из рамок настоящей статьи, и я надеюсь вернуться к нему в другой работе.

ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАД. НАУК СССР
Том VII

А. А. ФРЕЙМАН

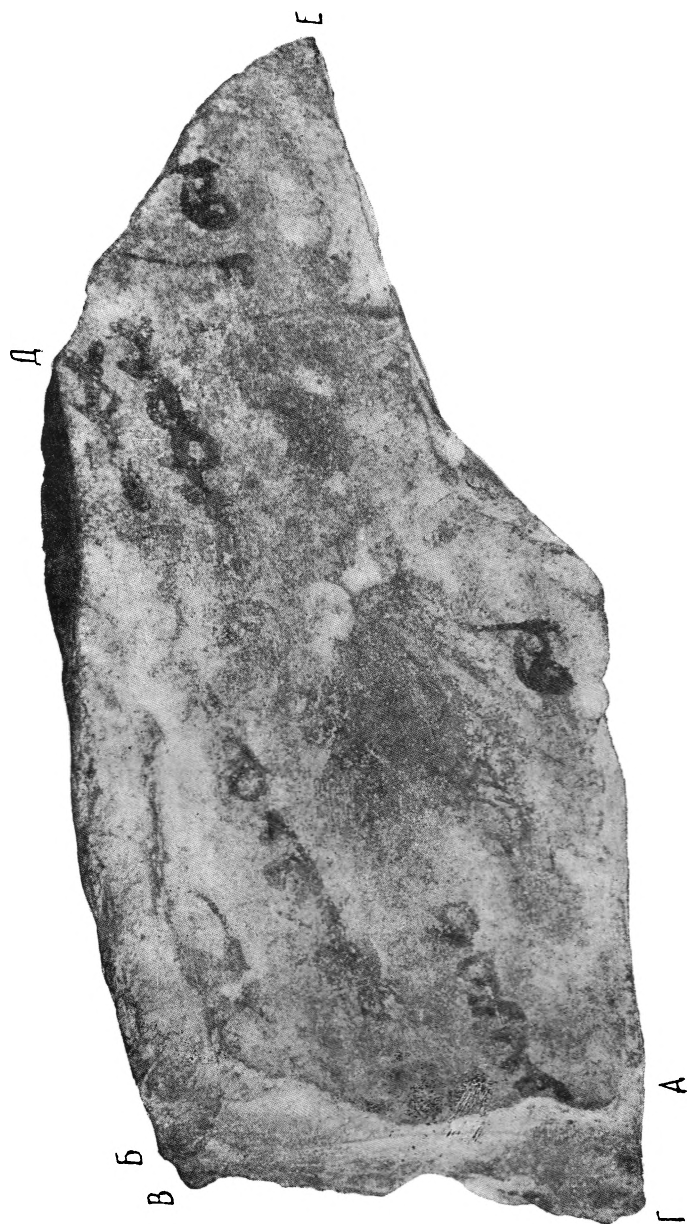
Согдийская надпись из Старого Мерва

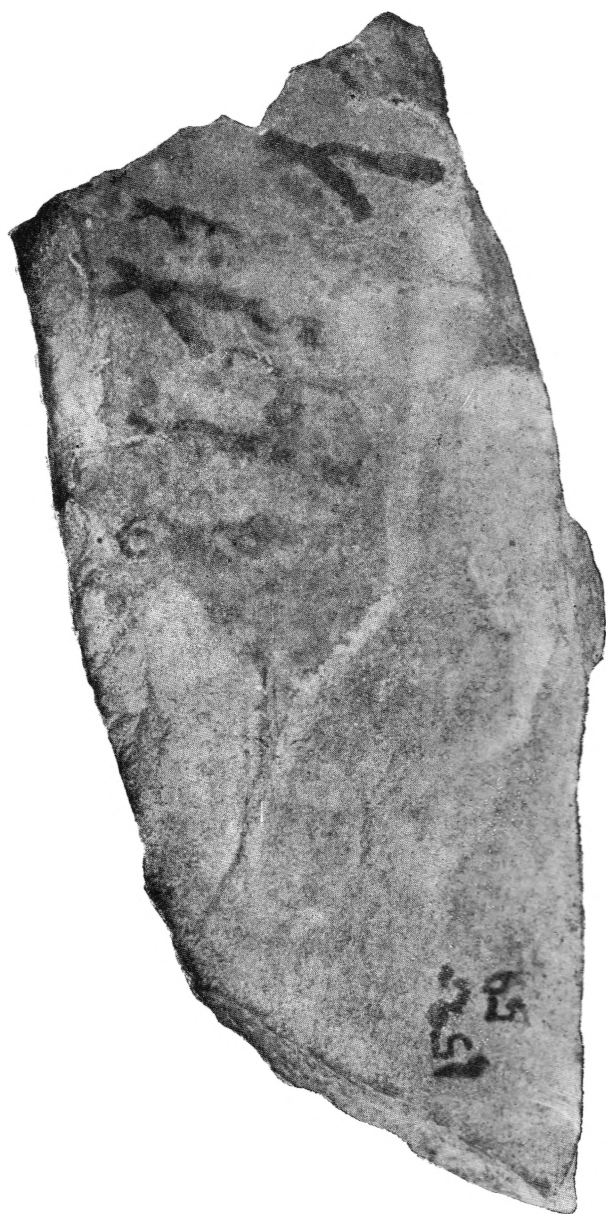
К числу согдийских письменных документов, добытых в 1933 г. советскими учеными на горе Муг в Таджикской ССР,[1] прибавился еще один средне-азиатский согдийский документ. При раскопках в Старом Мерве (Гяур Кала) был найден среди разных вещественных документов обломок глиняного сосуда, на обеих сторонах которого имеются надписи. Я получил возможность ознакомиться с документом и убедился, что надписи — согдийские. Опыт чтения этих надписей я ниже предлагаю в надежде, что дальнейшие работы, быть может, позволят уточнить чтение или исправить его.

Названный обломок — из обожженной глины, неправильной формы, слегка изогнутый, длиною в 6.5—14 см, шириною от 1 до 6 см и толщиною в 3 см. На части выпуклой стороны сохранилась глазурь размером в 5 × 7 см (приблизительно около половины поверхности).[2] Длина вогнутой стороны — от 7 до 12 см. Толщина обломка, быть может, позволит судить о приблизительных размерах сосуда (вероятно, хума), частью которого он был. Весьма существенным является вопрос о том, сделаны ли надписи на обломке сосуда, или же на цельном сосуде, до того как он был разбит. Правильный ответ на этот вопрос мог бы облегчить уточнение культурно-исторической обстановки, в которой были сделаны надписи и в которой был найден обломок. Если бы оказалось возможным установить, что надписи были сделаны на цельном сосуде, то следовало бы заключить, что они сделаны на месте, где они были найдены, in situ в Мерве, и что, следовательно, во время, к которому относятся наши надписи, в Мерве было, на ряду с коренным, население, говорившее, писавшее и читавшее на

[1] См. Согдийский сборник, Л., 1934, стр. 7—17, 33—51.

[2] К сожалению, некоторые внешние особенности обломка, как, например, кривизна поверхности, глазурь, не могли быть показаны на снимке.


Е
Д
Б
В
А
Г



согдийском языке, так как трудно предположить, чтобы глиняный сосуд (хум), как можно судить по толщине обломка — значительного размера, был привезен из Согда в Мерв, где подобные сосуды выделывались в достаточном количестве. Если бы, напротив, можно было доказать, что надписи сделаны были не на цельном сосуде, а на обломке его, то допущение о привезении надписей из Согда было бы скорее возможно, и одна данная находка согдийских надписей на обломке сосуда в Мерве, сама по себе, не могла бы еще свидетельствовать о наличии там согдийского населения, согдийской колонии. К сожалению, с уверенностью ответить на этот вопрос трудно. Известно, однако, что согдийцы, будучи вместе с близкими им парфянами посредниками в торговле Китая с Римом, основывали на этом пути торговые фактории, колонии. Существование такой колонии в Мерве в эпоху, к которой относятся наши надписи, a priori вероятно.[1]

Наличие надписей на обеих сторонах обломка не давало бы еще возможности говорить о том, что они были сделаны не на цельном сосуде, а на обломке его. Они могли быть сделаны в верхней его части на наружной и доступной для писавшего внутренней его поверхности. Лишь их палеографический и текстуальный анализ вместе с изучением дошедшего до нас обломка мог бы дать некоторые указания по этому вопросу.

Надпись на внутренней (вогнутой) стороне обломка в настоящем его виде (табл. I) состоит из 4—5 строк. Наибольший материал для суждения о надписи и форме обломка к моменту нанесения на нем надписи или об этом обломке как части цельного сосуда дают вторая и третья строка. Контекст этих строк, представляющий адрес, обращение к знатному владетельному лицу, весьма близкий по титулатуре адресата к титулатуре, известной уже нам по согдийским рукописям собрания с горы Муг,[2] позволяет установить, что последнее слово второй строки связывается непосредственно с первым словом третьей строки, что оно, поэтому, было последним в этой строке, вне зависимости от того, была ли сделана надпись на обломке или на внутренней стороне цельного сосуда. При предположении, что надпись сделана на обломке, вытекало бы, что линия ребра внутренней поверхности обломка А — Б, в нынешнем состоянии обломка, была близка к первоначальной, так как первое слово третьей строки, в котором пять или шесть

[1] С. Л. Волин любезно обратил мое внимание на упоминание арабских источников о существовании в Мерве местности с названием Согд سويقة الصغد. См. Kitâb Al-Ansâb of Al-Sam'ânî, Gibb memorial, vol. XX, p. 318; Jacut's Geographisches Wörterbuch, herausg. von F. Wüstenfeld, Leipzig, 1868, Bd. III, S. 200, 10.

[2] Напр. рукопись 19 B 16: *'t βγw γwβw Rβčh ''wth.*

букв, не умещалось в конце второй и должно было быть перенесено в третью. Форма последней буквы последнего слова третьей строки — загиб ее нижней части влево — заставляет думать, что первоначально она связывалась налево с другой несохранившейся буквой, заканчивавшей это слово. Судя по контексту, это слово, зависящее от предлога *'t* начала адреса так же, как и второе и третье слово второй строки *βγw γwβw* и предпоследнее слово третьей строки, было оформлено показателем винительного падежа. Таким образом третья строка была несколько длиннее, чем ныне. От первой строки сохранились лишь четыре буквы, к тому же лишь две последние более или менее ясные. Контекст первой строки, вероятно заключал название лица, которое писало или от чьего имени писалось обращение, составляющее содержание следующих строк. Поверхность обломка по линии первой строки направо от сохранившихся букв отбита, что, к сожалению, не может быть прослежено на фотографии. Это повреждение и уничтожило начало первой строки. Отбита также часть поверхности выше первой строки; эта небольшая часть также могла первоначально быть покрытой несколькими знаками. Так как последнее слово второй строки, как говорилось выше, непосредственно примыкает в контексте к первому слову третьей строки, а первое слово второй строки является началом адреса, то можно думать, что на обломке левее линии Д — Е, по крайней мере в верхней ее части, где начало второй и третьей строки, текста, связанного с данным адресом, не существовало. Возможно предположить также поэтому, что эта линия (Д — Е) была близка к ребру обломка в первоначальном его виде.

Надпись на наружной (выпуклой) стороне обломка (табл. II) дает мало данных для суждения о его первоначальной форме; все слова этой надписи находятся на глазури, по одному слову в каждой строке, причем от слова в последней (седьмой) строке сохранилась лишь одна буква. Следует думать, очевидно, что первоначальный текст надписи на этой стороне обломка был больше, чем тот, который от нее сохранился, а остальная часть погибла вместе с отпавшей верхней частью поверхности (глазурью).

На боковых гранях обломка, составляющих его толщину (напр.: А — Б — В — Г, табл. I), нигде следов письменных знаков нет, что могло бы быть некоторым доводом в пользу того, что надпись была сделана на цельном сосуде, а не на обломке. Отношение направления строк на обеих сторонах друг к другу — приблизительно перпендикулярное.

Надписи сделаны черной краской, обычного типа курсивным согдийским алфавитом, известным уже нам по рукописям различных собраний VIII в.

На наружной (выпуклой) стороне, где сохранилась глазурь, краска сохранилась хорошо; на внутренней (вогнутой) — некоторые слова или буквы стерты или плохо сохранились. Данный обломок найден в слое, в котором были также обнаружены монеты, по определению О. И. Смирновой относящиеся к концу I или к началу II в. хиджры, т. е. приблизительно к VIII в. н. э., ко времени, к которому относятся и наше собрание согдийских рукописных документов с горы Муг и большинство рукописей других собраний. В виду того, что слои могли подвергнуться смещению, необходимо считаться с возможностью, что данная находка может относиться к более раннему слою и времени, чем найденные там же монеты. Палеографические данные надписи не служат препятствием к отнесению находки к несколько более раннему (на 1—2 столетия) времени.

Данная находка следов согдийской письменности в Мерве не является первой. Об уйгурских (согдийских?) письменах на бараньей лопатке, найденной там же, в Гяур Кала, сообщил в отчете о своих раскопках R. Pumpelly.[1] Некоторым косвенным свидетельством в пользу наличия в Мерве согдийского населения могло бы служить сасанидское блюдо из собрания Эрмитажа (Я. И. Смирнов. Восточное серебро. СПб., 1909, табл. XXV, № 53) с изображением Варахрана I, если правильно чтение надписи на ней Э. Херцфельдом. Последний считает эту надпись согдийской и первое слово читает *mrγwt''w*, толкуя его как *marγ-x^{v}atāv*, т. е. «владетель Мерва».[2]

Чтение надписи

A. На внутренней (вогнутой) стороне (табл. 1).[3]

1. . . . . *čn*
2. *'t βγw γ̣ẉβw Rβčh*
3. *''wth prnw . . δw twrγn[w]*
   ? ?
4. *wt* . . . . .
5. . . . . *wt* . . . .

[1] R. Pumpelly. Explorations in Turkestan. Expedition of 1904. Prehistoric civilisations of Anau, origins, growth, and influence of environment. Ed. by . . . director of the expedition, in two vol., vol. I, pp. 197—198. К сожалению, мои попытки найти эту лопатку, равно как и упомянутый там же обломок сосуда с пехлевийской (?) надписью, пока не увенчались успехом.

[2] E. Herzfeld. Kushano-Sasanian coins. Memoirs of the Archaeological survey of India, № 38, Calcutta, 1930, p. 23. О чтении Херцфельда любезно напомнила мне К. В. Тревер.

[3] Точка под буквой обозначает различную степень неясности знака; точка вместо буквы — крайнюю степень неясности, препятствующую чтению; квадратные скобки [] — восстанавливаемую букву.

Слово в начале четвертой строки *wt*, как видно на фотографии, написано жирно, в то время как от другого слова в этой строке сохранились лишь следы. Можно предположить, что это слово *wt* не связано с другим словом этой строки и так же, как и слово *wt* следующей пятой строки, является скорее какой-то отметкой.

Приблизительный перевод этой надписи облегчается наличием в Мугском собрании рукописей с титулатурой адресата, близкой к данной.[1]

Опыт перевода

1.

2. богу царю великому

3. уделов[2] славному (?) тархану

4. удел (?)

5. удел (?)

Rβčh представляет, повидимому, идеограмму *Rβ* 'большой' и суффикс прилагательного — *čh*. О слове *''wth* в значении 'удел' см. статью «Датированные согдийские документы с горы Муг в Таджикистане».[2] Правописание слова *twrγn*[*w*] вместо *trγn* или *trγ'n*[3] 'тархан' — титул находившихся под покровительством турок владетельных лиц Средней Азии — с колеблющейся огласовкой (*trγ'n* || *twrγn*) *a* || *u* в первом слоге перед *γ*, отражающей огубленный характер произношения этого согласного, подтверждает высказанное мною в вышеназванной статье, на основании Мугской коллекции, на стр. 161—165, в согласии с более ранними источниками и высказываниями (Аль-Бӣрӯнӣ, Wellhausen), мнение о тождестве слов 'тархан' и 'тархун' (в действительности 'тархван') и о тождестве Диваштича и Тархуна.

[1] Ср. выше, стр. 297, прим. 2.

[2] См. А. А. Фрейман, Датированные согдийские документы с горы Муг в Таджикистане (Доклады группы востоковедов на сессии Академии Наук СССР 20 марта 1935 г.), Труды Института Востоковедения, XVII, М.—Л., 1936, стр. 141. Пользуюсь случаем дополнить ее указанием на приведенный Ф. В. К. Мюллером, в приложении к статье о «персидских» календарных терминах из неизданных манихейско-согдийских текстов, список названий согдийских месяцев (F. W. K. Müller. Die «persischen» Kalenderausdrücke im chinesischen Tripiṭaka, SPAW, Berlin, 1907, S. 8). Приведенные в этом списке названия для второго месяца — خورژينج خوررزن — очевидно соответствуют *γwryznyčh* наших документов.

[3] См. стр. 153, 155 (фиг. 4) и 161—165 цитированной выше статьи.

Б. На наружной (выпуклой) стороне (табл. 2).

1. *pryw*
   n
   β
2. *'δh*
3. *20—20*
4. *'δry'*
5. *'δh*
6. *δ*

Опыт перевода

1. вместе (?, слава?)
2. два (? вещь?)
3. 20—20
4. три
5. два (? вещь?)
6. ?

Отсутствие здесь контекста, то обстоятельство, что от отдельных строк сохранилось лишь по одному слову, крайне затрудняет перевод этих слов. Тем не менее, несомненное наличие в двух строках числительных: в третьей строке числительного 40, обозначенного цифрой, и в четвертой строке — слова 'три', написанного буквами, а может быть также во второй и пятой строке, где *'δh*, быть может, написано вместо обычного *'δw* 'два', позволяет предполагать, что контекст этих строк в первоначальном виде представлял перечисление каких-то вещей или обозначал вместимость сосуда, на котором они были написаны и от которого сохранился обломок.

Резюмирую вышеприведенные данные об обломке и надписи на нем. Надпись на вогнутой (внутренней) (табл. 1) стороне обломка адресована какому-то знатному, быть может владетельному лицу. Надпись на выпуклой (внешней) (табл. 2) стороне в сохранившейся части на глазури представляет, повидимому, указание на число каких-то предметов, на количество их. Вероятнее всего, надписи сделаны на цельном сосуде, а не на обломке сосуда, и надпись на выпуклой поверхности обозначала содержимое сосуда; надпись на внутренней стороне поверхности была сделана в верхней, доступной для писавшего, как было уже сказано выше, поверхности

сосуда, причем грань Д — Е должна была близко подходить к верхнему краю горлышка сосуда, так как начала второй и третьей строки сохранились, а надпись на внутренней стороне не могла быть сделана далеко от края сосуда. Не вполне понятным может казаться наличие адреса, посвящения на внутренней стороне (горлышка) сосуда, и это обстоятельство могло бы говорить против только что высказанного взгляда. Но посвящение могло быть написано также и на несохранившейся наружной части сосуда, а Мугская коллекция документов сохранила нам образцы писем с двумя адресами: в начале и конце письма.

Каково бы ни было решение этого вопроса: написана ли эта надпись на цельном сосуде и является ли данная находка находкой in situ, с очевидностью демонстрирующей употребление известной частью населения Мерва VIII в. согдийского письма и языка, или же эта надпись сделана на обломке, употребленном в качестве материала для письма, обломке, который с надписью мог быть привезен из другого места, — во всяком случае несомненно большое культурно-историческое значение этой находки, вызывающее пожелание дальнейших в этом направлении успехов.

Ленинград.
Декабрь 1936 г.

А. Н. БЕРНШТАМ

Руническая надпись в уйгурской рукописи

В последние годы был опубликован ряд мелких рунических надписей с территории Монголии, Минусинского края и Средней Азии. Как исторический материал эти надписи незначительны, но их публикации, несомненно, важны для выяснения ареала распространения и палеографии древнетюркского письма, которая, кстати сказать, еще очень слабо разработана. Для изучения вопросов палеографического порядка необходим учет всех надписей, пусть порой даже не могущих быть прочитанными, ибо необходимо накопление того фактического минимума, который позволил бы перейти к первичным обобщениям. Поэтому бесспорный интерес представляет собой, в частности, публикация С. Маловым уникальной надписи на деревянной палочке,[1] недавно найденные надписи на серебряных сосудах и других предметах, имеющие уже себе аналогии по известным изданиям П. Мелиоранского и В. Радлова.[2]

Накопление графического материала по рунике, повторяем, необходимо в целях уточнения наших знаний о палеографии, для датировки разных типов письма, с использованием иногда и малоценных по содержанию надписей, для датировки сопутствующего археологического материала.

Настоящая заметка посвящена публикации одной маленькой надписи, наиболее п о з д н е й из всех датированных, имеющей поэтому бесспорный интерес. Она представляет собой п и с ь м о, а не графити.

Предлагаемая вниманию надпись аналогична «уставу» Селенгинского камня, отличаясь в свою очередь от техники письма восточно-туркестанской руники.

[1] С. Е. Малов. Таласские эпиграфические памятники. Материалы Узкомстариса, вып. VI—VII, М.—Л., 1936.

[2] С. Киселев. Саяно-Алтайская археологическая экспедиция 1935 г. Советская Археология, № 1, 1936.

В недавно изданных W. Bang'ом уйгурских рукописях на оборотной стороне лондонского фрагмента была руническая надпись, которая W. Bang'ом не была переведена.[1] «Auf der Rückseite der Londoner Rolle befindet sich eine Zeile in köktürkischen Runen, die wir zweifelnd lesen möchten: kör(ü)g | irid(i)m [см. рис. 1] (das erste Zeichen des zweiten Wortes ist uns unbekannt). Diese Rolle muss also doch wohl ein relativ höheres Alter haben» — сообщает по поводу надписи W. Bang.[2]

Датируя уйгурскую рукопись XI—XII вв., W. Bang предполагает, что руническое письмо существовало до указанной эпохи. Самые поздние датированные рукописи, написанные руникой, относятся V. Thomsen'ом к началу IX в.[3] Мы предполагаем, что ко времени уйгурской рукописи это письмо практического значения не имело.

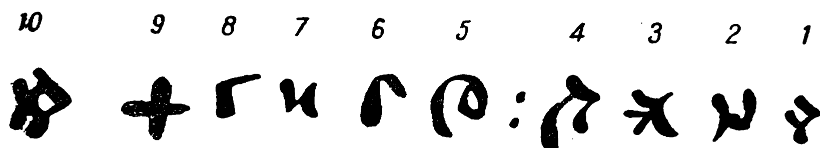


Рис. 1.

Надпись имеет десять букв, написанных «небрежной» руникой. Начертания букв несколько своеобразны. Надпись сделана кистью (тушь), с характерными для так наз. уйгурской руники чертами в буквах (отжим кисти). Стиль письма несколько напоминает кыркызское письмо. Отдельные буквы являются значительными видоизменениями знаков рунического алфавита. Таковы буквы 3-я, 4-я и 5-я, отчасти 7-я. Для чтения этих букв мы составили, подобно O. Donner'у,[4] сравнительную таблицу возможных изменений отдельных начертаний (см. рис. 2).

Надпись разделена на две буквенные группы обычным для рунического письма двоеточием, так что можно предполагать, что мы здесь имеем два слова, причем во втором — характерное окончание для прошедшей формы глагола первого лица *d'm*, т. е. что в свою очередь дает возможность предполагать в первых буквах имя, во вторых — глагол. Первая

[1] W. Bang in Verbindung mit Dr. A. von Gabain und Dr. G. R. Rachmati. Türkische Turfantexte. VI. Das buddhistische Sutra Säkiz jükmäk, SPAW, VIII—X, 1934, стр. 9.

[2] Ук. соч., 97.

[3] Dr. M. A. Stein's Mss in turkish «runic» script from Miran and Tun-Huang, JRAS, 1911.

[4] Wörterverzeichniss zu den «Inscriptions de l'Jenissei», Mémoire Soc. finno-ougr.. IV, Helsingfors, 1892; ср. его «Sur l'origine de l'alphabet turc du Nord de l'Asie». Journal de la Soc. finno-ougr., XIV, вып. 1, 1896.

и вторая буквы имени не вызывают сомнений в том, что это палатальные *k* и *й*. Буквы третья и четвертая по приведенной таблице дают четыре буквы, из которых мы берем две, также палатальные, ближе подходящие к первым двум как по начертанию, так и по закону сингармонизма.

Таким образом первые четыре буквы мы транскрибируем k¹ügr[1] и читаем как собственное имя Kügür, расходясь с W. Bang'ом.

Во втором слове неясной является буква пятая, которая может быть и буквой *b* (мягкой и твердой) и мягким йотом (j).[1] Мы читаем ее как мягкую *b* в виду того, что дальше идут мягкие *t* (буква 7-я) и *d* (буква 9-я). Эта буква (5-я) является, пожалуй, единственной спорной во второй буквенной группе. W. Bang ее вовсе опустил, заявив: «Das erste Zeichen des zweiten Wortes ist uns unbekannt». Слово транскрибируется легко b¹itid¹m. Букву, принятую W. Bang'ом за *r*, мы читаем как *t*.

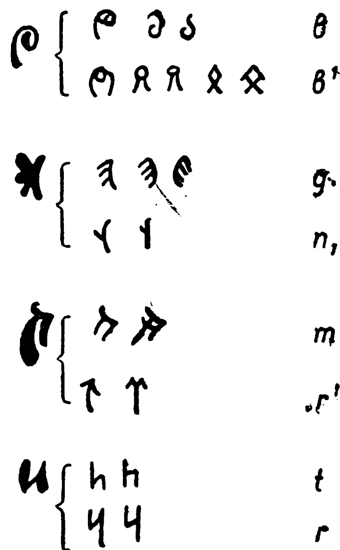


Рис. 2.

Таким образом надпись следует читать: [runic inscription], что значит: «Я, Кугур, написал», и принадлежит, возможно, уйгурскому переписчику, сведущему в древне-тюркском руническом письме. Практически вряд ли для XI—XII вв. руническое письмо имело значение.

---

[1] Было бы правильнее во втором слове начать слово с буквы [rune], а не [rune], но здесь, вероятно, ошибка писца, и мы взяли второй, более верный, вариант.

А. А. ФРЕЙМАН

Хорезмийский язык

Культурное строительство народов Союза вызывает усиленный интерес к историческим проблемам, понимаемым в самом широком смысле этого слова. История народов, населяющих ныне территорию Союза, включает также исследование их культурных связей с зарубежными народами, начиная с самой глубокой древности. Глубоко ошибался бы тот, кто полагал бы, что история Древнего Востока, хеттская или халдская клинопись могут быть исключены из числа вопросов, освещающих историческое прошлое нашей страны.

История Средней Азии должна изучаться и изучается в широкой исторической перспективе. Культурные оазисы Средней Азии, как показали, например, раскопки в Анау, были очагами высоко развитой культуры в доисторическую эпоху. Культура Анау была одним из звеньев в цепи культурных очагов Передней Азии и Ирана, давность которых, по мнению компетентных специалистов, может быть прослежена до 4000 л. до н. э., а развитие ее в иранской керамике продолжалось почти до современности.

Одним из наиболее важных исторических документов являются язык, история языка и языков с их письменностями, памятниками языка, фольклором — вплоть до современных живых говоров. Языкознание есть наиболее точная обществоведческая дисциплина. В языке, в его грамматике и словаре, отражаются и вскрываются исторические судьбы его носителей, их племенные и культурные связи в прошлом, в самых причудливых, неожиданных для исследователя сплетениях. В истории науки известно много случаев, когда постулированные историей языка факты подтверждались впоследствии документами другого порядка. Поэтому вполне понятно то внимание, которое историческая наука уделяет языкознанию, а с другой стороны, ясно, что языковедческие занятия без исторической базы перестают быть наукой.

Многоязычно население Средней Азии. Оно относится преимущественно к двум языковым группам: тюркской и иранской. Вопросы изменения языковой карты, языковых взаимоотношений самым тесным образом связаны с историей народов Средней Азии. В настоящее время численно преобладают тюрко-язычные народы (узбеки, туркмены, киргизы, казахи, кара-калпаки и др.). Некоторая часть ирано-язычных народностей Средней Азии становилась постепенно «двуязычными» с таджикским и узбекским языками (таково, например, население Самарканда). Этот процесс постепенного распространения тюркских языков за счет иранских в целом действовал по тем же причинам и раньше, в течение многих веков. Аналогичные же процессы и параллельно с вышеуказанным действовали и внутри иранской группы, где таджикский язык практически внедрялся в среду местного населения, говорившего на восточно-иранских языках.

Если древнейшие памятники материальной культуры народов Средней Азии относятся ко временам за несколько тысячелетий до н. э., то значительно хуже здесь положение в отношении письменных документов на языках Средней Азии.

Они значительно моложе и относятся к первой четверти VIII столетия н. э. Это — открытые в 1933 г. в Таджикистане, на горе Муг, на левом берегу Зеравшана, остатки архива согдийского Тархуна-Диваштича, написанные согдийско-буддийским курсивом на согдийском языке.[1] Открытие этих документов в развалинах здания вместе с памятниками материальной культуры, in situ, в обстановке, о которой говорят арабские нарративные источники (Табари), не оставляет места сомнению в подлинности этих документов, в точности их датировки, в том, что язык этих документов — язык согдийский. Эти документы дали возможность подтвердить правильность высказанного ранее другими взгляда (на основании согдийских календарных названий у Аль-Бӣрӯнӣ), что подобные документы, добытые в начале этого столетия в Китае, написаны на согдийском же языке, на котором, повидимому, говорило население согдийских торговых колоний в Китае. Поскольку среди этих документов оказалось несколько писем, которые по некоторым основаниям (главным образом, палеографического характера) должны быть датированы на несколько столетий раньше остальных документов (относящихся к VIII веку), то terminus a quo согдийских документов, происходящих не из Средней Азии, но написанных на согдийском языке, одном из языков Средней Азии, может быть ото-

[1] См. Согдийский сборник. Ленинград, 1934. Издательство Академии Наук СССР.

двинут на несколько веков назад, к первым векам нашей эры. Найденный в 1936 г. в старом Мерве обломок сосуда (хума) с согдийской надписью на нем, относящийся приблизительно к тому же времени, что и большинство других согдийских документов, т. е. к VIII веку, имеет значение как показатель распространения согдийского языка в то время, но не углубляет наших знаний по истории согдийского языка. Несколько большее значение имеет найденный во время раскопок в Нисе небольшой обломок глиняной чаши с надписью письменами, характер которых близок к письменам текста авроманского пергамента. Мы имели бы в этой надписи (она должна быть, по всем данным, отнесена к началу нашей эры) образец парфянского письма. К сожалению, сохранившаяся часть этой надписи — всего три слова, притом все, повидимому, идеограммы, не увеличивают наших познаний в парфянском языке. Вместе с тем памятник этот не теряет своего культурно-исторического значения.

Таким образом наука не обладает пока подлинными письменными документами на языках Средней Азии, которые были бы древнее начала нашей эры. К счастью, историческая наука, историческое языкознание обладают рядом данных, которые позволяют судить с достаточной точностью об этнолого-лингвистической карте Средней Азии и ее изменениях и за столетия до нашей эры. К этим данным относятся: древне-персидские надписи Ахеменидов и Авеста, сравнительная и историческая грамматика иранских, индо-иранских языков, свидетельства историков и языковые: ассиро-вавилонские, греческие, латинские, армянские, китайские.

Ахеменидские надписи, Авеста и греческие историки дают нам представление о провинциях (землях), народностях Средней Азии, об их материальной культуре. Сравнительная грамматика иранских и индо-иранских языков и свидетельства греков говорят о чрезвычайной близости древне-иранских языков; отношение их друг к другу было отношением говоров, они «ὁμογλώττουσι παρὰ μικρόν».

Совокупность этих данных позволяет сказать, что мы ничего не знаем о языке населения, создавшего культуру Анау. Около начала II тысячелетия до нашей эры в Среднюю Азию, а затем и в Иран и северо-западную Индию проникли стоявшие на более низкой ступени культуры кочевники, говорившие на индо-иранских говорах. В Средней Азии говорят на древне-иранских, мало отличавшихся друг от друга, говорах. Основные народности ее: в западной части (нижнее течение Аму-дарьи), — хорезмийцы (древне-перс. *^{h}uvārazmiya*), к востоку от них (Самарканд, течение Зеравшана

и прилегающие области) — согдийцы (*suguda*, *σόγδοι*), далее к востоку и к северу — саки (*saka*, *σκύϑαι*). К IV—III векам до н. э. в истории иранских языков кончается эпоха, характеризуемая богатой флексией, и начинается или продолжается распад последней, упрощение, постепенное усиление аналитических элементов, — эпоха, которую принято называть средне-иранской. Интенсивность развития этих процессов различна по языкам: наиболее сильна она в языке персидском, менее сильна в Средней и Центральной Азии, где в языках согдийском и сакском (хотанском) еще в VIII веке н. э. отмечаются, в противоположность персидскому, остатки нескольких падежей.

К началу нашей эры, как следствие недостаточно еще выясненных событий в Центральной Азии, начинается из глубин ее движение народов, которое затронуло Среднюю Азию и Иран. Сначала двинулись иранцы — саки, прошедшие в восточный Иран (изменивший по ним свое древнее название *Zaranka* в Сеистан), а затем из Сеистана в Индию. За ними пошли Тохары, обосновавшиеся в северном Афганистане, хефталиты и, наконец, тюрки, тормозившие в VIII веке продвижение и упрочение власти арабов над Средней Азией, поддерживая или обещая поддержку враждебным арабам элементам из среды согдийцев. Союзниками же арабов по упрочению власти ислама в Средней Азии, их культурным авангардом, были принявшие ислам иранцы — персы. Начиная с VIII века, мы являемся в Средней Азии свидетелями парадоксального на первый взгляд явления — относительно быстрого продвижения, после потери персами политической независимости, персидского языка, персидских говоров и постепенного вытеснения ими восточно-иранских языков.

* * *

Набросанная только что схема изменения этнолого-лингвистической карты Средней Азии относится в полной мере и к Хорезму, к языку его населения. Лишь косвенные данные, историко-сравнительная грамматика иранских языков, служат матералом для построения общей схемы истории хорезмийского языка, подлинные документы которого в очень небольшом количестве (названия дней, месяцев, праздников, некоторых созвездий в написанном на арабском языке сочинении хорезмийца Аль-Бӣрӯнӣ) засвидетельствованы лишь для X века.

Хорезмийские фразы имелись в одном сочинении по фикху (автор — ат-Тарджумани).[1] Сочинение написано в первой половине

[1] Islamica, III, 1927, 190—213.

XII века.[1] В главах этого сочинения, посвященных браку, разводу, клятве и т. п., оказались формулы на хорезмийском языке, но без перевода. Это сочинение имеется в нескольких новых и неисправных рукописях в Стамбульских библиотеках. Новые данные по хорезмийскому языку, о которых речь ниже, дают возможность удовлетворительно установить, в значительной части, текст и перевести его. В журнале Islamica за 1927 г. приведены также по одной стамбульской рукописи около 40 слов (13 фраз) на хорезмийском языке из словаря Замахшари.

В 1936 г. в Институт Востоковедения была прислана из Астрахани С. А. Алимовым вместе с другими рукописями рукопись XIV века — сочинение хорезмийского законоведа (Кын'ят-ал-мунъя «Приобретение желанного пополнения достаточного») Мухтар аз-Захиди XIII века. Описание этой и некоторых других рукописей этого сочинения и словаря, о котором речь идет ниже, дано С. Л. Волиным в указанной выше статье. Это сочинение является собранием фетв по главам о браке, разводе, клятве и т. д. В сочинении — большое количество хорезмийских фраз и отдельных слов (всего слов около 3 000). Здесь имеются формулы развода, брака, клятвы и т. д., отдельные слова и названия предметов и даже небольшие диалоги. Обильная огласовка значительно помогает установлению надлежащего чтения хорезмийских слов. Особенную ценность присланной рукописи составляет пришитая позже к ней тетрадь в 22 листа, написанная другим почерком и заключающая три сочинения некоего ал-Имади, в том числе словарь: объяснение слов, которые приведены по-хорезмийски в только что названной книге. Последняя рукопись написана в XIV веке с автографа автора. После каждой хорезмийской фразы дан ее перевод на арабский или персидский язык.

Такое количество хорезмийских слов (довольно большое их число, правда, повторяется), притом приведенных в контексте фразами, с огласовками, дает возможность уже составить известную картину хорезмийского языка. Данное сочинение (XIII века, рукописи XIV века) заставляет сделать важный для Иранского языкознания и истории Средней Азии вывод, что еще в XIII—XIV веках, несмотря на отюречение, в Хорезме не вымер хорезмийский язык. Это обстоятельство позволяет по аналогии предположить, что в это время и соседний согдийский язык не вымер еще в гористой Согдиане, где и по сегодняшний день продолжает бытовать один из ново-согдийских говоров — ягнобский. В настоящее время Институт Востоко-

[1] См. статью С. Л. Волина в настоящем томе «Записок Института Востоковедения» — «Новый источник для изучения хорезмийского языка», стр. 101—113.

ведения готовит издание арабского текста с русским переводом и исследование о хорезмийском языке. Уже теперь в виде предварительного сообщения могут быть указаны некоторые основные его черты.

ПИСЬМО

Упомянутые хорезмийские фразы в сочинениях на арабском языке написаны, конечно, арабским алфавитом. Но, естественно, возникает вопрос, была ли у хорезмийцев письменность до принятия ими ислама и если была, то какая. Определенного ответа на этот вопрос дать невозможно, за отсутствием прямых данных. Тем не менее позволительно высказать предположение по этому вопросу, основанное на косвенных данных, истории иранских письменностей и, в частности, письменности ближайших соседей хорезмийцев — согдийцев.

Учителями иранцев в искусстве письма были их соседи, жители Междуречья, ассиро-вавилонцы и арамейцы, проникшие к тому времени (1-я половина I тысячелетия до н. э.) в Месопотамию. Благодаря недавней находке в Хамадане надписи с именем Ариярамна, в настоящее время большинство ученых склонно считать, что персидское клинообразное письмо было введено значительно ранее Дария и ранее Кира Великого. Известно теперь также, что клинообразное письмо в Иране не было обиходным, деловым письмом канцелярии, а употреблялось лишь в торжественных случаях, при закладке дворцов, у гробниц, на торговых военных путях и т. п. Деловым же письмом, письмом делопроизводства, было письмо арамейское, распространенное во всей Передней Азии.

Писцами в Иранском государстве были арамейцы и евреи, говорившие и писавшие на арамейском языке. С тех пор арамейские алфавиты утвердились прочно во всех областях Иранского государства и бытовали в них до распространения мусульманства, а одна из разновидностей их, именно согдийский алфавит, вышла далеко за пределы Иранского государства на Восток, дав начало через посредство уйгур монгольскому и манджурскому. Нам хорошо известны иранские алфавиты: средне-персидский (неправильно называемый, обыкновенно, пехлевийским), парфянский, манихейский и согдийский. Весьма правдоподобным будет поэтому предположение, что в Хорезме в домусульманскую эпоху был в употреблении алфавит арамейского же происхождения, близкий к согдийскому. Но документами, которые бы подтвердили это предположение, наука пока не обладает. Наши хорезмийские глоссы написаны арабским алфавитом, специально приспособленным при помощи особых диакритических

знаков, точек, к хорезмийской фонетике. Некоторые из этих знаков идентичны с теми, которые употребляются в арабской графике при применении ее к персидскому языку, например پ, три точки внизу, پَڇلب — *pickab* «стена». Для некоторых других звуков, не имеющихся ни в арабском, ни в персидском языках, применяется та же система, те же знаки, что и в других иранских (восточно-иранских) языках, в которых представлены те же звуки, например в афганском, где для *c* (*ts*) употребляется арабский ح, но с тремя точками наверху, — څ (см. пример выше). Эти примеры, общие для разных языков, могут свидетельствовать о выработанной системе, имеющей свою традицию, широко распространенную среди ирано-язычных народов.

Тем не менее, наличие большого количества разночтений в рукописях свидетельствует не только о небрежности переписчиков, но также и о колебаниях в употреблении графем, о некоторой неустойчивости в этом отношении самой традиции. Это естественно имеет отношение прежде всего к гласным, для выражения которых имеются в арабском алфавите matres lectionis ا, و и ى и так называемые «харакаты» (т. е. надстрочные и подстрочные знаки для них). Так же как это мы наблюдаем в согдийском, здесь может быть отмечена большая неустойчивость в употреблении matres lectionis. Наличие ا, و или ى отнюдь еще не свидетельствует о долготе гласных. И наоборот, долгие гласные могут быть выражены без matres lectionis; так, например, خوبام ذغد «хорошая дочь» с ا (алифом) после ب отнюдь не имеет долгого гласного во втором слоге первого слова, как мы это знаем из истории иранских языков, иранских энклитических местоимений. Вторым моментом, затрудняющим определение хорезмийского вокализма по данным текста, является то обстоятельство, что последние, отражая живую речь, передают ее, в меру умения писцов, со всеми комбинаторными изменениями звуков. Таким образом не всегда легко установить вокализм отдельных слов, но общая картина хорезмийского вокализма может быть выяснена и по данным текстам, конечно, при помощи исторической грамматики со всеми вытекающими из такого положения оговорками. Могут быть установлены следующие гласные фонемы: 5 долгих: *ā*, *ī*, *ū*, *ō*, *ē* и 3 кратких: *a*, *i*, *u*. Вокализм хорезмийского языка, таким образом, подобен вокализму согдийского, персидского и др. иранских (средне-иранских) языков.

Значительно легче, проще выяснить картину хорезмийского консонантизма, так как согласные графемы арабского алфавита, при всей их многозначимости, устойчивее надстрочных и подстрочных знаков для гласных.

В хорезмийском языке существовали следующие согласные фонемы, неизвестные в арабском, для которых требовалось изобрести новые знаки, видоизменить их посредством диакритических знаков. Это — наличные также в персидском языке *p* и *č*, которые передаются посредством арабских ب и ج, но не с одной, а с тремя точками внизу, — پ چ, а также свойственные специально восточно-иранским языкам: губно-губное β и зубная аффриката *c* (последняя отсутствует лишь в согдийских говорах). Обе эти фонемы передаются в наших хорезмийских материалах соответственно через ڤ и ځ с тремя точками сверху. Фонологическая функция этих графем как губно-губного спиранта и зубной аффрикаты определяется как сравнением их с афганскими, где они выполняют ту же роль, так и историко-сравнительной фонетикой иранских языков. Фонема *c* в хорезмийском языке соответствует согдийскому *č*, с одной стороны, а с другой — отражает так же как в осетинском языке, в ряде случаев, глухой взрывной зубной *t* перед передними гласными *i*, *e*; например *pickab* < *patiškamba* «стена» — согдийское *ptšknb*, и *aβāc* «пусть будет» < древне-иранское *bavāti*. Последний переход *t* > *c*, сближающий хорезмийский язык с осетинским языком, является лишним подтверждением происхождения алано-асов из Хорезма. Одной из особенностей всех восточных иранских языков, начиная с афганского и кончая осетинским, является исчезновение иранского придыхательного *h* после гласного; ср. ав. *xvāhayati* «бьет» = осет. *xuajuj*, согд. *γw'y*-. Хорезмийский язык в этом отношении является исключением, сохраняя эту фонему в любом положении: كاتاد دها «если я тебя ударю» (*h* в середине слова между гласными), پراخ هاقاخ كه كابين اكامكام «пусть будет разведенной та, на которой я женюсь» (*h* в начале слова).

Согласные звуки хорезмийского языка могут быть установлены в следующем составе:

Задненёбные *k*, *g*, *x*, *γ*
Палатальн. аффр. *č*, *ǰ*, шипящая *š*
Зубная аффр. *c*, свистящая *s*

Соответственный звонкий *dz*, наличный в сакском и осетинском, не имел особенного графического выражения, но может быть обнаружен.

Зубные *t*, *d*, *ϑ*, *δ*, *n*	Губно-зубн. спир. *v*
Губные *p*, *b*, *f*, *w*, *m*	Сонанты *y*, *r*, *l*

Более подробное фонологическое описание исторических корреспонденций в хорезмийском языке будет дано в готовящемся исследовании.

ИМЯ

Развитие флексии имен в хорезмийском не представляет никаких неожиданностей. Если осетинский язык, в окружении горских языков, отчасти уже на Кавказе, выработал морфемы из своих же собственных языковых материалов (послелогов и т. д.), то хорезмийский язык пошел по тому пути общего обеднения и ослабления флексии, по которому пошли и другие средне- и ново-иранские языки с персидским во главе.

Показателей множественности можно отметить три. Один — восходящий к древнему род. падежу множ. ч., как результат наличия в средне-иранскую эпоху страдательного оборота в переходных глаголах, засвидетельствованный на известной стадии развития во всех почти иранских языках, — другой (ç), отражающий один из абстрактно-коллективных суффиксов, а именно — *t*, отмеченный в этой функции и форме для осетинского и согдийско-ягнобского, и третий, идентичный с согдийским — ē̤.

Таким образом первый показатель множественности, восходящий к древне-иранскому род. падежу множ. числа на — *-ānām*, *-īnām*, *-ūnām*, *-nām*, заключает в себе согласный *-n* с предшествующим гласным или без него в зависимости от конечного звука основы древне-иранского слова; например اَمَا پاسندخَ پی سد ذینارنَ «довольна ли ты мною за сто динаров», هاقرنَد یا ذغدام پی سِد ذینارن کابین «я дал тебе мою дочь за 100 динаров махра», هزارِ پراچِنَ «тысяча разводов». Окончанием косвенного падежа ед. ч., восходящего к древнему род. падежу, является *i* (*e?*); окончание падежа прямого объекта *a*, *u* восходит к *-am*. Имя, определенное препозитивным членом, часто сопровождается постпозитивным членом. Последний восходит к указательному местоимению, например حاجتّ مناه اکّ ای ڨاغک نی «сделай нам необходимым этот сад», زادکاوْیَ می واخیّامن یا هنان نی «мы вырастили эту рабыню вместо (своего) ребенка». Косвенный объект может выражаться показателем ذار; например کاهیدَ ای نانّام ذَارَ اکّینخَ «если такому то скажешь это слово», راغیان شغلان ذار «для работ, которые бывают вне города».

Как и во всех других иранских языках, древне-иранских, средне- и ново-восточно-иранских, за исключением большинства западно-иранских, где имеется изафетная конструкция, требующая постановки определения после определяемого слова, в хорезмийском языке определение предшествует определяемому слову: например خوبام ذغد «хорошая моя дочь».

Указательное местоимение мужского рода в хорезм. — ای «этот», женского рода يا «эта», с ослабленной семантикой, употребляется в функции определенного члена. Помимо падежных окончаний синтаксические отношения слов выражаются рядом послелогов и предлогов: ڤ پر خ и т. д.

МЕСТОИМЕНИЯ

Могут быть отмечены личные, указательные и относительные местоимения, историческое толкование которых не представляет особых затруднений и будет дано в исследовании.

Местоимение первого лица از «я» (прямой падеж), ما مى — косвенный падеж.

Местоимение 2-го лица اوتك «ты» (прямой падеж), ڤا — прямой объект, دى — косвенный падеж, например ای پرذیزکنی دی پارذن «я продал тебе этот баштан».

Местоимение 3-го лица в косвенном падеже هی «ему, ей», «его, ее». Относительное местоимение کَ «который».

Колич. числительные ایو «один», ذو «два», شی «три», پنجاس «пятьдесят», سل «сто», اُخسل «шестьсот», هزار «тысяча» и др.

ГЛАГОЛ

Могут быть отмечены следующие формы: настоящее время, прошедшее (от основы настоящего времени), будущее время, желательное наклонение, повелительное наклонение, перфект, 2-е будущее.

Окончание 1-го лица настоящего времени *-m*, как в других иранских языках. В прошедшем и желательном — *n*, как в осетинском. В желательном — *n* может отсутствовать. Происхождение *-n* — из древнего желательного, ср. древне-перс. *kunavāni* «пусть я сделаю», осет. *kænon* (жел.), *kodton* (прош.)

Окончание 2-го лица настоящего времени *-i*, как в персидском, в прошедшем и желательном *-ix*, в котором конечное *-x* исторически соответствует персидскому یای شرط и یای حکایت, обе части частицы (*-x* и *-i* — ср. перс. *hē*) представляют отражение древнего *optativ'a* от существительного глагола.

Окончание 3-го лица настоящего времени и желательного *-c*, восходящее к *-t*; например اڤاخ < bavāti, ср. согд. *γčy* «есть».

Окончание 1-го лица множ. числа *-mni*, *-mna*. Это окончание восходит, повидимому, к окончанию древне-иранского медиального причастия;

подобное образование окончания 1-го лица множ. числа может быть отмечено и для согдийского языка, например *čwšw rtty γh w'p'r'γzt Zknymn 'ny'wr L' βyrt 'st rtyšw nwr βyr'ymn* перевод в издании:[1] «was für Edelsteine (sind), die so vortrefflichen, die ein andres Mal nicht erlangt worden sind und die wir jetzt erlangt haben?» следует исправить на «что это за столь великолепные жемчуга, которые *нами* в другой (предыдущий) раз не получены, а которые теперь мы *получаем*». *βyr'ymn* есть 1-е лицо множ. числа с окончанием -*ymn*, образованным по аналогии с медиальным причастием.

Во 2-м лице множ. числа настоящего времени — окончание -*βi*, восходящее к местоимению 2-го лица, и в желательном — то же с прибавлением -*x*, известного уже из форм единственного числа. В 3-м лице множ. числа — окончания на -*r* с различными огласовками. Эти окончания сближают хорезмийский язык с рядом других языков иранских и не иранских: с авестийским, ягнобским, сакским, тохарским, латинским. Общий признак желательного наклонения — долгий гласный перед окончанием, как в персидском, باد «пусть будет», также отражает древний показатель этого наклонения.

Будущее время образуется как в согдийском языке, посредством присоединения частицы کام к настоящему времени. Перфект, так же как в согдийском, образуется посредством соединения глагола ذار «иметь» с причастием прошедшего времени.

Прошедшее время с частицей منچا, восходящей к глаголу *man* — «оставлять», образует второе будущее.

Примеры: 1. اَچيوَ ڤاريخّ ماه پرا ذينارَ «согласна ли ты на это за динар», буквально «приняла» — ڤاريخ 2-е лицо прош. времени с окончанием -*ix*.

2. И она сказала ڤارينّ: «я согласна», буквально, «приняла» — 1-е лицо того же времени с окончанием -*n*.

3. آز ڤامس باچغازين «я также пожелал тебя» — 1-е лицо прош. времени глагола غاز с префиксом *pac* — согд. *pč*; از «я» ڤامس: *βă* «тебя», *mis* «также».

4. И сказал он: اڤّارِ نانِ «пусть будет так». اڤّارِ — 3-е лицо множ. числа желательного наклонения от глагола *aβa*- «быть», окончание — [*ā*]*ri*, نانِ — указат. местоимение в косвенном падеже в значении наречия.

[1] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste, I, стр. 32.

5. هاڤرنن يَا ذُغدام بى سد ذينارن كابين «я дал тебе мою дочь за 100 динаров махра». *hāβrin* — 1-е лицо единств. числа прош. времени от глагола *haβar* — «давать», согд. *ϑβr-*, ягноб. *tīfar* — с удлинением основного гласного, как в согдийском. ذغدام «моя дочь» с определенным артиклем يا.

6. آمی هاڤريخ «отдал ли ты ее»? — 2-е лицо прош. времени того же глагола.

7. اميه هاڤرخ اى زرذ فى نكاح «имеешь ли ты склонность (букв. «сердце») к браку со мною», буквально «дала ли ты сердце». Та же глагольная форма. «Сердце» زرذ с определенным артиклем мужского рода.

8. فى جفتاوك فى هلالاوك اهاڤرخ «отдал ли ты ее в состоянии дозволенности и способности к браку» — та же глагольная форма. جفتاوك и حلالاوك — персидское (جفت) и арабское (حلال) слова с суффиксом абстрактности — *āvak*, соответствующим средне-перс. — *īvaγ* и осет. — *iuæg*.

9. حلال مى پاروزذ «стала разрешенной мне» — 3-е лицо прош. времени от глаг. < *vart-* с префиксом и удлиненным гласным *ā*. مى — косвенный падеж местоимения 1-го лица.

10. كاه فضوليك نكاح اكّا فبثلاث «если я женюсь на ней браком фузули, то (она разведена) трижды». اكّا — 1-е лицо желательного-условного наклонения с отпавшим *-n* в конце слова. كاه — союз *ka* и местоимение 3-го лица в косвенном падеже. Три арабских слова: فضول с суффиксом — *īk*, образующим прилагательное, نكاح и ثلاث.

11. كم يا نلنام وذ افلخ «если будет такая-то женой для меня». افلخ — 3-е лицо единств. числа желательного-условного наклонения. وذ «жена», ср. согд. *wδw*.

12. هقخ دى پاروزذ «дан тебе». هقخ — прич. прош. времени от *haβar* — «давать» с выпадением *r* перед согласным, как часто в хорезмийском (и в христианско-согдийском), и с переходом *t* > *c*.

13. ڤانجين «я привязал» — 1-е лицо прош. времени с удлинением основного гласного. *c* из *t*. Глагол *βand* — «вязать».

14. كانذ ايو غواخ خرناه كانذ شى غوارى خرنان «если тебе нужен один развод, я съел, если нужны три развода, я съел». ايو «один», شى «три», غواخ — 3-е лицо единств. числа желательного-условного наклонения; غوارى — то же во множ. числе от глагола غو «быть нужным», согд. *γw-* и осетин. *hæuun*. خرنان — 1-е лицо прош. времени от глагола خر «есть».

15. فا جفتی انبخ بوارچیمن «я и моя супруга отделились друг от друга». بوارچیمن — 1-е лицо множ. числа прош. времени с окончанием *man*, *vart-* «вращаться» с переходом *t* > *c* перед *i*. Префикс *pa* < *apa*. *vart-* — перс. گردیدن.

16. سکند خُر حانند غواخ «поклянись какой хочешь клятвой» (букв. «поклянись, как тебе нужно»). سکند خُر = перс. سوکند خور. — غواخ — 3-е лицо единств. числа желательного наклонения.

17. دام وذ حلال ما اقاخ «то да не будет мне жена дозволенной». وذ — «жена», ما — отрицание при желательном наклонении. اقاخ — 3-е лицо желательного наклонения от глагола *aβa* — «быть».

18. بیزار فا اکم پا شیک دمی چک اکّ. «я освобожу тебя (от махра) за три, сделай мне документ». اکّم — 1-е лицо единств. числа настоящего времени от глагола *ikk-* < *kar* = перс. کنم. — اکّ — повелит. наклонение. فا — винительный падеж местоимения личного 2-го лица, восходит к древне-иранскому *ϑvām*.

19. بیزار فا مکن ذی حق پی سکند «я освободил тебя от (моего) права клятвою». مکن — прош. время от глагола *ikk-*; *-n* — окончание первого лица. Подобно согдийскому языку, глаголы с гласным вначале принимают *m-*, восходящее к < *mat*.

20. دما اخاسی «так отпусти меня». اخاسی — повелит. наклонение. Глагол восходит к древне-иранскому *hrz-*, перс. هشتن. ما — вин. падеж местоимения личного 1-го лица в краткой форме. د — союз, вводящий независимое предложение, соответствует согдийскому *rty*, по смыслу здесь = перс. پس.

21. دمابر سکند خر «поклянись надо мною». مابر — вин. падеж местоимения 1-го лица с послелогом بر.

22. شیک فابر خرامکام وابا خرخ پاروزد «я три развода съем над тобой или съедены». خرامکام — будущее время, образованное, как уже сказано было выше. خرخ — прич. прош. времени, — форма, этимологически соответствующая персидскому, خورد.

23. کابرا پنام سکند نی خریخی ذذی پرمک خر «если ты не поклянешься о моей сопернице, то поклянись обо мне» خریخی — 2-е лицо наст. времени.

24. کافیند نیکیخکام «если ты не выйдешь замуж» (букв. «если ты не сделаешь связи»). فیند от *βand-*. نیکیخکام — будущее время, 1-е лицо от глагола *ikk-*.

25. یا غن کاشکام دی ذینار هفرامکام «как только ты придешь, я дам тебе динар». اسّکام — 2-е лицо будущего времени от глагола *as*- «приходить». هفرامکام — 1-е лицо будущего времени от глагола *haβar* — «давать».

26. Она сказала ему по-хорезмийски: اقّاغ یم پرغ ا ابو «разведена ли я от тебя одним разводом». Он сказал: امّا هزار یاوبر «напротив, тысячу раз» и т. д.

СЛОВАРЬ

Хорезмийский словарь, как можно было убедиться даже на этих примерах, заключает в себе довольно большое число слов, заимствованных из персидского и арабского языков; имеются заимствования и из тюркского языка (целые фразы). Эти заимствования не внешнего, литературного порядка, а прочно вошедшие в толщу языка, поскольку встречаются образования от этих слов с суффиксами. Такой характер словаря совершенно понятен, если учесть, что мусульманство, внесшее арабские и персидские словарные элементы, господствовало в стране уже пять столетий. Тюркские языки в Хорезме вытесняли уже местные (население было уже к тому времени двуязычным) и вскоре вытеснили их окончательно. Окончательно ли? Нет ли в словаре местных говоров словарных остатков, элементов средне-азиатских иранских языков, так как они, несомненно, имеются в таджикских говорах? Ответ на этот вопрос должна дать диалектология узбекских говоров, рука об руку с историей иранских языков.

Исследование хорезмийского языка проводится и за границей.[1]

Но необходимо учитывать, что изучение хорезмийского языка в нашей стране должно показать на ряду со всеми вначале отмеченными моментами прежде всего пути сложения современных средне-азиатских языков, дать материал для истории народов братских республик Союза.

Настоящая статья имеет целью дать лишь краткое предварительное сообщение о новых важных материалах по истории одного из средне-азиатских языков, на базе которых советские востоковеды обязаны выполнить поставленные выше задачи.

Ленинград
Апрель 1937 г.

[1] ZDMG, Bd. 90, Heft 3/4, 1936.

Цена 11 руб.

К—376